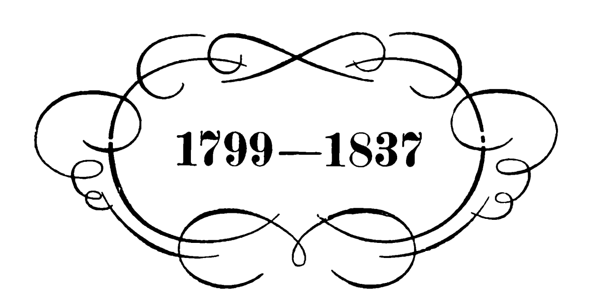
# ПУШКИН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ACADEMIA

А. С. ПУШКИН

ACADEMIA


1799—1837

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ
1837—1937

# А. С. ПУШКИН

## ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Ю. Г. ОКСМАНА и М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

ТОМ ВТОРОЙ

ACADEMIA
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

А. С. ПУШКИН
1799—1837

# СТИХОТВОРЕНИЯ

# СКАЗКИ

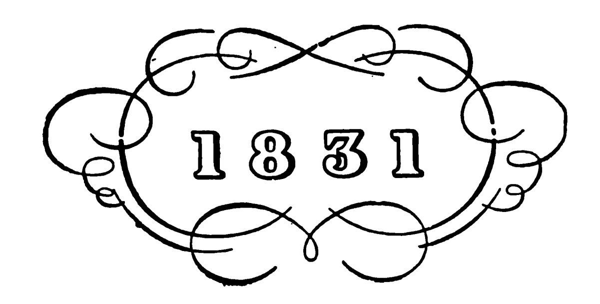
# ПОЭМЫ

ACADEMIA
1936

А. С. Пушкин. С портрета маслом *О. А. Кипренского*, 1827 г.
(Госуд. Третьяковская галлерея)

СТИХОТВОРЕНИЯ
1831–1836

*Подготовка текста М. А. Цявловского*
*Комментарии под редакцией*
*Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского*




* * *

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Всё спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столбов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
„Иди, спасай!“ Ты встал — и спас...

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Восстань, спасай царя и нас,
О старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!

Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм — в молчанье погружен...
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон...

## Из письма к М. Л. Яковлеву

Смирдин меня в беду поверг:
У торгаша сего семь пятниц на неделе,
Его четверг на самом деле
Есть после дождичка четверг.

## Из письма к кн. П. А. Вяземскому

Любезный Вяземский, поэт и камергер...
(Василья Львовича узнал ли ты манер?
Так некогда письмо он начал к камергеру,
Украшенну ключом за верность и за веру)
Так солнце и на нас взглянуло из-за туч!
На --- твоей сияет тот же ключ.
Ура, хвала и честь поэту-камергеру —
Пожалуй, от меня поздравь княгиню Веру.

## Клеветникам России

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? — волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? — вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

## Бородинская годовщина

Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая
Твердили: „Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.

И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!

Ступайте ж к нам: вас Русь зовет!
Но знайте, прошеные гости!
Уж Польша вас не поведет:
Через ее шагнете кости!..“
Сбылось — и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.

В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии;
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Еще ли росс
*Больной, расслабленный колосс?*
Еще ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?

Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?

Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?

Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутили ль русского владыку?
Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?
Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!
А вкруг ее волненья пали —
И Польши участь решена...

Победа! сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы, —
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.

## Эхо

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякой звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

7 Ты внемлешь грохоту громов
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

***

Чем чаще празднует лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш,
И наши песни тем грустнее.

9 Так дуновенья бурь земных
И нас нечаянно касались,
И мы средь пиршеств молодых
Душою часто омрачались;
Мы возмужали; рок судил
И нам житейски испытанья,
[И смерти дух] средь нас ходил
И назначал свои закланья.

17 Шесть мест упраздненных стоят,
Шести друзей не узрим боле,
Они разбросанные спят
Кто здесь, кто там на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой,
Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой,
И надо всеми мы рыдали.

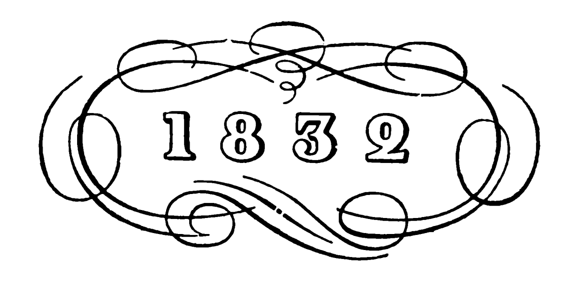
25 И, мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных,
Навек от нас утекший гений.

33 Тесней, о милые друзья,
Тесней наш верный круг составим,
Почившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим,
Надеждой некогда опять
В пиру лицейском очутиться,
Всех остальных еще обнять
И новых жертв уж не страшиться.

* * *

Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю,
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкой,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой;
Прилежно в памяти храня

Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья
Уныло слушаешь меня...
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей любовный шопот,
[Стихов таинственный напев,]
И [ласки] легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот.



### Мальчику

(Из Катулла)

Minister vetuli puer. *

Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик:
Так Постумия велела,
Председательница оргий.
Ты же прочь, речная влага —
И струей, вину враждебной,
Строгих постников довольствуй:
Чистый нам любезен Бахус.

### В альбом А. О. Смирновой

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный

* ‹Начало стихотворения: „Прислужник-мальчик, старым фалернским наполни мне чашу“.›

И правды пламень благородный
И, как дитя, была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

### В альбом кж. А. Д. Абамелек

Когда-то (помню с умиленьем)
Я смел вас няньчить с восхищеньем,
Вы были дивное дитя.
Вы расцвели: с благоговеньем
Вам ныне поклоняюсь я.
За вами сердцем и глазами
С невольным трепетом ношусь
И вашей славою, и вами,
Как нянька старая, горжусь.

* * *

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?
О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой,
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой.

[Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены,
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены,]
То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Во след Бовы иль Еруслана.

## Красавица

В альбом гр. Е. М. Завадовской

Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей,
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает.

9 Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье;
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

## К ***

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться;
Нет, полно мне любить; но почему ж порой

Не погружуся я в минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдет передо мной
Младое, чистое, небесное созданье,
Пройдет и скроется?.. Ужель не можно мне,
Любуясь девою в печальном сладострастье,
Глазами следовать за ней и в тишине
Благословлять ее на радость и на счастье,
И сердцем ей желать все блага жизни сей,
Веселья, мир души, беспечные досуги,
Всё — даже счастие того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название супруги.

## В альбом

Гонимый рока самовластьем
От пышной далеко Москвы,
Я буду вспоминать с участьем
То место, где цветете вы.
Столичный шум меня тревожит;
Всегда в нем грустно я живу —
И ваша память только может
Одна напомнить мне Москву.

## В альбом

Долго сих листов заветных
Не касался я пером;
Виноват, в столе моем
Уж давно без строк приветных
Залежался твой альбом.
В именины, очень кстати,
Пожелать тебе я рад
Много всякой благодати,
Много сладостных отрад,
На Парнасе много грома,
В жизни много тихих дней
И на совести твоей
Ни единого альбома
От красавиц, от друзей.

## Песни западных славян

### Предисловие

*Большая часть этих песен взята мною из книги, вышедшей в Париже в конце 1827 года под названием:* La Guzla, ou choix de Poésies Illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégovine. *Неизвестный издатель говорил в своем предисловии, что, собирая некогда безыскусственные песни полудикого племени, он не думал их обнародовать, но что потом, заметив распространяющийся вкус к произведениям иностранным, особенно к тем, которые в своих формах удаляются от классических образцов, вспомнил он о собрании своем и, по совету друзей, перевел некоторые из сих поэм, и проч. Сей неизвестный собиратель был не кто иной, как Мериме, острый и оригинальный писатель, автор Театра Клары Газюль, Хроники Времен Карла IX, Двойной Ошибки и других произведений, чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы. Поэт Мицкевич, критик зоркий и тонкий и знаток в славенской поэзии, не усумнился в подлинности сих песен, а какой-то ученый немец написал о них пространную диссертацию.*

*Мне очень хотелось знать, на чем основано изобретение странных сих песен: С. А. С<оболевски>, по моей просьбе, писал о том к Мериме, с которым был он коротко знаком, и в ответ получил следующее письмо:*

*Paris. 18 Janvier 1835.

Je croyais, Monsieur, que la Guzla n'avait eu que sept lecteurs, vous, moi et le prote compris; je vois avec bien du plaisir que j'en puis compter deux de plus ce qui forme un joli total de neuf et confirme le proverbe que nul n'est prophête en son pays. Je répondrai candidement à vos questions. La Guzla à été composée par moi pour deux motifs, dont le premier était de me moquer de la couleur locale dans laquelle nous nous jetions à plein collier vers l'an de grace 1827. Pour vous rendre compte de l'autre motif je suis obligé de vous conter une histoire. En cette même année 1827, un de mes amis et moi nous avions formé le projet de faire un

* <Перевод смотри в комментариях.>

voyage en Italie. Nous étions devant une carte traçant au crayon notre itinéraire; arrivés à Venise, sur la carte s'entend, et ennuyés des anglais et des allemands que nous rencontrions, je proposai d'aller à Trieste, puis de là à Raguse. La proposition fut adoptée mais nous étions fort légers d'argent et cette „douleur nompareille" comme dit Rabelais nous arrêtait au milieu de nos plans. Je proposai alors d'écrire d'avance notre voyage, de le vendre à un libraire et d'employer le prix à voir si nous nous étions beaucoup trompés. Je demandai pour ma part à colliger les poésies populaires et à les traduire, on me mit au défi, et le lendemain j'apportai à mon compagnon de voyage cinq ou six de ces traductions. Je passais l'automne à la campagne. On déjeunait à midi et je me levais à dix heures, quand j'avais fumé un ou deux cigares ne sachant que faire, avant que les femmes ne paraissent au salon, j'écrivais une ballade. Il en résulta un petit volume que je publiai en grand secret et qui mystifia deux ou trois personnes. Voici les sources où j'ai puisé cette couleur locale tant vantée: d'abord une petite brochure d'un consul de France à Bonialouka. J'en ai oublié le titre, l'analyse en serait facile. L'auteur cherche à prouver que les Bosniaques sont de fiers cochons, et il en donne d'assez bonnes raisons. Il cite par-ci par-là quelques mots illyriques pour faire parade de son savoir (il en savait peut-être autant que moi). J'ai recueilli ces mots avec soin et les ai mis dans mes notes. Puis j'avais lu le chapitre intitulé De' costumi dei Morlacchi, dans le voyage en Dalmatie de Fortis. Il a donné le texte et la traduction de la complainte de la femme de Hassan Aga qui est réellement illyrique; mais cette traduction était en vers. Je me donnais une peine infinie pour avoir une traduction littérale en comparant les mots du texte qui étaient répétés avec l'interprétation de l'abbé Fortis. A force de patience, j'obtins le mot à mot, mais j'étais embarrassé encore sur quelques points. Je m'adressai à un de mes amis qui sait le russe. Je lui lisais le texte en le prononçant à l'italienne, et il le comprit presque entièrement. Le bon fut, que Nodier qui avait déterré Fortis et la ballade de Hassan Aga et l'avait traduite sur la traduction poétique de l'abbé, en la poétisant encore dans sa prose, Nodier cria comme un aigle que je l'avais pillé. Le premier vers illyrique est:

Scto se bieli u *gorje* zelenoi

Fortis a traduit:

Che mai biancheggia nel verde *Bosco*,

Nodier a traduit bosco par *plaine verdoyante*; c'était mal tomber, car on me dit que *gorje* veut dire colline. Voilà mon histoire. Faites mes excuses à M. Pouchkine. Je suis fier et honteux à la fois de l'avoir attrapé, и проч.

## I

### Видение короля[1]

Король ходит большими шагами
Взад и вперед по палатам;
Люди спят — королю лишь не спится:
Короля султан осаждает,
Голову отсечь ему грозится
И в Стамбул отослать ее хочет.

Часто он подходит к окошку;
Не услышит ли какого шума?
Слышит, воет ночная птица,
Она чует беду неминучу;
Скоро ей искать новой кровли
Для своих птенцов горемычных.

Не сова воет в Ключе-граде,
Не луна Ключ-город озаряет,
В церкви божией гремят барабаны,
Вся свечами озарена церковь.

Но никто барабанов не слышит,
Никто света в церкви божией не видит,
Лишь король то слышал и видел;
Из палат своих он выходит
И идет один в божию церковь.

Стал на паперти, дверь отворяет...
Ужасом в нем замерло сердце,
Но великую творит он молитву
И спокойно в церковь божию входит.

Тут он видит чудное виденье:
На помосте валяются трупы,
Между ими хлещет кровь ручьями,
Как потоки осени дождливой.

Он идет, шагая через трупы,
Кровь по щиколку[2] ему досягает...

Горе! в церкви турки и татары
И предатели, враги *богумилы*.[3]
На амвоне сам султан безбожный,
Держит он на-голо саблю,
Кровь по сабле свежая струится
С вострия до самой рукояти.

Короля незапный обнял холод:
Тут же видит он отца и брата.
Пред султаном старик бедный справа,
Униженно стоя на коленах,
Подает ему свою корону;
Слева, также стоя на коленах,
Его сын, Радивой окаянный,
Бусурманскою чалмою покрытый,
(С тою самою веревкою, которой
Удавил он несчастного старца),
Край полы у султана целует,
Как холоп, наказанный *фалангой*.[4]

И султан безбожный, усмехаясь,
Взял корону, растоптал ногами
И промолвил потом Радивою:
„Будь над Боснией моей ты властелином,
Для гяур-християн беглербеем".[5]
И отступник бил челом султану,
Трижды пол окровавленный целуя.

И султан прислужников кликнул,
И сказал: „Дать кафтан Радивою![6]
Не бархатный кафтан, не парчевый,
А содрать на кафтан Радивоя
Кожу с брата его родного".
Бусурмане на короля наскочили,
До-нага всего его раздели,
Атаганом ему кожу вспороли,
Стали драть руками и зубами,

Обнажили и мясо и жилы,
И до самых костей ободрали,
И одели кожею Радивоя.

Громко мученик господу взмолился:
„Прав ты, боже! меня наказуя!
Плоть мою предай на растерзанье,
Лишь помилуй мне душу, Иисусе!“

При сем имени церковь задрожала,
Всё внезапно утихнуло, померкло, —
Всё исчезло — будто не бывало.

И король ощупью в потемках
Кое-как до двери добрался,
И с молитвою на улицу вышел.

Было тихо. С высокого неба
Город белый луна озаряла.
Вдруг взвилась из-за города бомба,[7]
И пошли бусурмане на приступ.

II

## Янко Марнавич

Что в разъездах бей Янко Марнавич?
Что ему дома не сидится?
Отчего двух ночей он сряду
Под одною кровлей не ночует?
Али недруги его могучи?
Аль боится он кровомщенья?

Не боится бей Янко Марнавич
Ни врагов своих, ни кровомщенья.
Но он бродит, как гайдук бездомный,
С той поры, как Кирила умер.

В церкви Спаса они братовались[8]
И были по богу братья;
Но Кирила несчастливый умер
От руки им избранного брата.

Веселое было пированье,
Много пили меду и горелки;
Охмелели, обезумели гости,
Два могучие беи побранились.

Янко выстрелил из своего пистоля,
Но рука его пьяная дрожала,
В супротивника своего не попал он,
А попал он в своего друга.
С того времени он тоскуя бродит,
Словно вол, ужаленный змиею.

Наконец он на родину воротился
И вошел в церковь святого Спаса,
Там день целый он молился богу,
Горько плача и жалостно рыдая.
Ночью он пришел к себе на дом
И отужинал со своей семьею,
Потом лег и жене своей молвил:
„Посмотри, жена, ты в окошко.
Видишь ли церковь Спаса отселе?"
Жена встала, в окошко поглядела
И сказала: „На дворе полночь,
За рекою густые туманы,
За туманом ничего не видно".
Повернулся Янко Марнавич
И тихонько стал читать молитву.

Помолившись, он опять ей молвил:
„Посмотри, что ты видишь в окошко?"
И жена, поглядев, отвечала:
„Вижу, вон, малый огонечек
Чуть-чуть брезжит в темноте за рекою".
Улыбнулся Янко Марнавич
И опять стал тихонько молиться.

Помолясь, он опять жене молвил:
„Отвори-ка, женка, ты окошко:
Посмотри, что там еще видно?“
И жена, поглядев, отвечала:
„Вижу я на реке сиянье,
Близится оно к нашему дому“.
Бей вздохнул и с постели свалился.
Тут и смерть ему приключилась.

## III

### Битва у Зеницы-Великой [9]

Радивой поднял желтое знамя:
Он идет войной на бусурмана.
А далматы, завидя наше войско,
Свои длинные усы закрутили,
Набекрень надели свои шапки
И сказали: „Возьмите нас с собою: [10]
Мы хотим воевать бусурманов“.
Радивой дружелюбно их принял
И сказал им: „Милости просим!“
Перешли мы заповедную речку,
Стали жечь турецкие деревни,
А жидов на деревьях вешать. [11]
Беглербей со своими бошняками
Против нас пришел из Банялуки; [12]
Но лишь только заржали их кони,
И на солнце их кривые сабли
Засверкали у Зеницы-Великой,
Разбежались изменники далматы;
Окружили мы тогда Радивоя
И сказали: „Господь бог поможет,
Мы домой воротимся с тобою
И расскажем эту битву нашим детям“.
Стали биться мы тогда жестоко,
Всяк из нас троих воинов стоил;
Кровью были покрыты наши сабли

С острия по самой рукояти.
Но когда через речку стали
Тесной кучкою мы переправляться,
Селихтар[13] с крыла на нас ударил
С новым войском, с конницею свежей.
Радивой сказал тогда нам: „Дети,
Слишком много собак-бусурманов,
Нам управиться с ними невозможно.
Кто не ранен, в лес беги скорее
И спасайся там от Селихтара".
Всех-то нас оставалось двадцать,
Все друзья, родные Радивою,
Но и тут нас пало девятнадцать.
Закричал Георгий Радивою:
„Ты садись, Радивой, поскорее
На коня моего вороного;
Через речку вплавь переправляйся,
Конь тебя из погибели вымчит".
Радивой Георгия не послушал,
Наземь сел, поджав под себя ноги.
Тут враги на него наскочили,
Отрубили голову Радивою.

### IV

### Феодор и Елена

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Стамати был стар и бессилен,
А Елена молода и проворна;
Она так-то его оттолкнула,
Что ушел он охая да хромая.
Поделом тебе, старый бесстыдник!
Ай да баба! отделалась славно!

Вот Стамати стал думать думу:
Как ему погубить бы Елену?

Он к жиду лиходею приходит,
От него он требует совета.
Жид сказал: „Ступай на кладбище,
Отыщи под каменьями жабу
И в горшке сюда принеси мне".

На кладбище приходит Стамати,
Отыскал под каменьями жабу[14]
И в горшке жиду ее приносит.
Жид на жабу проливает воду,
Нарекает жабу Иваном
(Грех велик христианское имя
Нарещи такой поганой твари!).
Они жабу всю потом искололи,
И ее — ее ж кровью напоили;
Напоивши, заставили жабу
Облизать поспелую сливу.

И Стамати мальчику молвил:
„Отнеси ты Елене эту сливу
От моей племянницы в подарок".
Принес мальчик Елене сливу,
А Елена тотчас ее съела.

Только съела поганую сливу,
Показалось бедной молодице,
Что змия у ней в животе шевелится.
Испугалась молодая Елена;
Она кликнула сестру свою меньшую.
Та ее молоком напоила,
Но змия в животе всё шевелилась.

Стала пухнуть прекрасная Елена,
Стали баить: Елена брюхата.
Каково-то будет ей от мужа,
Как воротится он из-за моря!
И Елена стыдится и плачет,
И на улицу выйти не смеет,
День сидит, ночью ей не спится.
Поминутно сестрице повторяет:
„Что скажу я милому мужу?"

Круглый год проходит, и — Феодор
Воротился на свою сторонку.
Вся деревня бежит к нему навстречу,
Все его приветно поздравляют;
Но в толпе не видит он Елены,
Как ни ищет он ее глазами.
„Где ж Елена?“ наконец он молвил.
Кто смутился, а кто усмехнулся,
Но никто не отвечал ни слова.

Пришел он в дом свой, — и видит,
На постеле сидит его Елена.
„Встань, Елена“, говорит Феодор.
Она встала, — он взглянул сурово.
„Господин ты мой, клянусь богом
И пречистым именем Марии,
Пред тобою я не виновата,
Испортили меня злые люди“.

Но Феодор жене не поверил:
Он отсек ей голову по плечи.
Отсекши, он сам себе молвил:
„Не сгублю я невинного младенца,
Из нее выну его живого,
При себе воспитывать буду.
Я увижу, на кого он походит,
Так наверно отца его узнаю
И убью своего злодея“.

Распорол он мертвое тело.
Что ж! — на место милого дитяти,
Он черную жабу находит.
Взвыл Феодор: „Горе мне, убийце!
Я сгубил Елену понапрасну:
Предо мной она была невинна,
А испортили ее злые люди“.

Поднял он голову Елены,
Стал ее целовать умиленно,
И мертвые уста отворились,
Голова Елены провещала:

„Я невинна. Жид и старый Стамати
Черной жабой меня окормили".
Тут опять уста ее сомкнулись,
И язык перестал шевелиться.

И Феодор Стамати зарезал,
А жида убил, как собаку,
И отпел по жене панихиду.

V

**Влах в Венеции**[15]

Как покинула меня Парасковья,
И как я с печали промотался,
Вот далмат пришел ко мне лукавый:
„Ступай, Дмитрий, в морской ты город,
Там цехины, что у нас каменья.

Там солдаты в шелковых кафтанах,
И только что пьют да гуляют:
Скоро там ты разбогатеешь
И воротишься в шитом долимане
С кинжалом на серебряной цепочке.

И тогда-то играй себе на гуслях;
Красавицы побегут к окошкам
И подарками тебя закидают.
Эй, послушайся! отправляйся морем;
Воротись, когда разбогатеешь".

Я послушался лукавого далмата.
Вот живу в этой мраморной лодке,
Но мне скучно, хлеб их мне, как камень,
Я неволен, как на привязи собака.

Надо мною женщины смеются,
Когда слово я по-нашему молвлю;
Наши здесь язык свой позабыли,
Позабыли и наш родной обычай.
Я завял, как пересаженный кустик.

Как у нас бывало кого встречу,
Слышу — Здравствуй, Дмитрий Алексеич!
Здесь не слышу доброго привета,
Не дождуся ласкового слова;
Здесь я, точно бедная мурашка,
Занесенная в озеро бурей.

## VI

### Гайдук Хризич

В пещере, на острых каменьях
Притаился храбрый гайдук Хризич.[16]
С ним жена его Катерина,
С ним его два милые сына,
Им нельзя из пещеры выйти,
Стерегут их недруги злые.
Коли чуть они голову подымут,
В них прицелятся тотчас сорок ружей.
Они три дня, три ночи не ели,
Пили только воду дождевую,
Накопленную во впадине камня.
На четвертый взошло красно-солнце,
И вода во впадине иссякла.
Тогда молвила, вздохнувши, Катерина:
„Господь бог! помилуй наши души!“
И упала мертвая на землю.
Хризич, глядя на нее, не заплакал,
Сыновья плакать при нем не смели;
Они только очи отирали,
Как от них отворачивался Хризич.
В пятый день старший сын обезумел,
Стал глядеть он на мертвую матерь,
Будто волк на спящую козу.
Его брат, видя то, испугался.
Закричал он старшему брату:
„Милый брат! не губи свою душу;
Ты напейся горячей моей крови,

А умрем мы голодною смертью,
Станем мы выходить из могилы
Кровь сосать наших недругов спящих".[17]
Хризич встал и промолвил: „Полно!
Лучше пуля, чем голод и жажда".
И все трое со скалы в долину
Сбежали, как бешеные волки.
Семерых убил из них каждый,
Семью пулями каждый из них прострелен;
Головы враги у них отсекли
И на копья свои насадили, —
А и тут глядеть на них не смели.
Так им страшен был Хризич с сыновьями.

### VII

### Похоронная песня

#### Иакинфа Маглановича[18]

С богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

5 Пуля легче лихорадки;
Волен умер ты, как жил.
Враг твой мчался без оглядки;
Но твой сын его убил.

9 Вспоминай нас за могилой,
Коль сойдетесь как-нибудь;
От меня отцу, брат милый,
Поклониться не забудь!

13 Ты скажи ему, что рана
У меня уж зажила;
Я здоров, — и сына Яна
Мне хозяйка родила.

Деду в честь он назван Яном;
Умный мальчик у меня;
Уж владеет атаганом
И стреляет из ружья.

Дочь моя живет в Лизгоре;
С мужем ей не ску́чно там.
Тварк ушел давно уж в море;
Жив иль нет, — узнаешь сам.

С богом в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

## VIII

### Марко Якубович

У ворот сидел Марко Якубович;
Перед ним сидела его Зоя,
А мальчишка их играл у порогу.
По дороге к ним идет незнакомец,
Бледен он и чуть ноги волочит,
Просит он напиться, ради бога.
Зоя встала и пошла за водою,
И прохожему вынесла ковшик,
И прохожий до дна его выпил.
Вот, напившись, говорит он Марке:
„Это что под горою там видно?“
Отвечает Марко Якубович:
„То кладбище наше родовое“.
Говорит незнакомый прохожий:
„Отдыхать мне на вашем кладбище,
Потому что мне жить уж не долго“.
Тут широкий развил он пояс,
Кажет Марке кровавую рану.
„Три дня, — молвил, — ношу я под сердцем

Бусурмана свинцовую пулю.
Как умру, ты зарой мое тело
За горой, под зеленою ивой
И со мной положи мою саблю,
Потому что я славный был воин".

Поддержала Зоя незнакомца,
А Марко стал осматривать рану.
Вдруг сказала молодая Зоя:
„Помоги мне, Марко, я не в силах
Поддержать гостя нашего доле".
Тут увидел Марко Якубович,
Что прохожий на руках ее умер.

Марко сел на коня вороного,
Взял с собою мертвое тело
И поехал с ним на кладбище.
Там глубокую вырыли могилу
И с молитвой мертвеца схоронили.
Вот проходит неделя, другая,
Стал худеть сыночек у Марка;
Перестал он бегать и резвиться,
Всё лежал на рогоже да охал.
К Якубовичу калуер приходит, —
Посмотрел на ребенка, и молвил:
„Сын твой болен опасною болезнью;
Посмотри на белую его шею:
Видишь ты кровавую ранку?
Это зуб вурдалака, [19] поверь мне".

Вся деревня за старцем калуером
Отправилась тотчас на кладбище;
Там могилу прохожего разрыли,
Видят, — труп румяный и свежий,
Ногти выросли, как вороньи когти,
А лицо обросло бородою,
Алой кровью вымазаны губы,
Полна крови глубокая могила.
Бедный Марко колом замахнулся,
Но мертвец завизжал и проворно

Из могилы в лес бегом пустился.
Он бежал быстрее, чем лошадь,
Стременами острыми язвима;
И кусточки под ним так и гнулись,
А суки дерев так и трещали,
Ломаясь, как замерзлые прутья.

Калуер могильною землею [20]
Ребенка больного всего вытер,
И весь день творил над ним молитвы.
На закате красного солнца
Зоя мужу своему сказала:
„Помнишь? ровно тому две недели,
В эту пору умер злой прохожий“.

Вдруг собака громко завыла,
Отворилась дверь сама собою,
И вошел великан, наклонившись,
Сел он, ноги под себя поджавши,
Потолка головою касаясь.
Он на Марка глядел неподвижно,
Неподвижно глядел на него Марко,
Очарован ужасным его взором;
Но старик, молитвенник раскрывши,
Запалил кипарисную ветку,
И подул дым на великана.
И затрясся вурдалак проклятый,
В двери бросился и бежать пустился,
Будто волк, охотником гонимый.

На другие сутки в ту же пору
Пес залаял, дверь отворилась,
И вошел человек незнакомый.
Был он ростом, как цесарский рекрут.
Сел он молча и стал глядеть на Марко;
Но старик молитвою его прогнал.

В третий день вошел карлик малый, —
Мог бы он верхом сидеть на крысе,
Но сверкали у него злые глазки.
И старик в третий раз его прогнал.
И с тех пор уж он не возвращался.

## IX

### Бонапарт и черногорцы

„Черногорцы? что такое? —
Бонапарте вопросил: —
Правда ль: это племя злое,
Не боится наших сил?

Так раскаются ж нахалы:
Объявить их старшинам,
Чтобы ружья и кинжалы
Все несли к моим ногам“.

Вот он шлет на нас пехоту
С сотней пушек и мортир,
И своих мамлюков роту,
И косматых кирасир.

Нам сдаваться нет охоты, —
Черногорцы таковы!
Для коней и для пехоты
Камни есть у нас и рвы...

Мы засели в наши норы
И гостей незваных ждем, —
Вот они вступили в горы,
Истребляя всё кругом.

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

Идут тесно под скалами.
Вдруг, смятение!.. Глядят:
У себя над головами
Красных шапок видят ряд.

„Стой! пали! Пусть каждый сбросит
Черногорца одного.

Здесь пощады враг не просит:
Не щадите ж никого!“

Ружья грянули, — упали
Шапки красные с шестов:
Мы под ними ниц лежали,
Притаясь между кустов.

Дружным залпом отвечали
Мы французам. — „Это что? —
Удивясь, они сказали: —
Эхо, что ли?“ „Нет, не то!

Их полковник повалился.
С ним сто двадцать человек.
Весь отряд его смутился,
Кто, как мог, пустился в бег.

И французы ненавидят
С той поры наш вольный край
И краснеют, коль завидят
Шапку нашу невзначай.

## X

### Соловей

Соловей мой, соловейко,
Птица малая лесная!
У тебя ль, у малой птицы,
Незаменные три песни,
У меня ли, у молодца,
Три великие заботы!
Как уж первая забота, —
Рано молодца женили;
А вторая-то забота, —
Ворон конь мой притомился;
Как уж третья-то забота, —

Красну-девицу со мною
Разлучили злые люди.
Выкопайте мне могилу
Во поле, поле широком,
В головах мне посадите
Алы цветики-цветочки,
А в ногах мне проведите
Чисту воду ключевую.
Пройдут мимо красны девки,
Так сплетут себе веночки.
Пройдут мимо стары люди,
Так воды себе зачерпнут.

XI

## Песня о Георгии Черном

Не два волка в овраге грызутся,
Отец с сыном в пещере бранятся.
Старый Петро сына укоряет:
„Бунтовщик ты, злодей проклятый!
Не боишься ты господа бога,
Где тебе с султаном тягаться,
Воевать с белградским пашою!
Аль о двух головах ты родился?
Пропадай ты себе, окаянный,
Да зачем ты всю Сербию губишь?“
Отвечает Георгий угрюмо:
„Из ума, старик, видно, выжил,
Коли лаешь безумные речи“.
Старый Петро пуще осердился,
Пуще он бранится, бушует.
Хочет он отправиться в Белград,
Туркам выдать ослушного сына,
Объявить убежище сербов.
Он из темной пещеры выходит;
Георгий старика догоняет:
„Воротися, отец, воротися!

Отпусти мне невольное слово".
Старый Петро не слушает, грозится:
„Вот ужо, разбойник, тебе будет!"
Сын ему вперед забегает,
Старику кланяется в ноги.
Не взглянул на сына старый Петро.
Догоняет вновь его Георгий
И хватает за сивую косу.
„Воротись, ради господа бога:
Не введи ты меня в искушенье!"
Отпихнул старик его сердито
И пошел по белградской дороге.
Горько, горько Георгий заплакал,
Пистолет из-за пояса вынул,
Взвел курок, да и выстрелил тут же.
Закричал Петро, зашатавшись:
„Помоги мне, Георгий, я ранен!"
И упал на дорогу бездыханен.
Сын бегом в пещеру воротился;
Его мать вышла ему навстречу.
„Что, Георгий, куда делся Петро?"
Отвечает Георгий сурово:
„За обедом старик пьян напился
И заснул на белградской дороге".[21]
Догадалась она, завопила:
„Будь же богом проклят ты, черный,
Коль убил ты отца родного!"
С той поры Георгий Петрович
У людей прозывается Черный.

### XII

### Воевода Милош

Над Сербией смилуйся ты, боже!
Заедают нас волки-янычары!
Без вины нам головы режут,
Наших жен обижают, позорят,

Сыновей в неволю забирают,
Красных девок заставляют в насмешку
Распевать зазорные песни
И плясать бусурманские пляски.
Старики даже с нами согласны:
Унимать нас они перестали, —
Уж и им нестерпимо насилье.
Гусляры нас в глаза укоряют:
Долго ль вам мирволить янычарам?
Долго ль вам терпеть оплеухи?
Или вы уж не сербы, — цыганы?
Или вы не мужчины, — старухи?
Вы бросайте ваши белые домы,
Уходите в Велийское ущелье, —
Там гроза готовится на турок,
Там дружину свою собирает
Старый сербин, воевода Милош.

## XIII

## Вурдалак

Трусоват был Ваня бедный:
Раз он позднею порой,
Весь в поту, от страха бледный,
Чрез кладбище шел домой.

Бедный Ваня еле дышит,
Спотыкаясь, чуть бредет
По могилам; вдруг он слышит, —
Кто-то кость, ворча, грызет.

Ваня стал; шагнуть не может.
Боже, думает бедняк,
Это верно кости гложет
Красногубый вурдалак.

Горе! малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем,
Если сам земли могильной
Я с молитвою не съем.

Что же? вместо вурдалака
(Вы представьте Вани злость!)
В темноте пред ним собака
На могиле гложет кость.

## XIV

### Сестра и братья [22]

Два дубочка вырастали рядом,
Между ими тонковерхая елка.
Не два дуба рядом вырастали,
Жили вместе два братца родные:
Один Павел, а другой Радула,
А меж ими сестра их Елица.
Сестру братья любили всем сердцем,
Всякую ей оказывали милость;
Напоследок ей нож подарили
Золоченый в серебряной оправе.
Огорчилась молодая Павлиха
На золовку, стало ей завидно;
Говорит она Радуловой любе:
„Невестушка, по богу сестрица!
Не знаешь ли ты зелия такого,
Чтоб сестра омерзела братьям?“
Отвечает Радулова люба:
„По богу сестра моя, невестка,
Я не знаю зелия такого;
Хоть бы знала, тебе б не сказала;
И меня братья мои любили,
И мне всякую оказывали милость“.
Вот пошла Павлиха к водопою,
Да зарезала коня вороного

И сказала своему господину:
„Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ей подарки:
Извела она коня вороного“.
Стал Елицу допытывать Павел:
„За что это? Скажи бога ради“.
Сестра брату с плачем отвечает:
„Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!„
В ту пору брат сестре поверил.
Вот Павлиха пошла в сад зеленый,
Сивого сокола там заколола
И сказала своему господину:
„Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ты ей подарки:
Ведь она сокола заколола“.
Стал Елицу допытывать Павел:
„За что это? Скажи бога ради“.
Сестра брату с плачем отвечает:
„Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!“
И в ту пору брат сестре поверил.
Вот Павлиха по вечеру поздно
Нож украла у своей золовки
И ребенка своего заколола
В колыбельке его золоченой.
Рано утром к мужу прибежала,
Громко воя и лицо терзая.
„Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ты ей подарки:
Заколола у нас она ребенка.
А когда еще ты мне не веришь,
Осмотри ты нож ее злаченый“.
Вскочил Павел, как услышал это,
Побежал к Елице во светлицу:
На перине Елица почивала,
В головах нож висел злаченый.
Из ножен вынул его Павел, —
Нож злаченый весь был окровавлен.
Дернул он сестру за белу руку:

„Ой, сестра, убей тебя боже!
Извела ты коня вороного
И в саду сокола заколола,
Да за что ты зарезала ребенка?“
Сестра брату с плачем отвечает:
„Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!
Коли ж ты не веришь моей клятве,
Выведи меня в чистое поле,
Привяжи к хвостам коней борзых,
Пусть они мое белое тело
Разорвут на четыре части“.
В ту пору брат сестре не поверил;
Вывел он ее в чистое поле,
Привязал ко хвостам коней борзых
И погнал их по чистому полю.
Где попала капля ее крови,
Выросли там алые цветочки;
Где осталось ее белое тело,
Церковь там над ней соорудилась.
Прошло малое после того время,
Захворала молодая Павлиха.
Девять лет Павлиха всё хворает;
Выросла трава сквозь ее кости,
В той траве лютый змей гнездится,
Пьет ей очи, сам уходит к ночи.
Люто страждет молода Павлиха;
Говорит она своему господину:
„Слышишь ли, господин ты мой, Павел,
Сведи меня к золовкиной церкви,
У той церкви авось исцелюся“.
Он повел ее к сестриной церкви,
И как были они уже близко,
Вдруг из церкви услышали голос:
„Не входи, молодая Павлиха,
Здесь не будет тебе исцеленья“.
Как услышала то молодая Павлиха,
Она молвила своему господину:
„Господин ты мой! прошу тебя богом,
Не веди меня к белому дому,

А вяжи меня к хвостам твоих коней
И пусти их по чистому полю".
Своей любы послушался Павел,
Привязал ее к хвостам своих коней
И погнал их по чистому полю.
Где попала капля ее крови,
Выросло там тернье да крапива;
Где осталось ее белое тело,
На том месте озеро провалило.
Ворон конь по озеру выплывает,
За конем золоченая люлька,
На той люльке сидит сокол-птица,
Лежит в люльке маленький мальчик:
Рука матери у него под горлом,
В той руке теткин нож золоченый.

## XV

### Яныш королевич [23]

Полюбил королевич Яныш
Молодую красавицу Елицу,
Любит он ее два красные лета,
В третье лето вздумал он жениться
На Любусе, чешской королевне.
С прежней любой идет он проститься.
Ей приносит с червонцами черес,
Да гремучие серьги золотые,
Да жемчужное тройное ожерелье;
Сам ей вдел он серьги золотые,
Навязал на шею ожерелье,
Дал ей в руки с червонцами черес,
В обе щеки поцеловал молча
И поехал своею дорогой.
Как одна осталася Елица,
Деньги наземь она пометала,
Из ушей выдернула серьги,
Ожерелье на-двое разорвала,
А сама кинулась в Мораву.

Там на дне молодая Елица
Водяною царицей очнулась
И родила маленькую дочку,
И ее нарекла Водяницей.

Вот проходят три года и боле,
Королевич ездит на охоте,
Ездит он по берегу Моравы;
Захотел он коня вороного
Напоить студеною водою.
Но лишь только запененную морду
Сунул конь в студеную воду,
Из воды вдруг высунулась ручка:
Хвать коня за узду золотую!
Конь отдернул голову в испуге,
На узде висит Водяница,
Как на уде пойманная рыбка, —
Конь кружится по чистому лугу,
Потрясая уздой золотою,
Но стряхнуть Водяницы не может.
Чуть в седле усидел королевич,
Чуть сдержал коня вороного,
Осадив могучею рукою.
На траву Водяница прыгнула.
Говорит ей Яныш королевич:
„Расскажи, какое ты творенье:
Женщина ль тебя породила,
Иль богом проклятая Вила?“
Отвечает ему Водяница:
„Родила меня молодая Елица,
Мой отец Яныш королевич,
А зовут меня Водяницей“.
Королевич при таком ответе
Соскочил с коня вороного,
Обнял дочь свою Водяницу
И, слезами заливаясь, молвил:
„Где, скажи, твоя мать Елица?
Я слыхал, что она потонула“.
Отвечает ему Водяница:
„Мать моя царица водяная;

Она властвует над всеми реками,
Над реками и над озерами;
Лишь не властвует она синим морем,
Синим морем властвует Див-Рыба".
Водянице молвил королевич:
„Так иди же к водяной царице
И скажи ей: Яныш королевич
Ей поклон усердный посылает
И у ней свидания просит
На зеленом берегу Моравы.
Завтра я заеду за ответом".
Они после того расстались.

Рано утром, чуть заря зарделась,
Королевич над рекою ходит;
Вдруг из речки, по белые груди,
Поднялась царица водяная
И сказала: „Яныш королевич,
У меня свидания просил ты:
Говори, чего еще ты хочешь?"
Как увидел он свою Елицу,
Разгорелись снова в нем желанья,
Стал манить ее к себе на берег.
„Люба ты моя, млада Елица,
Выдь ко мне на зеленый берег,
Поцелуй меня попрежнему сладко,
Попрежнему полюблю тебя крепко".
Королевичу Елица не внимает,
Не внимает, головою кивает:
„Нет, не выду, Яныш королевич,
Я к тебе на зеленый берег.
Слаще прежнего нам не целоваться,
Крепче прежнего меня не полюбишь.
Расскажи-ка мне лучше хорошенько,
Каково, счастливо ль поживаешь
С новой любой, с молодой женою?"
Отвечает Яныш королевич:
„Против солнышка луна не пригреет,
Против милой жена не утешит".

## XVI

### Конь

„Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удил?
Али я тебя не холю?
Али ешь овса не вволю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?“

Отвечает конь печальный:
„Оттого я присмирел,
Что я слышу топот дальный,
Трубный звук и пенье стрел;
Оттого я ржу, что в поле
Уж не долго мне гулять,
Проживать в красе и в холе,
Светлой сбруей щеголять;
Что уж скоро враг суровый
Сбрую всю мою возьмет
И серебряны подковы
С легких ног моих сдерет;
Оттого мой дух и ноет,
Что наместо чапрака
Кожей он твоей покроет
Мне вспотевшие бока“.

## Примечания

[1] Фома I был тайно умерщвлен своими двумя сыновьями Стефаном и Радивоем в 1460 году. Стефан ему наследовал. Радивой, негодуя на брата за похищение власти, разгласил ужасную тайну и бежал в Турцию к Магомету II. Стефан по внушению папского легата решился воевать с турками. Он был побежден и бежал в Ключ-город, где Магомет осадил его. Захваченный в плен он не согласился принять магометанскую веру, и с него содрали кожу.

[2] *Щиколодка*, по московскому наречию щиколка.

[3] Так называют себя некоторые иллирийские раскольники.

[4] *Фаланга*, палочные удары по пятам.

[5] Радивой никогда не имел этого сана; и все члены королевского семейства истреблены были султаном.

[6] Кафтан, обыкновенный подарок султанов.

[7] Анахронизм.

[8] Трогательный обычай *братования*, у сербов и других западных славян, освящается духовными обрядами.

[9] Неизвестно, к какому происшествию относится эта песня.

[10] Потеря сражения приписывается далматам, ненавистным для влахов.

[11] Жиды в турецких областях суть вечные предметы гонения и ненависти. Во время войны им доставалось от мусульман и христиан. Участь их, замечает В. Скотт, походит на участь летучей рыбы. — М⟨ериме⟩.

[12] *Банялука*, прежняя столица боснийского пашалыка.

[13] *Селихтар*, меченосец.

[14] Все народы почитали жабу ядовитым животным.

[15] Мицкевич перевел и украсил эту песню.

[16] *Гайдук*, глава, начальник. Гайдуки не имеют пристанища и живут разбоями.

[17] Западные славяне верят в существование *упырей* (vampire). См. песню о *Марке Якубовиче*.

[18] Мериме поместил в начале своей *Guzla* известие о старом гусляре Иакинфе Маглановиче; неизвестно, существовал ли он когда-нибудь; но статья его биографа имеет необыкновенную прелесть оригинальности и правдоподобия. Книга Мериме редка, и читатели, думаю, с удовольствием найдут здесь жизнеописание славянина-поэта.

### * *Notice sur Hyacinthe Maglanovich*

Hyacinthe Maglanovich est le seul joueur de guzla que j'aie vu, qui fût aussi poète car la plupart ne font que répéter d'anciennes chansons, ou tout au plus ne composent que des pastiches en prenant vingt vers d'une ballade, autant d'une autre, et liant le tout au moyen de mauvais vers de leur façon.

---

* ⟨Перевод смотри в комментариях.⟩

Notre poète est né à Zuonigrad, comme il le dit lui-même dans sa ballade intitulée *L'Aubépine de Veliko*. Il était fils d'un cordonnier, et ses parents ne semblent pas s'être donné beaucoup de mal pour son éducation, car il ne sait ni lire ni écrire. A l'âge de huit ans il fut enlevé par des *tchingénehs* ou bohémiens. Ces gens le menèrent en Bosnie, où ils lui apprirent leurs tours et le convertirent sans peine à l'islamisme, qu'ils professent pour la plupart. * Un *ayan* ou maire de Livno le tira de leurs mains et le prit à son service, où il passa quelques années.

Il avait quinze ans, quand un moine catholique réussit à le convertir au christianisme, au risque de se faire empaler s'il était découvert; car les Turcs n'encouragent point les travaux des missionnaires. Le jeune Hyacinthe n'eut pas de peine à se décider à quitter un maître assez dur, comme sont la plupart des Bosniaques; mais, en se sauvant de sa maison, il voulut tirer vengeance de ses mauvais traitements. Profitant d'une nuit orageuse, il sortit de Livno, emportant une pelisse et le sabre de son maître, avec quelques sequins qu'il put dérober. Le moine qui l'avait rebaptisé l'accompagna dans sa fuite, que peut-être il avait conseillée.

De Livno à Scign en Dalmatie il n'y a qu'une douzaine de lieues. Les fugitifs s'y trouvèrent bientôt sous la protection du gouvernement vénitien et à l'abri des poursuites de l'ayan. Ce fut dans cette ville que Maglanovich fit sa premiere chanson: il célébra sa fuite dans une ballade qui trouva quelques admirateurs et qui commença sa réputation.**

Mais il était sans ressources d'ailleurs pour subsister, et la nature lui avait donné peu de goût pour le travail. Grâce à l'hospitalité morlaque, il vécut quelque temps de la charité des habitants des campagnes, payant son écot en chantant sur la guzla quelque vieille romance qu'il savait par coeur. Bientôt il en composa lui-même pour des mariages et des enterrements, et sut si bien se rendre nécessaire, qu'il n'y avait pas de bonne fête si Maglanovich et sa guzla n'en étaient pas.

Il vivait ainsi dans les environs de Scign, se souciant fort peu de ses parents, dont il ignore encore le destin, car il n'a jamais été à Zuonigrad depuis son enlèvement.

A vingt-cinq ans c'était un beau jeune homme, fort, adroit, bon chasseur et de plus poète et musicien célèbre; il était bien vu de tout le monde, et surtout des jeunes filles. Celle qu'il préférait se nommait Marie et était fille d'un riche morlaque, nommé Zlarinovich. Il gagna facilement son affection et, suivant la coutume, il l'enleva. Il avait pour rival une espèce de seigneur du pays, nommé Uglian, lequel eut connaissance de l'enlèvement projeté. Dans les moeurs illyriennes l'amant dédaigné se console facilement et n'en fait pas plus mauvaise mine à son rival heureux; mais cet Uglian s'avisa d'être jaloux et voulut mettre obstacle au bonheur de Maglanovich. La nuit de l'enlèvement, il parut accompagné de deux de ses domestiques, au moment où Marie était déjà montée sur un cheval et prête à suivre son amant. Uglian leur cria de s'arrêter d'une voix menaçante. Les deux rivaux étaient armés suivant l'usage. Maglanovich tira le premier et tua le seigneur Uglian. S'il avait eu une famille, elle aurait épousé sa querelle, et il n'aurait pas quitté le pays pour si peu de chose; mais il était sans parents pour l'aider, et il restait seul exposé à la ven-

* Tous ces détails m'ont été donnés en 1817 par Maglanovich lui-même.

** J'ai fait de vains efforts pour me la procurer. Maglanovich lui-même l'avait oublié ou peut-être eut-il honte de me réciter son premier essai dans la poésie.

geance de toute la famille du mort. Il prit son parti promptement et s'enfuit avec sa femme dans les montagnes où il s'associa avec des heyduques. ***

Il vécut longtemps avec eux, et même il fut blessé au visage dans une escarmouche avec les pandours. **** Enfin, ayant gagné quelque argent d'une manière assez peu honnête, je crois, il quitta les montagnes, acheta des bestiaux et vint s'établir dans le Kotar avec sa femme et quelques enfants. Sa maison est près de Smocovich, sur le bord d'une petite rivière ou d'un torrent qui se jette dans le lac de Vrana. Sa femme et ses enfants s'occupent de leurs vaches et de leur petite ferme; mais lui est toujours en voyage; souvent il va voir ses anciens amis les heyduques, sans toutefois prendre part à leur dangereux métier.

Je l'ai vu à Zara pour la première fois en 1816. Je parlais alors très facilement l'illyrique, et je désirais beaucoup entendre un poète en réputation. Mon ami, l'estimable voïvode Nicolas ..., avait rencontré à Biograd, où il demeure, Hyacinthe Maglanovich, qu'il connaisait déjà, et sachant qu'il allait à Zara, il lui donna une lettre pour moi. Il me disait que, si je voulais tirer quelque chose du joueur de guzla, il fallait le faire boire; car il ne se sentait inspiré que lorsqu'il était à peu près ivre.

Hyacinthe avait alors près de soixante ans. C'est un grand homme, vert et robuste pour son âge, les épaules larges et le cou remarquablement gros; sa figure est prodigieusement basanée; ses yeux sont petits et un peu relevés du coin; son nez aquilin, assez enflammé par l'usage des liqueurs fortes, sa longue moustache blanche et ses gros sourcils noirs forment un ensemble que l'on oublie difficilement quand on l'a vu une fois. Ajoutez à cela une longue cicatrice qu'il porte sur le sourcil et sur une partie de la joue. Il est très extraordinaire qu'il n'ait pas perdu l'oeil en recevant cette blessure. Sa tête était rasée, suivant l'usage presque général, et il portait un bonnet d'agneau noir; ses vêtements étaient assez vieux, mais encore très propres.

En entrant dans ma chambre, il me donna la lettre du voïvode et s'assit sans cérémonie. Quand j'eus fini de lire: vous parlez donc l'illyrique, me dit il d'un air de doute assez méprisant. Je lui répondis sur le champ dans cette langue que je l'entendais assez bien pour pouvoir apprécier ses chansons, qui m'avaient été extrêmement vantées. Bien, bien, dit-il; mais j'ai faim et soif: je chanterai quand je serai rassasié. Nous dinâmes ensemble. Il me semblait qu'il avait jeûné quatre jours au moins, tant il mangeait avec avidité. Suivant l'avis du voïvode, j'eus soin de le faire boire, et mes amis, qui étaient venus nous tenir compagnie sur le bruit de son arrivée, remplissaient son verre à chaque instant. Nous espérions que quand cette faim et cette soif si extraordinaires seraient apaisées, notre homme voudrait bien nous faire entendre quelques-uns de ses chants. Mais notre attente fut bien trompée. Tout d'un coup il se leva de table et se laissant tomber sur un tapis près du feu (nous étions en décembre), il s'endormit en moins de cinq minutes, sans qu'il y eût moyen de le réveiller.

Je fus plus heureux une autre fois: j'eus soin de le faire boire seulement assez pour l'animer et alors il nous chanta plusiers des ballades que l'on trouvera dans ce recueil.

Sa voix a dû être fort belle; mais alors elle était un peu cassée. Quand il chantait sur sa guzla, ses yeux s'animaient et sa figure prenait une expression de beauté sauvage, qu'un peintre aimerait à exprimer sur la toile.

*** Espèce de bandits.

**** Soldats de la police.

Il me quitta d'une façon étrange: il demeurait depuis cinq jours chez moi, quand un matin il sortit, et je l'attendis inutilement jusqu'au soir. J'appris qu'il avait quitté Zara pour retourner chez lui; mais en même temps je m'aperçus qu'il me manquait une paire de pistolets anglais qui, avant son départ précipité, étaient pendus dans ma chambre. Je dois dire à sa louange qu'il aurait pu emporter également ma bourse et une montre d'or qui valaient dix fois plus que les pistolets, qu'il m'avait pris.

En 1817, je passai deux jours dans sa maison, où il me reçut avec toutes les marques de la joie la plus vive. Sa femme et tous ses enfants et petits enfants me sautèrent au cou et quand je le quittai, son fils aîné me servit de guide dans les montagnes pendant plusieurs jours, sans qu'il me fut possible de lui faire accepter quelque récompense.

[19] Вурдалаки, вудкодлаки, упыри, мертвецы, выходящие из своих могил и сосущие кровь живых людей.

[20] Лекарством от укушения упыря служит земля, взятая из его могилы.

[21] По другому преданию, Георгий сказал товарищам: Старик мой умер; возьмите его с дороги.

[22] Прекрасная эта поэма взята мною из Собрания сербских песен Вука Стефановича.

[23] Песня о Яныше королевиче в подлиннике очень длинна и разделяется на несколько частей. Я перевел только первую, и то не всю.

* * *

I

И дале мы пошли — и страх обнял меня.
Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.

Горячий капал жир в копченое корыто,
И лопал на огне печеный ростовщик.
А я: „Поведай мне: в сей казни что сокрыто?“

7 Вергилий мне: „Мой сын, сей казни смысл велик:
Одно стяжание имев всегда в предмете,
Жир должников своих сосал сей злой старик

И их безжалостно крутил на вашем свете“.
Тут грешник жареный протяжно возопил:
„О, если б я теперь тонул в холодной Лете!

13 О, если б зимний дождь мне кожу остудил!
Сто на сто я терплю: процент неимоверный!“ —
Тут звучно лопнул он — я взоры потупил.

Тогда услышал я (о диво!) запах скверный,
Как будто тухлое разбилось яицо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной.

19 Я, нос себе зажав, отворотил лицо.
Но мудрый вождь тащил меня все дале, дале —
И, камень приподняв за медное кольцо,

Сошли мы вниз — и я узрел себя в подвале.

II

Тогда я демонов увидел черный рой,
Подобный издали ватаге муравьиной —
И бесы тешились проклятою игрой:

До свода адского касалася вершиной
Гора стеклянная, [как Арарат] остра —
И разлегалася над темною равниной.

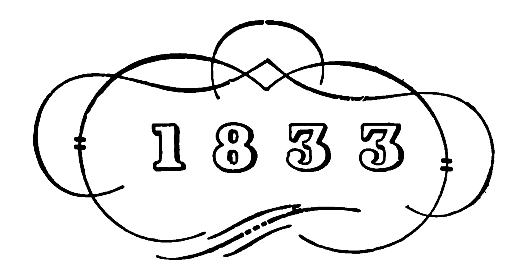
И бесы, раскалив как жар чугун ядра,
[Пустили вниз его смердящими] когтями;
Ядро запрыгало — и гладкая гора,

Звеня, растрескалась колючими звездами —
Тогда других чертей нетерпеливый рой
За жертвой кинулся с ужасными словами.

Схватили под-руки жену с ее сестрой,
И заголили их, и вниз пихнули с криком —
И обе, сидючи, пустились вниз стрелой...

Порыв отчаянья я внял в их вопле диком;
Стекло их резало, впивалось в тело им —
А бесы прыгали в веселии великом.

Я издали глядел — смущением томим,




## Гусар

Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру:
„Занес же вражий дух меня
На распроклятую квартеру!

Здесь человека берегут,
Как на турецкой перестрелке,
Насилу щей пустых дадут,
А уж не думай о горелке.

Здесь на тебя, как лютый зверь,
Глядит хозяин, а с хозяйкой...
Небось, не выманишь за дверь
Ее ни честью, ни нагайкой.

То ль дело Киев! Что за край!
Валятся сами в рот галушки,
Вином хоть пару поддавай,
А молодицы — молодушки!

Ей-ей, не жаль отдать души
За взгляд красотки *чернобривой*.
Одним, одним не хороши...“
„А чем же? расскажи, служивый“.

Он стал крутить свой длинный ус
И начал: „Молвить без обиды,
Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды.

Ну, слушай: около Днепра
Стоял наш полк; моя хозяйка
Была пригожа и добра,
А муж-то помер, замечай-ка.

Вот с ней и подружился я:
Живем согласно, так что любо:
Прибью — Марусинька моя
Словечка не промолвит грубо;

Напьюсь — уложит, и сама
Опохмелиться приготовит;
Мигну бывало: Эй, кума! —
Кума ни в чем не прекословит.

Кажись, о чем бы горевать?
Живи в довольстве, безобидно!
Да нет: я вздумал ревновать.
Что делать? враг попутал, видно.

Зачем бы ей, стал думать я,
Вставать до петухов! Кто просит?
Шалит Марусинька моя,
Куда ее лукавый носит?

Я стал присматривать за ней.
Раз я лежу, глаза прищуря,
(А ночь была тюрьмы черней,
И на дворе шумела буря)

49 И слышу: кумушка моя
С печи тихохонько прыгнула,
Слегка обшарила меня,
Присела к печке, уголь вздула

53 И свечку тонкую зажгла,
Да в уголок пошла со свечкой,
Там с полки скляночку взяла
И, сев на веник перед печкой,

57 Разделась донага; потом
Из склянки три раза хлебнула,
И вдруг на венике верхом
Взвилась в трубу и улизнула.

61 Эге! смекнул в минуту я:
Кума-то, видно, бусурманка!
Постой, голубушка моя!..
И с печки слез — и вижу: склянка.

65 Понюхал: кисло! что за дрянь!
Плеснул я на пол: что за чудо?
Прыгнул ухват, за ним лохань,
И оба в печь. Я вижу: худо!

69 Гляжу: под лавкой дремлет кот;
И на него я брызнул склянкой —
Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот
И он туда же за лоханкой.

73 Я ну кропить во все углы
С плеча, во что уж ни попало;
И всё: горшки, скамьи, столы,
Марш! марш! — всё в печку поскакало.

77 Кой чорт! подумал я: теперь
И мы попробуем! и духом
Всю склянку выпил; верь не верь —
Но кверху вдруг взвился я пухом.

81 Стремглав лечу, лечу, лечу,
Куда, не помню и не знаю;
Лишь встречным звездочкам кричу:
Правей!.. и наземь упадаю.

85 Гляжу: гора. На той горе
Кипят котлы; поют, играют,
Свистят и в мерзостной игре
Жида с лягушкою венчают.

89 Я плюнул и сказать хотел...
И вдруг бежит моя Маруся:
„Домой! кто звал тебя, пострел?
Тебя съедят!“ Но я, не струся:

93 „Домой? да! чорта с два! почем
Мне знать дорогу!“ — „Ах, он странный!
Вот кочерга, садись верхом
И убирайся, окаянный“.

97 „Чтоб я, я сел на кочергу,
Гусар присяжный! Ах ты, дура!
Или предался я врагу?
Иль у тебя двойная шкура?

101 Коня!“ — „На, дурень, вот и конь“.
И точно: конь передо мною,
Скребет копытом, весь огонь,
Дугою шея, хвост трубою.

105 „Садись“. — Вот сел я на коня,
Ищу уздечки, — нет уздечки.
Как взвился, как понес меня —
И очутились мы у печки.

109 Гляжу: всё так же; сам же я
Сижу верхом, и подо мною
Не конь — а старая скамья:
Вот что случается порою“.

113 И стал крутить он длинный ус,
Прибавя: „Молвить без обиды,
Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды“.

* * *

Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б, — наслажденье
Вкушать в неведомой тиши:
Забыл бы всех желаний трепет,
Мечтою б целый мир назвал
И всё бы слушал этот лепет,
Всё б эти ножки целовал...

## Воевода

Поздно ночью из похода
Воротился воевода.
Он слугам велит молчать;
В спальню кинулся к постеле;
Дернул полог... В самом деле!
Никого; пуста кровать.

7 И, мрачнее черной ночи,
Он потупил грозны очи,
Стал крутить свой сивый ус...
Рукава назад закинул,
Вышел вон, замок задвинул;
„Гей, ты, — кликнул, — чортов кус!

13 А зачем нет у забора
Ни собаки, ни затвора?
Я вас, хамы!.. Дай ружье;
Приготовь мешок, веревку,
Да сними с гвоздя винтовку.
Ну, за мною!.. Я ж ее!“

19 Пан и хлопец под забором
Тихим крадутся дозором,
Входят в сад — и сквозь ветвей,
На скамейке, у фонтана,
В белом платье, видят, панна
И мужчина перед ней.

25 Говорит он: „Всё пропало,
Чем лишь только я, бывало,
Наслаждался, что любил:
Белой груди воздыханье,
Нежной ручки пожиманье, —
Воевода всё купил.

31 Сколько лет тобой страдал я,
Сколько лет тебя искал я!
От меня ты отперлась.

Не искал он, не страдал он,
Серебром лишь побряцал он,
И ему ты отдалась.

37 Я скакал во мраке ночи
Милой панны видеть очи,
Руку нежную пожать;
Пожелать для новоселья
Много лет ей и веселья,
И потом навек бежать“.

43 Панна плачет и тоскует,
Он колени ей целует,
А сквозь ветви те глядят,
Ружья наземь опустили,
По патрону откусили,
Вбили шомполом заряд.

49 Подступили осторожно.
„Пан мой, целить мне не можно, —
Бедный хлопец прошептал: —
Ветер, что ли, плачут очи,
Дрожь берет, в руках нет мочи,
Порох в полку не попал“.

55 „Тише ты, гайдучье племя!
Будешь плакать, дай мне время!
Сыпь на полку... Наводи...
Цель ей в лоб. Левее... выше.
С паном справлюсь сам. Потише;
Прежде я; ты погоди“.

61 Выстрел по саду раздался.
Хлопец пана не дождался;
Воевода закричал,
Воевода пошатнулся...
Хлопец, видно, промахнулся:
Прямо в лоб ему попал.

## *1833*

### Будрыс и его сыновья

Три у Будрыса сына, как и он, три литвина.
Он пришел толковать с молодцами.
„Дети! седла чините, лошадей проводите,
Да точите мечи с бердышами.

Справедлива весть эта: на три стороны света
Три замышлены в Вильне похода.
Паз идет на поляков, а Ольгерд на прусаков,
А на русских Кестут воевода.

Люди вы молодые, силачи удалые
(Да хранят вас литовские боги!),
Нынче сам я не еду, вас я шлю на победу;
Трое вас, вот и три вам дороги.

Будет всем по награде: пусть один в Новеграде
Поживится от русских добычей.
Жены их, как в окладах, в драгоценных нарядах;
Домы полны; богат их обычай.

А другой от прусаков, от проклятых крыжаков,
Может много достать дорогого,
Денег с целого света, сукон яркого цвета,
Янтаря — что песку там морского.

Третий с Пазом на ляха пусть ударит без страха.
В Польше мало богатства и блеску,
Сабель взять там не худо; но уж верно оттуда
Привезет он мне на дом невестку.

Нет на свете царицы краше польской девицы.
Весела, что котенок у печки,
И, как роза, румяна, а бела, что сметана;
Очи светятся, будто две свечки!

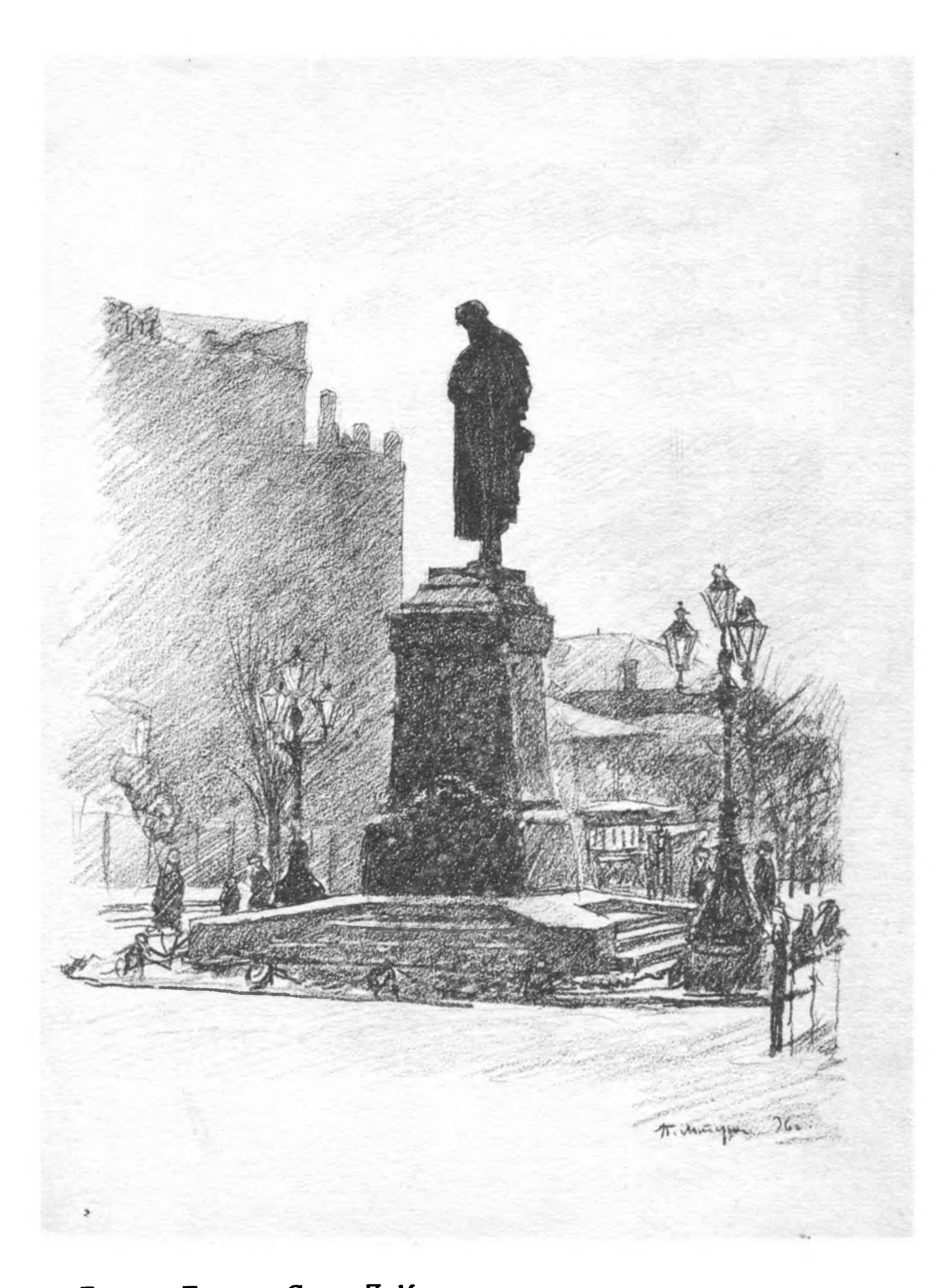
Был я, дети, моложе, в Польшу съездил я тоже
И оттуда привез себе женку;
Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю
Про нее, как гляжу в ту сторонку".

Сыновья с ним простились и в дорогу пустились.
Ждет, пождет их старик домовитый,
Дни за днями проводит, ни один не приходит.
Будрыс думал: уж видно убиты!

Снег на землю валится, сын дорогою мчится,
И под буркою ноша большая.
„Чем тебя наделили? что там? Ге! не рубли ли?" —
„Нет, отец мой; полячка младая".

Снег пушистый валится, всадник с ношею мчится,
Черной буркой ее покрывая.
„Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?" —
„Нет, отец мой; полячка младая".

Снег на землю валится, третий с ношею мчится,
Черной буркой ее прикрывает.
Старый Будрыс хлопочет и спросить уж не хочет,
А гостей на три свадьбы сзывает.



Памятник Пушкину. С рис. *П. Митурича*

## Осень

(Отрывок)

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
*Державин.*

I

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

II

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

III

Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
А зимних праздников блестящие тревоги?..
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это, наконец, и жителю берлоги,
Медведю, надоест. Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми,
Иль киснуть у печей за стеклами двойными.

IV

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить, да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.

V

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

VI

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

VII

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

VIII

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

IX

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол, и трескается лед.
Но гаснет краткий день,— и в камельке забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю,
Иль думы долгие в душе моей питаю.

X

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем,
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

### XI

81 И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

### XII

89 Плывет. Куда ж нам плыть?..
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Родословная моего героя

(Отрывок из сатирической поэмы)

Начнем ab ovo:*
Мой Езерский
Происходил от тех вождей,
Чей в древни веки парус дерзкий
Поработил брега морей.
Одульф, его начальник рода,
Вельми бе грозен воевода
(Гласит софийский хронограф).
При Ольге сын его Варлаф
Приял крещенье в Цареграде
С приданым греческой княжны.
От них два сына рождены,
Якуб и Дорофей. В засаде
Убит Якуб, а Дорофей
Родил двенадцать сыновей.

Ондрей, по прозвищу Езерский,
Родил Ивана да Илью
И в лавре схимился Печерской.
Отсель фамилию свою
Ведут Езерские. При Калке
Один из них был схвачен в свалке
А там раздавлен, как комар,
Задами тяжкими татар.
Зато со славой, хоть с уроном,
Другой Езерский, Елизар,
Упился кровию татар,
Между Непрядвою и Доном,
Ударя с тыла в табор их
С дружиной суздальцев своих.

* <От самого корня.>

В века старинной нашей славы,
Как и в худые времена,
Крамол и смут во дни кровавы
Блестят Езерских имена.
Они и в войске, и в совете,
На воеводстве, и в ответе*
Служили доблестно царям.
Из них Езерский Варлаам
Гордыней славился боярской;
За спор то с тем он, то с другим
С большим бесчестьем выводим
Бывал из-за трапезы царской,
Но снова шел под тяжкий гнев
И умер, Сицких *пересев*. **

Когда от Думы величавой
Приял Романов свой венец,
Как под отеческой державой
Русь отдохнула наконец,
А наши вȯроги смирились,—
Тогда Езерские явились
В великой силе при дворе,
При императоре Петре...
Но извините: статься может,
Читатель, вам я досадил;
Ваш ум дух века просветил,
Вас спесь дворянская не гложет,
И нужды нет вам никакой
До вашей книги родовой.

Кто б ни был ваш родоначальник,
Мстислав, князь Курбский, иль Ермак,
Или Митюшка целовальник,
Вам всё равно. Конечно, так:

---

* В посольстве.

** *Пересесть кого* — старинное выражение, значит занять место выше.

Вы презираете отцами,
Их славой, честию, правами
Великодушно и умно;
Вы отреклись от них давно,
Прямого просвещенья ради,
Гордясь (как общей пользы друг)
Красою *собственных заслуг*,
Звездой двоюродного дяди,
Иль приглашением на бал
Туда, где дед ваш не бывал.

71 Я сам — хоть в книжках и словесно
Собратья надо мной трунят —
Я мещанин, как вам известно,
И в этом смысле демократ;
Но каюсь: новый Ходаковский, *
Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине.
Мне жаль, что нашей славы звуки
Уже нам чужды; что спростà
Из бар мы лезем в tiers-état, **
Что нам не в прок пошли науки,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто.

85 Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух,
Что их поносит и Фиглярин,
Что русский ветреный боярин
Считает грамоты царей
За пыльный сбор календарей,

---

* Известный любитель древности, умерший несколько лет тому назад.

** ⟨Третье сословие.⟩

Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава,
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осёл:
Дух века вот куда зашел!

99 Вот почему, архивы роя,
Я разбирал в досужный час
Всю родословную героя,
О ком затеял свой рассказ,
И здесь потомству заповедал.
Езерский сам же твердо ведал,
Что дед его, великий муж,
Имел двенадцать тысяч душ;
Из них отцу его досталась
Осьмая часть, и та сполна
Была давно заложена
И ежегодно продавалась;
А сам он жалованьем жил
И регистратором служил.

* * *

Французских рифмачей суровый судия,
О классик Депрео, к тебе взываю я:
Хотя, постигнутый неумолимым роком,
В своем отечестве престал ты быть пророком,
Хоть дерзких умников простерлася рука
На лавры твоего густого парика,
Хотя растрепанный новейшей вольной школой,
К ней в гневе обратил ты свой затылок голый;
Но я молю тебя, поклонник верный твой —
Будь мне вожатаем. Дерзаю за тобой
Занять кафедру ту, с которой в прежни лета
Ты слишком превознес достоинства сонета,
Но где торжествовал твой здравый приговор
Минувших лет глупцам, вранью тогдашних пор.

[Новейшие врали вралей старинных стоят
И слишком уж меня их бредни беспокоят.
Ужели всё молчать, да слушать? О беда!
Нет. Всё им выскажу однажды завсегда.]

О вы, которые, восчувствовав отвагу,
Хватаете перо, мараете бумагу,
Тисненью предавать труды свои спеша,
Постойте, наперед, узнайте, чем душа
У вас исполнена — прямым ли вдохновеньем,
Иль необдуманным одним поползновеньем,
И чешется у вас рука по пустякам,
Иль вам не верят в долг, а деньги нужны вам.
Не лучше ль стало б вам с надеждою смиренной
Заняться службою гражданской иль военной,
С хваленым Жуковым табачный торг завесть
И снискивать в труде себе барыш и честь,
Чем объявления совать во все журналы,
[Иль пошлые кропать вельможе мадригалы —
Над меньшей собратьей в поту лица острясь,
Иль выше мнения отважно вознесясь,]
С оплошной публики (как некие писаки)
Подписку собирать — на будущие враки.

## Подражания древним

### 1

(Из Ксенофана Колофонского)

Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают;
Все уж увенчаны гости; иной обоняет, зажмурясь,
Ладана сладостный дым; другой открывает амфору,
Запах веселый вина разливая далече; сосуды
Светлой студеной воды, золотистые хлебы, янтарный
Мед и сыр молодой: всё готово; весь убран цветами
Жертвенник. Хоры поют. Но в начале трапезы, о други,
Должно творить возлиянья, вещать благовещие речи.
Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою
Правду блюсти: ведь оно ж и легче. Теперь мы приступим:
Каждый в меру свою напивайся. Беда не велика
В ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава
Гостю, который за чашей беседует мудро и тихо!

### 2

(Из Афенея)

Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров
Старец, ослепший от лет, некогда Скирпал родил,
И, вдохновенный, нарек младенца Феоном. За чашей
Сладостно Вакха и муз славил приятный Феон.
Славил и Вàтала он, молодого красавца: прохожий!
Мимо гробницы спеша, вымолви: здравствуй, Феон!

## Вино

(Ион Хиосский)

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!

* * *

Юноша! скромно пируй, и шумную Вакхову влагу
С трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай.

* * *

Бог веселый винограда
Позволяет нам три чаши
Выпивать в пиру вечернем.
Первую во имя граций
Обнаженных и стыдливых;
Посвящается вторая
Краснощекому здоровью,
Третья дружбе многолетной.
Мудрый после третьей чаши
Все венки с главы слагает
И творит уж возлиянья
Благодатному Морфею.

## Отрывок

Не розу пафосскую,
Росой оживленную,
Я ныне пою;
Не розу феосскую,
Вином окропленную,
Стихами хвалю;
Но розу счастливую,
На персях увядшую
[Элизы] моей...

* * *

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
    Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
    Расстаться был не рад:

7 Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
    Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
    Нестройных, чудных грез.

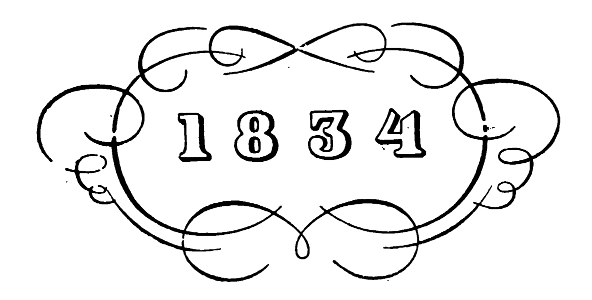
13 И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
    В пустые небеса.
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
    Ломающий леса;

19 Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,
    Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака,
И сквозь решетку, как зверка,
    Дразнить тебя придут.

25 А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
    Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих
Да брань смотрителей ночных,
    Да визг, да звон оков.

* * *

Сват Иван, как пить мы станем,
Непременно уж помянем
Трех Матрен, Луку с Петром,
Да Пахомовну потом.
Мы живали с ними дружно,
Уж как хочешь — будь что будь —
Этих надо помянуть,
Помянуть нам этих нужно.
Поминать, так поминать,
Начинать, так начинать,
Лить, так лить, разлив разливом.
Начинай же, сват, пора.
Трех Матрен, Луку, Петра
В первый <?> раз помянем пивом,
А Пахомовну потом
Пирогами да вином,
Да еще ее помянем:
Сказки сказывать мы станем —
Мастерица ведь была
И откуда что брала!
А куды разумны шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины!..
Слушать, так душе отрадно.
Кто придумал их так ладно?
И не пил бы и не ел,
Всё бы слушал да глядел.
Стариков когда-нибудь
(Жаль, теперь нам недосужно)
Надо будет помянуть —
Помянуть и этих нужно...
Слушай, сват, начну первой,
Сказка будет за тобой.

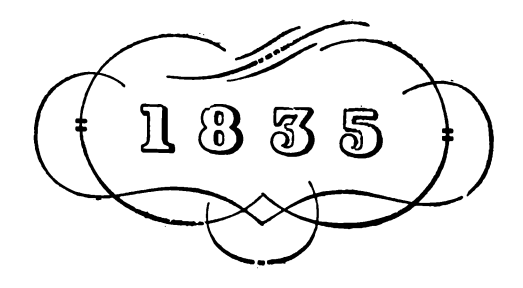


* * *

Он между нами жил
Средь племени ему чужого, злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновен был свыше
И свысока взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Он
Ушел на Запад — и благословеньем
Его мы проводили.—Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напояет.— Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!.. Боже! освяти
В нем сердце правдою твоей и миром
И возврати ему

* * *

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый [страхом],
Под каменным дождем, [под воспаленным прахом],
Толпами стар и [млад] бежит из града вон.



## (Из Анакреона)

(Отрывок)

Узнают коней ретивых
По их выжженным таврам;
Узнают парфян кичливых
По высоким клобукам;
Я любовников счастливых
Узнаю по их глазам:
В них сияет пламень томный —
Наслаждений знак нескромный.

А. С. Пушкин. С рис. карандашом *Ж. Вивьена*
(Госуд. Литературный музей в Москве)

## Ода LVI (Из Анакреона)

Поредели, побелели
Кудри, честь главы моей,
Зубы в деснах ослабели,
И потух огонь очей.
Сладкой жизни мне немного
Провожать осталось дней,
Парка счет ведет им строго,
Тартар тени ждет моей —
Страшен хлад подземна свода:
Вход в него для всех открыт.
Из него же нет исхода —
Всяк сойдет и там забыт.

## Ода LVII

Что же сухо в чаше дно?
Наливай мне, мальчик резвый,
Только пьяное вино
Раствори водою трезвой.
Мы не скифы, не люблю,
Други, пьянствовать бесчинно,
Нет, за чашей я пою
Иль беседую невинно.

## Полководец

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот, — а всё плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу
И, мнится, слышу их воинственные клики.
Из них уж многих нет; другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарелись и никнут в тишине
Главою лавровой.
Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда остановлюсь пред ним и не свожу
С него моих очей. Чем долее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжелой.

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла;
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье,
Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...
И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был неколебим пред общим заблужденьем;
И на полу-пути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко,
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там устарелый вождь, как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти,
Вотще!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколеньи
Поэта приведет в восторг и в умиленье!

### Туча

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

### Из А. Шенье

Покров, упитанный язвительною кровью,
Кентавра мстящий дар, ревнивою любовью
Алкиду передан. Алкид его приял.
В божественной крови яд быстрый побежал,
Се — ярый мученик, в ночи скитаясь, воет;
Стопами тяжкими вершину Эты роет;
Гнет, ломит древеса; исторженные пни
Высоко громоздит; его рукой они
В костер навалены; он их зажег; он всходит;
Недвижим на костре он в небо взор возводит;
Под мышцей палица; в ногах немейский лев
Разостлан. Дунул ветр; поднялся свист и рев;
Треща горит костер; и вскоре пламя, воя,
Уносит к небесам бессмертный дух героя.

## Странник

### I

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь, как больной:
„Что делать буду я? что станется со мной?“

### II

И так я сетуя в свой дом пришел обратно,
Уныние мое всем было непонятно.
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них;
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце наконец раскрыл я поневоле.
„О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —
Сказал я, — ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!“

### III

Мои домашние в смущение пришли
И здравый ум во мне расстроенным почли.
Но думали, что ночь и сна покой целебный
Охолодят во мне болезни жар враждебный.
Я лег, но во всю ночь всё плакал и вздыхал
И ни на миг очей тяжелых не смыкал.
Поутру я один сидел, оставя ложе.

Они пришли ко мне; на их вопрос я то же,
Что прежде, говорил. Тут ближние мои,
Не доверяя мне, за должное почли
Прибегнуть к строгости. Они с ожесточеньем
Меня на правый путь и бранью и презреньем
Старались обратить. Но я, не внемля им,
Всё плакал и вздыхал унынием тесним.
И наконец они от крика утомились
И от меня, махнув рукою, отступились,
Как от безумного, чья речь и дикий плач
Докучны, и кому суровый нужен врач.

## IV

Пошел я вновь бродить — уныньем изнывая
И взоры вкруг себя со страхом обращая,
Как узник, из тюрьмы замысливший побег,
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик — влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу.
Он тихо поднял взор — и вопросил меня,
О чем, бродя один, так горько плачу я?
И я в ответ ему: „Познай мой жребий злобный:
Я осужден на смерть и позван в суд загробный —
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит".
— „Коль жребий твой таков, —
Он возразил,— и ты так жалок в самом деле,
Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?"
И я: „Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?"
Тогда: „Не видишь ли, скажи, чего-нибудь",—
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
Я оком стал глядеть болезненно-отверстом,
Как от бельма врачом избавленный слепец.
„Я вижу некий свет",— сказал я наконец.
„Иди ж,— он продолжал: — держись сего ты света;
Пусть будет он тебе [единственная] мета,
Пока ты тесных врат [спасенья] не достиг,
Ступай!" — И я бежать пустился в тот же миг.

V

Побег мой произвел в семье моей тревогу,
И дети и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих;
Один бранил меня, другой моей супруге
Советы подавал, иной жалел о друге,
Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

* * *

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах.
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.
Вот холм лесистый, на котором часто
Я сиживал недвижим и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...

Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно, синея, стелется широко,
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогой невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...
На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко,— здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я, и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Всё тот же их, знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда всё было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; [кусты] теснятся
[Под сенью их, как дети.] А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
Попрежнему всё пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

* * *

Когда владыка ассирийский
Народы казнию казнил,
И Олоферн весь край азийский
Его деснице покорил,—
Высок смиреньем терпеливым
И крепок верой в бога сил,
Перед сатрапом горделивым
Израил выи не склонил;
Во все пределы Иудеи
Проникнул трепет. Иереи
Одели вретищем алтарь;
[Главу покрыв] золой и прахом,
Народ завыл, объятый страхом,
И внял ему всевышний царь.

Притек сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным,
Стеной, <как> поясом узорным,
Препоясалась высота.
И над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в [тишине],
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

Сатрап смутился изумленный,
И гнев в нем душу помрачил,
И свой совет разноплеменный
Он любопытный вопросил:
„Кто сей народ? — и что их сила,
И кто им вождь, и отчего
Сердца их дерзость воспалила,
И их надежды на кого?“ —
И встал тогда сынов Аммона
Военачальник Ахиор
[И рек], [и Олоферн со] трона
[К нему] склонил и слух и взор.

## На выздоровление Лукулла

(Подражание латинскому)

Ты угасал, богач младой!
Ты слышал плач друзей печальных.
Уж смерть являлась за тобой
В дверях сеней твоих хрустальных.
Она, как втершийся с утра
Заимодавец терпеливый,
Торча в передней молчаливой,
Не трогалась с ковра.

В померкшей комнате твоей
Врачи угрюмые шептались.
Твоих нахлебников, цирцей
Смущеньем лица омрачались;
Вздыхали верные рабы
И за тебя богов молили,
Не зная в страхе, что̀ сулили
Им тайные судьбы.

А между тем наследник твой,
Как ворон к мертвечине падкой,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных куч.

Он мнил: „теперь уж у вельмож
Не стану няньчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож,
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность — трын-трава!
Жену обсчитывать не буду,
И воровать уже забуду
Казенные дрова!“

33 Но ты воскрес. Твои друзья,
В ладони хлопая, ликуют;
Рабы, как добрая семья,
Друг друга в радости целуют;
Бодрится врач, подняв очки;
Гробовый мастер взоры клонит;
А вместе с ним приказчик гонит
Наследника в толчки.

41 Так жизнь тебе возвращена
Со всею прелестью своею;
Смотри: бесценный дар она;
Умей же пользоваться ею;
Укрась ее; года летят,
Пора! Введи в свои чертоги
Жену красавицу — и боги
Ваш брак благословят.

## Пир Петра Первого

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Что пирует царь великий
В Питербурге-городке?
Отчего пальба и клики
И эскадра на реке?
Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?

Иль в отъятый край у шведа
Прибыл Брантов утлый бот,
И пошел навстречу *деда*
Всей семьей наш юный флот,
И воинственные внуки
Стали в строй пред стариком,
И раздался в честь Науки
Песен хор и пушек гром?

Годовщину ли Полтавы
Торжествует государь,
День, как жизнь своей державы
Спас от Карла русский царь?
Родила ль Екатерина?
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

33 Нет! он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его цалует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

41 Оттого-то шум и клики
В Питербурге-городке,
И пальба, и гром музыки,
И эскадра на реке;
Оттого-то в час веселый
Чаша царская полна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

* * *

Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила;
К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал.
Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея,
И улыбалась ему, тихие слезы лия.

* * *

От меня вечор Леила
Равнодушно уходила.
Я сказал: „Постой! куда?"
А она мне возразила:
„Голова твоя седа".
Я насмешнице нескромной
Отвечал: „Всему пора!
То, что было мускус темный,
Стало нынче камфора".
Но Леила неудачным
Посмеялася речам
И сказала: „Знаешь сам:
Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам".

* * *

В мои осенние досуги,
В те дни, как любо мне писать,
Вы мне советуете, други,
Роман забытый продолжать.
Вы говорите справедливо,
Что странно, даже неучтиво
Роман, не конча, перервать,
Отдав уже его в печать;
Что должно своего героя
Как бы то ни было женить,
По крайней мере уморить,
И лица прочие пристроя,
Отдав им дружеский поклон,
Из лабиринта вывесть вон.

Вы говорите: „Слава богу,
Покамест твой Онегин жив,
Роман не кончен. Понемногу
Иди вперед, не будь ленив,
Со славы, вняв ее призванью,
Сбирай оброк хвалой и бранью,
[Рисуй и франтов городских
И милых барышень своих,
Войну и бал, дворец и хату,
[Чердак] и келью, и харем]
И с нашей публики [меж тем]
Бери умеренную плату —
За книжку по пяти рублей —
Налог не тягостный, ей-ей“.

* * *

На это скажут мне с улыбкою неверной:
Смотрите, вы поэт уклонный, лицемерный,
Вы нас морочите — вам слава не нужна,
Смешной и суетной вам кажется она:
Зачем же пишете? — Я? для себя. — За что же
Печатаете вы? — Для денег. — Ах, мой боже!
Как стыдно! — Почему ж?

* * *

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал,
И кудри, плющем увитые,
Сирийским мирром умащал?

Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно бросся щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.

А ты, любимец первый мой,
Ты снова в битвах очутился...
И ныне в Рим ты возвратился
В мой домик темный и простой.
Садись под сень моих пенатов.
Давайте чаши. Не жалей
Ни вин моих, ни ароматов —
Венки готовы. Мальчик! лей.
Теперь не кстати воздержанье:
Как дикий скиф хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье
Я рад рассудок утопить.

### Подражание арабскому

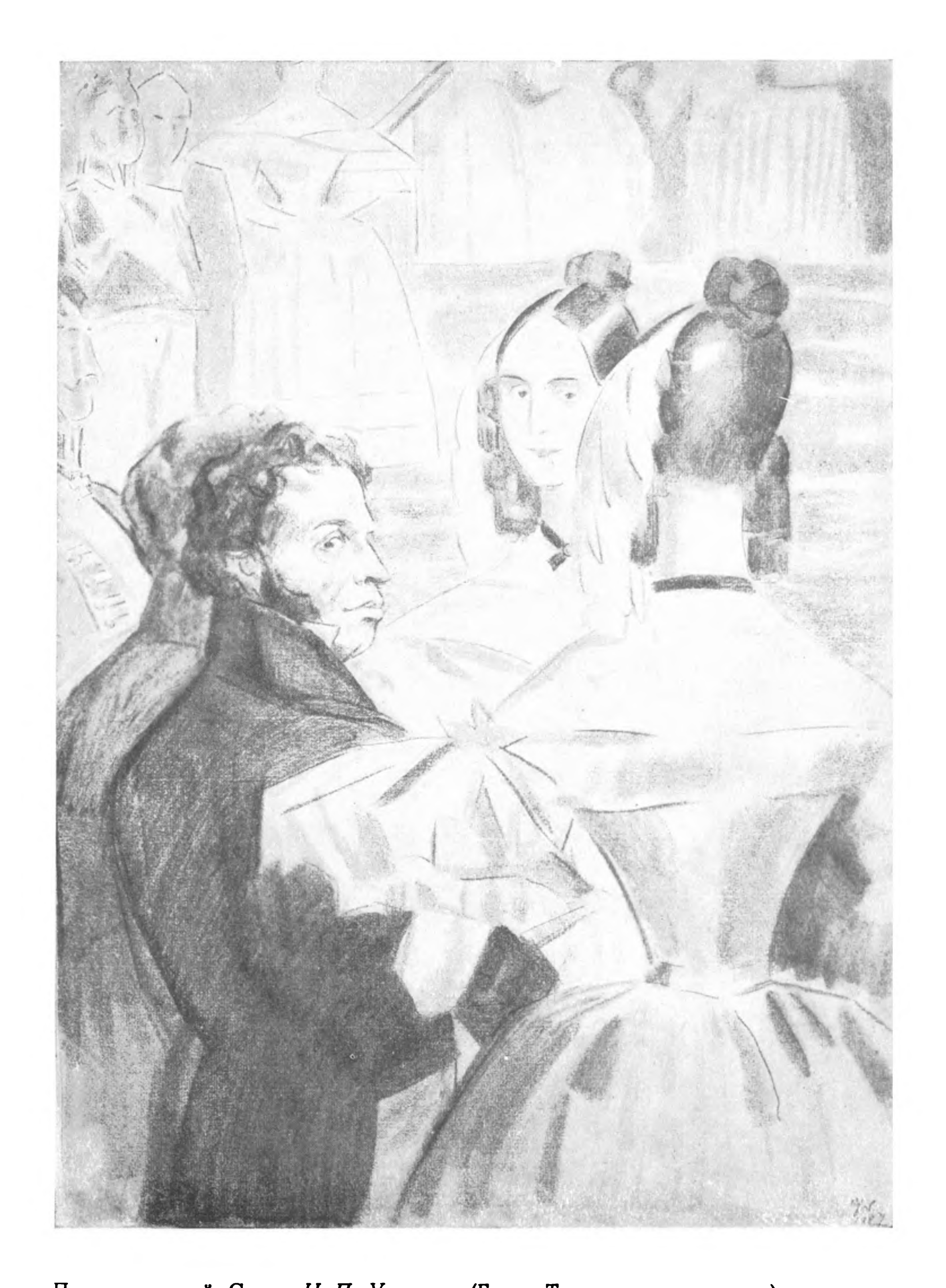
Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись, навек ты мой;
Тот же в нас огонь мятежный,
Жизнью мы живем одной.
Не боюся я насмешек —
Мы сдвоились меж собой,
Мы точь-в-точь двойной орешек
Под единой скорлупой.

* * *

Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! уж не бывать!
Прошли восторги и печали
И легковерные мечты...
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты.
[Гляжу, предаться не дерзая
Волненью грустному души, —]

* * *

Альфонс садится на коня;
Ему хозяин держит стремя.
„Сеньор, послушайтесь меня:
Пускаться в путь теперь не время,
В горах опасно, ночь близка,
Другая вента далека.
Останьтесь здесь: готов вам ужин;
В камине разложен огонь;
Постеля есть, покой вам нужен,
И к стойлу тянется ваш конь“.



Пушкин с женой. С рис. *Н. П. Ульянова* (Госуд. Третьяковская галлерея)

— Мне путешествие привычно
И днем и ночью — был бы путь, —
Он отвечает, — неприлично
Бояться мне чего-нибудь.
Я дворянин: ни чорт, ни воры
Не могут удержать меня,
Когда спешу на службу я. —
И дон Альфонс коню дал шпоры,
И едет рысью. Перед ним
Одна идет дорога в горы
Ущельем тесным и глухим.
Вот выезжает он в долину;
Какую ж видит он картину?
Кругом пустыня, дичь и голь,
А в стороне торчит глаголь,
И на глаголе том два тела
Висят. Закаркав, отлетела
Ватага черная ворон,
Лишь только к ним подъехал он.
То были трупы двух гитанов,
Двух славных братьев-атаманов,
Давно повешенных и там
Оставленных в пример ворам.
Дождями небо их мочило,
А солнце знойное сушило,
Пустынный ветер их качал,
Клевать их ворон прилетал.
И шла молва в простом народе,
Что, обрываясь по ночам,
Они до утра, на свободе
Гуляли, мстя своим врагам.

Альфонсов конь всхрапел и боком
Прошел их мимо, и потом
Понесся резво, легким скоком
С своим бесстрашным седоком.

---

[И дон Альфонс далече скачет]
[Меж]

* * *

I

На Испанию родную
Призвал мавра Юлиан.
Граф за личную обиду
Мстить решился королю.

Дочь его Родриг похитил,
Обесчестил древний род;
Вот за что отчизну предал
Раздраженный Юлиан.

Мавры хлынули потоком
На испанские брега.
Царство готфов миновалось,
И с престола пал Родриг.

Готфы пали не бесславно:
Храбро билися они,
Долго мавры сомневались,
Одолеет кто кого.

Восемь дней сраженье длилось;
Спор решен был наконец:
Был на поле битвы пойман
Конь любимый короля;

Шлем и меч его тяжелый
Были найдены в пыли.
Короля почли убитым,
И никто не пожалел.

Но Родриг в живых остался,
Бился он все восемь дней —
Он сперва хотел победы,
Там уж смерти лишь алкал.

29 И кругом свистели стрелы,
Не касаяся его,
Мимо дротики летали,
Шлема меч не рассекал.

33 Напоследок, утомившись,
Соскочил с коня Родриг,
Меч с запекшеюся кровью
От ладони отклеил,

37 Бросил об земь шлем пернатый
И блестящую броню.
И спасенный мраком ночи
С поля битвы он ушел.

II

41 От полей кровавой битвы
Удаляется Родриг;
Короля опередила
Весть о гибели его.

45 Стариков и бедных женщин
На распутьях видит он;
Все толпой бегут от мавров
К укрепленным городам.

49 Все, рыдая, молят бога
О спасеньи христиан;
Все Родрига проклинают;
И проклятья слышит он.

53 И с поникшею главою
Мимо их пройти спешит,
И не смеет даже молвить:
Помолитесь за него.

57 Наконец на берег моря
В третий день приходит он,
Видит темную пещеру
На пустынном берегу.

В той пещере он находит
Крест и заступ — а в углу
Труп отшельника и яму,
Им изрытую давно.

Тленье трупу не коснулось,
Он лежит, окостенев,
Ожидая погребенья
И молитвы христиан.

[И с мольбою об усопшем]
[Схоронил его] король,
И в пещере поселился
Над могилою его.

Он питаться стал плодами
И водою ключевой;
И себе могилу вырыл,
Как предшественник его.

Короля в уединеньи
Стал лукавый искушать,
И виденьями ночными
Краткий сон его мутить.

Он проснется с содроганьем,
Полон страха и стыда;
Упоение соблазна
Сокрушает дух его.

Хочет он молиться богу
И не может: бес ему
Шепчет в уши звуки битвы
Или страстные слова.

Он в унынии проводит
Дни и ночи недвижим,
Устремив глаза на море,
Поминая старину.

III

93 Но отшельник, чьи останки
Он усердно схоронил,
За него перед всевышним
Заступился в небесах.

97 В сновиденьи благодатном
Он явился королю,
Белой ризою одеян
И сияньем окружен.

101 И король, объятый страхом,
Ниц повергся перед ним,
И вещал ему угодник:
„Встань — и миру вновь явись.

105 Ты венец утратил царский,
Но господь руке твоей
Даст победу над врагами,
А душе твоей покой“.

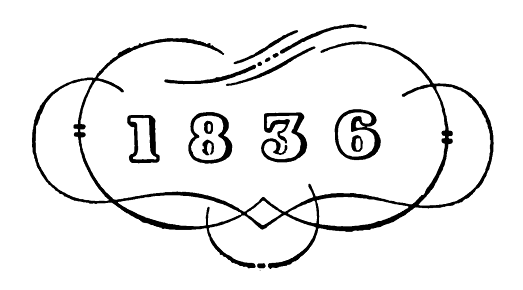
109 Пробудясь, господню волю
Сердцем он уразумел,
И, с пустынею расставшись,
В путь отправился король.

* * *

В Академии Наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что -- есть.

* * *

Что белеется на горе зеленой?
Снег ли то, али лебеди белы?
Был бы снег — он ⟨*нрзбр*⟩ бы растаял,
Были б лебеди — они б улетели.
То не снег и не лебеди белы,
А шатер Аги Асан-аги.
Он лежит в нем, весь люто изранен.
Посетили его сестра и матерь,
Его люба не могла, застыдилась.
Как ему от боли стало легче,
Приказал он своей верной любе:
„Ты не жди меня в моем белом доме,
В белом доме, ни во всем моем роде“.
Как [услышала] мужнины речи,
Запечалилась бедная Кадуна.
Она слышит, на дворе бьют кони;
Побежала Асан-агница,
Хочет броситься, бедная, в окошко,
За ней вспять две милые дочки.
„Воротись, милая мать наша,
Приехал не муж Асан-ага,
А приехал брат твой Пинтор“.
Воротилася Асан-агница,
И повисла она брату на шею —
„Братец милый, что за посрамленье!
Меня гонят от пятерых деток“.



## Д. В. Давыдову

(При посылке «Истории Пугачевского бунта»)

Тебе певцу, тебе герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир,
Но и по этой службе трудной,
И тут — о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.
Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой;
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

### Художнику

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе:
Сколько богов и богинь и героев!.. Вот Зевс громовержец,
Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов,
Тут Аполлон-идеал, там Ниобея-печаль...
Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!

* * *

(Подражание италиянскому)

Как с древа сорвался предатель-ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике,
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

### Мирская власть

Когда великое свершалось торжество,
И в муках на кресте кончалось божество,
Тогда по сторонам животворяща древа
Мария-грешница и пресвятая дева,
Стояли две жены,
В неизмеримую печаль погружены.
Но у подножия теперь креста честного,
Как будто у крыльца правителя градского,
Мы зрим — поставлено на место жен святых
С ружьем и в кивере два грозных часовых.
К чему, скажите мне, хранительная стража? —
Или распятие казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей? —
Иль мните важности придать царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ?

## Из Пиндемонте

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова,
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Всё это, видите ль, *слова, слова, слова.* *
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать, для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи,
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...

* Hamlet.

* * *

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам;
Так ноздри пыльные уткнув в песок зыбучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

* * *

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв,
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей —
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

* * *

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте коё-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный,
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут —
Такие смутные мне мысли всё наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

## *1836*

* * *

Exegi monumentum.*

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.

---

* 〈Я воздвиг памятник.〉

* * *

Была пора; наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда душой беспечные невежды
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды
И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш;
Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем лицея день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Недаром — нет! — промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вкруг человека, —
Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.

33 Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей, —
Тогда гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он.

41 Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... И племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

49 Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда [пред ним] раздался!
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!
Вы помните — как оживились вдруг
Сии сады, сии живые воды,
Где проводил он славный свой досуг.

57 И нет его — и Русь оставил он,
Взнесенну им над миром изумленным,
И на скале изгнанником забвенным,
Всему чужой, угас Наполеон.
И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлися новы тучи,
И ураган их

## *Стихотворения 1831—1836*

### На статую играющего в свайку

Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый,
Строен, легок и могуч, — тешится быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.

### На статую играющего в бабки

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро опѐрся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.

* * *

Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит,
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь, как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Exegi monumentum

1836
авг. 21.
Кам. остр.

Рукопись стихотворения „Памятник“ (Всесоюзная публичная библиотека им. Ленина)

# ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ

## 1831

### Из записки к А. О. Россет

От вас узнал я плен Варшавы,
Вы были вестницею славы
И вдохновеньем для меня.

* * *

Ну, послушайте, дети: жил-был в старые годы
Живописец, католик усердный.

* * *

Так старый хрыч, цыган Илья,
Под лад плечами шевеля,
Глядит на удаль плясовую
[Да чешет голову седую].

* * *

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

[На них основано от века,
По воле бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его].
Животворящая святыня.
Земля была <б> без них мертва,
Как                пустыня
И как алтарь без божества.

## 1832

Желал я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить
В забвеньи сладком меж друзей
Минувшей юности моей.

Я ехал в дальные края;
Искал не злата, не честей
В пыли средь копий и мечей,
Не

## 1833

* * *

В славной, в Муромской земле,
В Карачарове селе
Жил-был дьяк с своей дьячихой.
Под конец их жизни тихой
Бог отраду им послал —
Сына им он даровал.

* * *

Чу, пушки грянули! крылатых кораблей
Покрылась облаком [станица боевая],
Корабль вбежал в Неву — и вот среди зыбей
Качаясь плавает, как [лебедь молодая].

[Ликует русский флот — широкая Нева
Без ветра, в ясный день глубоко взволновалась,]
Широкая волна плеснула в острова

* * *

Колокольчики звенят,
Барабанчики гремят,
А люди-то, люди —
Ой люшеньки-люли!
А люди-то, люди
На цыганочку глядят.

А цыганочка-то пляшет,
В барабанчики-то бьет
И ширинкой алой машет,
Заливается-поет:
„Я певунья, я певица,
Ворожить я мастерица“.

* * *

В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой,
[Светит месяц], тройка мчится
По дороге столбовой.

Пой: [в часы] дорожной скуки,
На дороге в тьме ⟨ночной⟩
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.

9 Пой, ямщик! Я [молча,] жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц ясный светит хладно,
Грустен ветра дальний вой.

13 [Пой „Лучинушка, лучина.
Что же не светло горишь?“]

* * *

Толпа глухая,
Крылатой новизны любовница [слепая],
[Любимцев,] меняя каждый день,
С ступени на ступень,
Летят кумиры их, увенчанные ею.

* * *

Царь увидел пред собой
Столик с шахматной доской.
Вот на шахматную доску
Рать солдатиков из воску
Он расставил в стройный ряд.
Грозно куколки стоят,—
Подбоченясь на лошадках,
В коленкоровых перчатках,
В оперенных шишачках,
С палашами на плечах.

Тут лохань перед собою
Приказал налить водою.
Плавать он пустил по ней
Тьму прекрасных кораблей,
Барок, каторог и шлюпок
Из ореховых скорлупок.
А прозрачные ветрильца —
Будто бабочкины крильца,
А веревки

# 1834

* * *

Я возмужал [среди] печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
[Теперь утих дремотою минутной]
И отразил небесную лазурь.

[На долго ли?.. а кажется прошли
Дни мрачных бурь, дни горьких искушений].

* * *

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.

5 Когда безмолвная Варшава поднялась,
И бунтом опьянела
И смертная борьба началась
При клике: „Польска не згинела!“ —

9 Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда бежали вскачь,
И гибло знамя нашей чести.

13 Варшавы бунт
в дыме, —
Поникнул ты и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.

## 1835

* * *

Если ехать вам случится
От **** на *,
Там, где Л. струится
Меж отлогих берегов,
От большой дороги справа
[Между полем и селом]
Вам представится дубрава,
Слева сад и барской дом.
Летом, в час, как за холмами
Утопает солнца шар,
Дом [облит] его лучами,
Окна блещут, как пожар.

---

[За оградой на балконе
Деревенская семья]

---

[И спеша дорогой <?> мимо] развлечен,
Путник смотрит невидимо
На семейство, на балкон.

* * *

О бедность! Затвердил я наконец
Урок твой горький! Чем я заслужил
Твое гоненье, властелин враждебный,
Довольства враг, суровый сна мутитель?
Что делал я, когда я был богат,
О том упоминать я не намерен:
В молчании добро должно твориться,
Но нечего об этом толковать.
Здесь пищу я найду для дум моих,
Я чувствую, что не совсем погиб
Я с участью моей —

* * *

Царей потомок Меценат,
Мой покровитель стародавный,
Иные колесницу мчат
В ристалище под пылью славной
И, заповеданной ограды
Касаясь жгучим колесом,
Победной ждут себе награды
И делят [с божеством.]

Другие на свою главу
Сбирают титла знамениты,
Непостоянные квириты
Им предают молву.

* * *

Осердился Георгий П<етрович>,
Засверкали черные очи,
Нахмурились черные брови —
Янко Вуич грамоту пишет
[Георгию], своему побратиму:
„Берегися, Черный Георгий,
Над тобой подымается туча —
<*Нрзбр*> враг извести тебя хочет,
[Недруг] хитрый, Милош Обренович —
[Он в Хотин подослал]
[Янка младшего]

* * *

Одни стихи ему читала,
И щеки рделися у ней,
И тихо грудь ее дышала:
„Приди, жених души моей“,

* * *

В [младенчестве моем бессмысленно лукавом]
Я встретил старика с плешивой головой,
С очами быстрыми, зерцалом мысли зыбкой,
С устами, сжатыми наморщенной улыбкой.

* * *

Получит то, чего он стоит,
Иль стоит то, что получил

---

Как редко [плату получает]
Великий добрый человек
в кой-то век

---

За все заботы и досады
(И то дивиться всякий рад!)
Берет достойные награды
Или достоин сих наград.

## 1836

* * *

От западных морей до самых врат восточных
Не многие умы от благ прямых и прочных
Зло могут отличить... [рассудок] редко нам
[Внушает]

---

„Пошли мне долгу жизнь и многие года!“
Зевеса вот о чем и всюду и всегда
Привыкли вы молить — но сколькими бедами
Исполнен долог век! Во-первых, [как] рубцами
Лицо [морщинами покроется] — оно
превращено
[Мартышка старая
Которая в лесах Табрации]
Кривляясь [чешется]

* * *

Ценитель умственных творений исполинских,
Друг бардов английских, любовник муз латинских,
Ты к мощной древности опять меня манишь.
[Ты снова]          велишь,
Простясь   с мечтой и с    идеалом,
Я приготовился бороться с Ювеналом,
Чьи строгие стихи, неопытный поэт,
[Переложить]   я было дал обет;
Но, развернув его суровые творенья,
Не мог я одолеть пугливого смущенья...
[Стихи бесстыдные] ⟨*нрзбр*⟩ торчат,
В нем звуки странною гармонией трещат

* * *

Забыв и рощу и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брызжет воду,
И песнью тешится живой.

## 1830-е годы

* * *

О, нет, мне жизнь не надоела,
Я жить люблю, я жить хочу.
Душа не вовсе охладела,
Утратя молодость мою.
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья,
Для чувств   всего.

* * *

„Не видала ль, девица,
Коня моего?“
— Я видала, видела
Коня твоего.
„Куда, красна <?> девица,
Мой конь пробежал?“
— Твой конь пробежал
На Дунай реку —

———

[Бежал твой конь,
Тебя проклинал]

* * *

Друг сердечный мне намедни говорил:
„По тебе я, красна девица, изныл —
На жену мою взглянуть я не хочу —
А я всё-таки

* * *

[Конечно,] презирать не трудно
Отдельно каждого глупца,
Сердиться также безрассудно
И на отдельного срамца.

———

Их эпиграммы площадные
Из Бьеврианы занятые

———

Но в кучке те же
[Нам кажутся]

———

Но          что чудно.
Всех вместе презирать и трудно.

# КОЛЛЕКТИВНОЕ

## 1833

* * *

Надо помянуть, непременно помянуть надо
Трех Матрен
Да Луку с Петром;
Помянуть надо и тех, которые, например:
Бывшего поэта Панцербитера,
Нашего прихода честного пресвитера,
Купца Риттера,
Резанова, славного русского кондитера,
Всех православных христиан города Санкт-Питера,
Да покойника Юпитера.
Надо помянуть, непременно надо:
Московского поэта Вельяшева,
Его превосходительство генерала Ивашева,
И двоюродного братца нашего и вашего.
Нашего Вальтера Скотта Масальского,
Дона Мигуэля, короля Португальского,
И господина городничего города Масальского.

Надо помянуть, помянуть надо, непременно надо:
Покойной Беседы члена Кикина,
Российского дворянина Боборыкина
И известного в Банке члена Аникина,
Надо помянуть и тех, которые, например, между прочими:
Раба божия Петрищева,

Известного автора Радищева,
Русского лексикографа Татищева,
Сенатора с жилою на лбу Ртищева,
Какого-то барина Станищева,
Пушкина, не Мусина, не Онегинского, а Бобрищева,
Ярославского актера Канищева,
Нашего славного поэта шурина Павлищева,
Сенатора Павла Ивановича Кутузова-Голенищева
И, ради Христа, всякого доброго нищего.

Надо еще помянуть, непременно надо:
Бывшего французского короля Дисвитского,
Бывшего варшавского коменданта Левицкого
И полковника Квитского.
Американца Монрое,
Виконта Дарлевкура и его Ипсибое
И всех спасшихся от потопа при Ное.
Музыкального Беттовена,
И таможенного Овена,
Александра Михайловича Гедеонова,
Всех членов старшего и младшего дома Бурбонова,
И супруга Берийской неизвестного, оного.
Камер-юнкера Загряжского,
Уездного заседателя города Ряжского
И отцов наших, державшихся вина фряжского.
Славного лирика Ломоносова,
Московского статистика Андросова
И Петра Андреича, князя Вяземского курносого.
Оленина Стереотипа
И Вигеля, Филиппова сына Филиппа.
Бывшего камергера Приклонского,
Г. Шафонского,
Карманный грош кн. Гр. Волконского
И уж Александра Македонского,
Этого не обойдешь, не объедешь, надо
Помянуть... Покойника Винценгероде,
Саксонского министра Люцероде,
Графиню вицеканцлершу Нессельроде,
Покойного скрипача Роде,
Хвостова в Анакреонтическом роде;
Уж как ты хочешь, надо помянуть
Графа нашего приятеля Велегорского
(Что не любит вина горского)
А по нашему Велеурского,
Покойного пресвитера Самбурского,

Дершау, полицмейстера С.-Петербургского,
Почтмейстера города Васильсурского;
Надо помянуть — парикмахера Эме,
Ресторатора Дюме,
Ланского, что губернатором в Костроме,
Доктора Шулера, умершего в чуме,
И полковника Бартоломе.
Повара али историографа Миллера,
Немецкого поэта Шиллера
И Пинети, славного ташеншпилера.
Надо помянуть (особенно тебе) Арндта,
Да англичанина Warnta.
Известного механика Мокдуано,
Москетти, московского сопрано,
И всех тех, которые напиваются рано.
Натуралиста Кювье
И суконных фабрикантов города Лувье,
Французского языка учителя Жиля,
Отставного английского министра Пиля,
И живописца-аматера Киля.
Надобно помянуть:
Жуковского балладника
И Марса, питерского помадника.
Надо помянуть:
Господ: Чулкова,
Носкова,
Башмакова,
Сапожкова,
Да при них и генерала Пяткина
И князя Ростовского-Касаткина.

# 1836

* * *

Пой в восторге русский хор,
Вышла ковая новинка.
Веселися, Русь! наш Глинка —
Уж не Глинка, а фарфор!

За прекрасную новинку
Славить будет глас молвы
Нашего Орфэя Глинку
От Неглинной до Невы.

В честь толь славныя новинки
Грянь труба и барабан,
Выпьем за здоровье Глинки
Мы глинтвеину стакан.

Слушая сию новинку,
Зависть, злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не может в грязь.

# DUBIA

## 1834

### Надпись к воротам Екатерингофа

Хвостовым некогда воспетая дыра!
Провозглашаешь ты природы русской скупость,
Самодержавие Петра
И Милорадовича глупость.

* * *

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба, на земле,
Жил старик в одном селе.

* * *

К Смирдину как ни зайдешь —
    Ничего не купишь:
Иль Сенковского найдешь,
Иль в Булгарина наступишь.

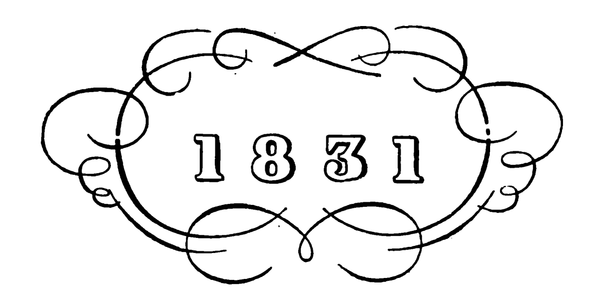
## Неизвестные годы

* * *

  Что-то грезит Баратынский,
Что-то думает Плетнев?

СКАЗКИ

*Подготовка текста и комментарии*
*М. К. Азадовского*




## Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
„Кабы я была царица,—
Говорит одна девица,—
То сама на весь бы мир
Приготовила я пир“.
„Кабы я была царица,—
Говорит ее сестрица,—
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна“.
„Кабы я была царица,—
Третья молвила сестрица,—
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря“.

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во все время разговора
Он стоял позадь забора;

Речь последней по всему
Полюбилася ему.
„Здравствуй, красная девица,—
Говорит он,— будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха“.

В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь не долго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха —
И завидуют оне
Государевой жене.
А царица молодая,
Обещанье выполняя,
С той же ночи понесла.

В те-поры война была.
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра-коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем, как он далеко
Бьется долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,

И царица над ребенком,
Как орлица над орленком;
Шлет с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести ее хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
„Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышенка, не лягушку,
А неведому зверюшку“.

Как услышал царь-отец,
Что донес ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
„Ждать царева возвращенья
Для законного решенья“.

Едет с грамотой гонец,
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Обобрать его велят;
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другую.
И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
„Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод“.
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе

И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю —
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в окиян —
Так велел-де царь Салтан.

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.
День прошел, царица вопит...
А дитя волну торопит:
„Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли —
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!“
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько,
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:

„Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?“ молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле;
Море синее кругом,
Дуб зеленый над холмом.
Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам однако нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелковый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,
Стрелкой легкой завострил,
И пошел на край долины
У моря искать дичины.

К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон...
Видно нà море не тихо;
Смотрит — видит дело лихо:
Бьется лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет,
Воду вкруг мутит и хлещет...
Тот уж когти распустил,
Клев кровавый навострил...
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела —
Коршун в море кровь пролил,
Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет
И не птичьим криком стонет,
Лебедь около плывет,
Злого коршуна клюет,
Гибель близкую торопит,
Бьет крылом и в море топит —
И царевичу потом

Молвит русским языком:
„Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе — всё не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,
Девицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Век тебя я не забуду:
Ты найдешь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись".

Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грезы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. „То ли будет? —
Говорит он,— вижу я:
Лебедь тешится моя".
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит;
Хор церковный бога хвалит;

В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают
И царевича венчают
Княжей шапкой, и главой
Возглашают над собой:
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И нарекся: князь Гвидон.

Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой.
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их он кормит и поит
И ответ держать велит:
„Чем вы, гости, торг ведете,
И куда теперь плывете?“
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Чернобурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана...“.
Князь им вымолвил тогда:
„Добрый путь вам, господа,
По морю по окияну,

К славному царю Салтану;
От меня ему поклон".
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?"
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
„Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца".
Лебедь князю: „Вот в чем горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблем?
Будь же, князь, ты комаром".
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала,
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит,
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости —
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.

Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце
С грустной думой на лице;
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят
И в глаза ему глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
„Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?“
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон“.
Царь Салтан дивится чуду;
Молвит он: „Коль жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу“.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
„Уж диковинка, ну право, —
Подмигнув другим лукаво,
Повариха говорит, —
Город у моря стоит!

Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поет
И орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут".
Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится —
И впился комар как раз
Тетке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара.
„Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!.." А он в окошко
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?"
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
„Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное завесть
Мне б хотелось. Где-то есть
Ель в лесу, под елью белка;
Диво, право, не безделка —
Белка песенки поет,
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;

Но, быть может, люди врут".
Князю лебедь отвечает:
„Свет о белке правду бает;
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу
Оказать тебе я в дружбу".
С ободренною душой
Князь пошел себе домой;
Лишь ступил на двор широкой —
Что ж? под елкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет,
И с присвисточкой поет
При честном, при всем народе:
*Во саду ли, в огороде.*
Изумился князь Гвидон.
„Ну, спасибо, — молвил он, —
Ай да лебедь — дай ей боже,
Что и мне, веселье то же".
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,

Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
„Чем вы, гости, торг ведете,
И куда теперь плывете?“
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок —
И лежит нам путь далек:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана...“
Говорит им князь тогда:
„Добрый путь вам, господа,
По морю по окияну
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон
Шлет царю-де свой поклон“.

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь — а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Молит князь: душа-де просит,
Так и тянет и уносит...
Вот опять она его
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь оборотился,
Полетел и опустился
Между моря и небес
На корабль — и в щель залез.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна;
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,

И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце
С грустной думой на лице.
А ткачиха с Бабарихой,
Да с кривою поварихой,
Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
„Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо,
И какое в свете чудо?"
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами, да садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет,
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету,
Да пускают в ход по свету;

Девки сыплют изумруд
В кладовые, да подспуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нём князь Гвидон,
Он прислал тебе поклон".
Царь Салтан дивится чуду:
„Если только жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу".
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
Усмехнувшись исподтиха,
Говорит царю ткачиха:
„Что тут дивного? ну, вот!
Белка камушки грызет,
Мечет золото, и в груды
Загребает изумруды;
Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли, говоришь.
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге —
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор —
С ними дядька Черномор.
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!"
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан дивится,
А Гвидон-то злится, злится...

„Сказка о царе Салтане". С акварели *С. В. Малютина*

Зажужжал он и как раз
Тетке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:
„Ай!“ и тут же окривела;
Все кричат: „Лови, лови,
Да дави ее, дави...
Вот ужо! постой немножко,
Погоди“... А князь в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море прилетел!

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?“
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
„Грусть-тоска меня съедает —
Диво б дивное хотел
Перенесть я в мой удел“.
„А какое ж это диво?“ —
„Где-то вздуется бурливо
Окиян, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор“.
Князю лебедь отвечает:
„Вот что, князь, тебя смущает?
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морские

Мне ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай.
В гости братцев поджидай".

Князь пошел, забывши горе,
Сел на башню, и на море
Стал глядеть он; море вдруг
Всколыхалося вокруг,
Расплескалось в шумном беге,
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И блистая сединами
Дядька впереди идет
И ко граду их ведет.
С башни князь Гвидон сбегает,
Дорогих гостей встречает;
Второпях народ бежит;
Дядька князю говорит:
„Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.
Мы отныне ежеденно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских.
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море;
Тяжек воздух нам земли".
Все потом домой ушли.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,

Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
„Чем вы, гости, торг ведете?
И куда теперь плывете?“
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет,
Торговали мы булатом,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далек,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана“.
Говорит им князь тогда:
„Добрый путь вам, господа,
По морю по окияну
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон
Шлет-де свой царю поклон“.

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь, а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит...
Так и тянет и уносит...
И опять она его
Вмиг обрызгала всего.
Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажжужал;
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит,
Мимо острова Буяна,

В царство славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят —
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
„Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?“
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
Каждый день идет там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге —
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит

И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить —
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон".
Царь Салтан дивится чуду:
„Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу".
Повариха и ткачиха
Ни гугу — но Бабариха,
Усмехнувшись, говорит:
„Кто нас этим удивит?
Люди из моря выходят
И себе дозором бродят!
Правду ль бают или лгут,
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идет молва правдива:
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво".
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан дивится —
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей.
Он над ней жужжит, кружится —

Прямо на нос к ней садится,
Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волдырь.
И опять пошла тревога:
„Помогите, ради бога!
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави...
Вот ужо! пожди немножко,
Погоди!..“ А шмель в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?“
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
„Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Не женат лишь я хожу“. —
„А кого же на примете
Ты имеешь?“ — „Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает —
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?“
Князь со страхом ждет ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:

„Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь,
Да за пояс не заткнешь.
Услужу тебе советом —
Слушай: обо всем об этом
Пораздумай ты путем,
Не раскаяться б потом“.
Князь пред нею стал божиться,
Что пора ему жениться;
Что об этом обо всем
Передумал он путем;
Что готов душою страстной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель,
Хоть за тридевять земель.
Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: „Зачем далеко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта — я“.
Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Князь царевну обнимает,
К белой груди прижимает
И ведет ее скорей
К милой матушке своей.
Князь ей в ноги, умоляя:
„Государыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе.

Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:
Ты детей благослови
Жить в совете и любви".
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слезы льет и говорит:
„Бог вас, дети, наградит".
Князь недолго собирался,
На царевне обвенчался;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Он их кормит и поит
И ответ держать велит:
„Чем вы, гости, торг ведете,
И куда теперь плывете?"
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет,
Торговали мы не даром
Неуказанным товаром;
А лежит нам путь далек:
Во-свояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана".
Князь им вымолвил тогда:
„Добрый путь вам, господа,
По морю по окияну,
К славному царю Салтану;
Да напомните ему,

Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе не собрался —
Шлю ему я свой поклон".
Гости в путь, а князь Гвидон
Дома на сей раз остался
И с женою не расстался.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит,
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И знакомая страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости.
Гости видят: во дворце
Царь сидит в своем венце,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
„Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?"
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка в нем живет ручная,
Да чудесница какая!

Белка песенки поет,
Да орешки всё грызет;
А орешки не простые,
Скорлупы-то золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там еще другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны как на подбор —
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней
А у князя жонка есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит,
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался".

Тут уж царь не утерпел,
Снарядить он флот велел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят царя пустить
Чудный остров навестить.
Но Салтан им не внимает

И как раз их унимает:
„Что я? царь или дитя? —
Говорит он не шутя, —
Нынче ж еду!“ Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.

Под окном Гвидон сидит,
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва, едва трепещет,
И в лазоревой дали
Показались корабли:
По равнинам окияна
Едет флот царя Салтана.
Князь Гвидон тогда вскочил,
Громогласно возопил:
„Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда“.
Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:
Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются оне
Незнакомой стороне.
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили;
К морю сам идет Гвидон;
Там царя встречает он
С поварихой и ткачихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
В город он повел царя,
Ничего не говоря.

Все теперь идут в палаты:
У ворот блистают латы,
И стоят в глазах царя
Тридцать три богатыря,

Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь вступил на двор широкой:
Там под елкою высокой
Белка песенку поет,
Золотой орех грызет,
Изумрудец вынимает
И в мешочек опускает;
И засеян двор большой
Золотою скорлупой.
Гости дале — торопливо
Смотрят — что ж? княгиня — диво:
Под косой луна блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведет.
Царь глядит — и узнает...
В нем взыграло ретивое!
„Что я вижу? что такое?
Как!“ и дух в нем занялся...
Царь слезами залился,
Обнимает он царицу
И сынка и молодицу,
И садятся все за стол;
И веселый пир пошел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Разбежались по углам;
Их нашли насилу там.
Тут во всем они признались,
Повинились, разрыдались;
Царь для радости такой
Отпустил всех трех домой.
День прошел — царя Салтана
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мед, пиво пил —
И усы лишь обмочил.

# Сказка о попе и о работнике его Балде

Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
„Что, батька, так рано поднялся,
Чего ты взыскался?“
Поп ему в ответ: „Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?“
Балда говорит: „Буду я служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу“.
Призадумался поп
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь розь.
Да понадеялся он на русский Авось.
Поп говорит Балде: „Ладно.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на моем подворье,
Окажи свое усердие и проворье“.
Живет Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых;
До светла всё у него пляшет,
Лошадь запряжет, полосу вспашет,
Печь затопит, всё заготовит, закупит,
Яичко испечет да сам и облупит.
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попенок зовет его тятей;
Кашу заварит, няньчится с дитятей.

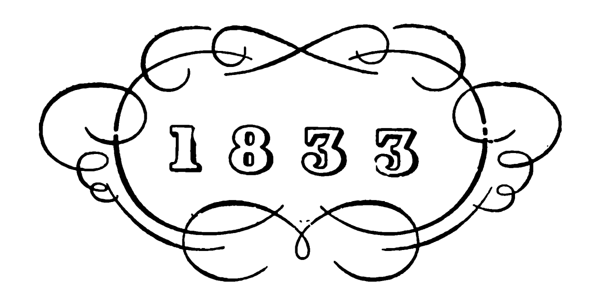
Только поп один Балду не любит,
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько.
Время идет, и срок уж близенько.
Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит:
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признается:
„Так и так: что делать остается?“
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив.
Попадья говорит: „Знаю средство,
Как удалить от нас такое бедство:
Закажи Балде службу, чтоб стало ему не в мочь,
А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь.
Тем ты и лоб от расправы избавишь,
И Балду-то без расплаты отправишь“.
Стало на сердце попа веселее,
Начал он глядеть на Балду посмелее.
Вот он кричит: „Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались черти
Мне оброк по самой моей смерти.
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки за три года.
Как наешься ты своей полбы,
Собери-ка с чертей оброк мне полный“.
Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошел, сел у берега моря;
Там он стал веревку крутить
Да конец ее в море мочить.
Вот из моря вылез старый Бес:
„Зачем ты, Балда, к нам залез?“ —
„Да вот веревкой хочу море мòрщить,
Да вас, проклятое племя, корчить“.
Беса старого взяла тут унылость.
„Скажи, за что такая немилость?“
„Как за что? Вы не плотите оброка,
Не помните положенного срока,
Вот ужо будет нам потеха,
Вам, собакам, великая помеха“. —

„Балдушка, погоди ты морщить море,
Оброк сполна ты получишь вскоре.
Погоди; вышлю к тебе внука".
Балда мыслит: „Этого провести не штука!"
Вынырнул подосланный бесенок,
Замяукал он как голодный котенок:
„Здравствуй, Балда-мужичок;
Какой тебе надобен оброк?
Об оброке век мы не слыхали,
Не было чертям такой печали.
Ну, так и быть — возьми, да с уговору,
С общего нашего приговору,
Чтобы впредь не было никому горя:
Кто скорее из нас обежит около моря
Тот и бери себе полный оброк,
Между тем там приготовят мешок".
Засмеялся Балда лукаво:
„Что ты это выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!
Подожди-ка моего меньшого брата".
Пошел Балда в ближний лесок,
Поймал двух зайков, да в мешок.
К морю опять он приходит,
У моря бесенка находит.
Держит Балда за уши одного зайку:
„Попляши-тка ты под нашу балалайку;
Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек —
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка".
Пустились бесенок и зайка:
Бесенок по берегу морскому,
А зайка в лесок до дому.
Вот, море кругом обежавши,
Высунув язык, мордку поднявши,
Прибежал бесенок, задыхаясь,
Весь мокрешенек, лапкой утираясь,

Мысля: дело с Балдою сладит.
Глядь — а уж Балда братца гладит,
Приговаривая: „Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! отдохни, родимый“.
Бесенок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел,
На братца поглядывает боком.
„Погоди, — говорит, — схожу за оброком“.
Пошел к деду, говорит: „Беда!
Обогнал меня меньшой Балда!“
Старый Бес стал тут думать думу.
А Балда наделал такого шуму,
Что всё море смутилось
И волнами так и расходилось.
Вылез бесенок. „Полно, мужичок,
Вышлем тебе весь оброк —
Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любую мету —
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.
Что ж? боишься вывихнуть ручки?
Чего ты ждешь?“ — „Да жду вон этой тучки;
Зашвырну туда твою палку,
Да и начну с вами, чертями, свалку“.
Испугался бесенок, да к деду —
Рассказывать про Балдову победу.
А Балда над морем опять шумит
Да чертям веревкой грозит.
Вылез опять бесенок: „Что ты хлопочешь?
Будет тебе оброк, коли захочешь...“
„Нет, — говорит Балда, —
Теперь моя череда.
Условия сам назначу,
Задам тебе, враженок, задачу.
Посмотрим, какова у тебя сила.
Видишь там сивая кобыла?
Кобылу подыми-тка ты,
Да неси ее полверсты;
Снесешь кобылу, оброк уж твой;
Не снесешь кобылы, ан будет он мой“.

„Сказка о попе и работнике его Балде". С рис. палехского мастера *Д. Н. Буторина*

Бедненькой бес
Под кобылу подлез,
Понатужился,
Понапружился,
Приподнял кобылу, два шага шагнул,
На третьем упал, ножки протянул.
А Балда ему: „Глупый ты бес,
Куда ж ты за нами полез?
И руками-то снести не смог,
А я, смотри, снесу промеж ног“.
Сел Балда на кобылку верхом,
Да версту проскакал, так что пыль столбом.
Испугался бесенок и к деду
Пошел рассказывать про такую победу.
Черти стали в кружок,
Делать нечего — собрали полный оброк
Да на Балду взвалили мешок.
Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится.
Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал.
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
„Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной“.




## Сказка о рыбаке и рыбке

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод,
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод,
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, золотою.
Как взмолится золотая рыбка,
Голосом молвит человечьим:
„Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогòй за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь".
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
„Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе".

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо:
„Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, непростую;
По нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась, чем только пожелаю.
Не посмел я взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море“.
Старика старуха забранила:
„Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем раскололось“.

Вот пошел он к синему морю:
Видит: море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:
„Чего тебе надобно, старче?“
Ей с поклоном старик отвечает:
„Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось“.
Отвечает золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто“.

Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
„Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ли корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу“.

Вот пошел он к синему морю
(Помутилося синее море),
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
„Чего тебе надобно, старче?“
Ей старик с поклоном отвечает:
„Смилуйся, государыня рыбка:
Еще пуще старуха бранится,
Не дает старику мне покою:
Избу просит сварливая баба“.
Отвечает золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет“.

Пошел он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светелкой,
С кирпичною, беленою трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чем свет стоит мужа ругает:
„Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой“.

Пошел старик к синему морю
(Неспокойно синее море);
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
„Чего тебе надобно, старче?“
Ей с поклоном старик отвечает:
„Смилуйся, государыня рыбка:
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не дает старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой“.
Отвечает золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себе с богом“.

Воротился старик к старухе,
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха;
В дорогой собольей душегрейке,
Парчевая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьет их, за чупрун таскает.
Говорит старик своей старухе:
„Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна“.
На него прикрикнула старуха,
На конюшне служить его послала.

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает:
„Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей“.
Испугался старик, взмолился:
„Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство“.
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.
„Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? —
Ступай к морю, говорят тебе честью;
Не пойдешь, поведут поневоле“.

Старичок отправился к морю
(Почернело синее море);
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
„Чего тебе надобно, старче?“
Ей с поклоном старик отвечает:

„Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей“.
Отвечает золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! будет старуха царицей!“

Старичок к старухе воротился,
Что ж? пред ним царские палаты,
В палатах видит свою старуху.
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, испугался;
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: „Здравствуй, грозная царица!
Ну теперь твоя душенька довольна“.
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика в зашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила;
А народ-то над ним насмеялся:
„Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!“

Вот неделя, другая проходит.
Еще пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем посылает.
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
„Воротись, поклонися рыбке,
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,

Чтобы жить мне в окияне море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках“.

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
„Чего тебе надобно, старче?“
Ей старик с поклоном отвечает:
„Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтоб жить ей в окияне море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках“.
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

# Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Царь с царицею простился,
В путь-дорогу снарядился,
И царица у окна
Села ждать его одна.
Ждет-пождет с утра до ночи,
Смотрит в поле, инда очи
Разболелись, глядючи
С белой зори до ночи.
Не видать милого друга!
Только видит: вьется вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белешенька земля.
Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.
Вот в сочельник в самый, в ночь,
Бог дает царице дочь.
Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный,
Издалеча наконец
Воротился царь-отец.
На него она взглянула,
Тяжелешенько вздохнула,
Восхищенья не снесла,
И к обедне умерла.

Долго царь был неутешен,
Но как быть? и он был грешен;
Год прошел как сон пустой,
Царь женился на другой.
Правду молвить, молодица
Ужь и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей в приданое дано

Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила,
И красуясь говорила:
„Свет мой, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?“
И ей зеркальце в ответ:
„Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее“.
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертеться подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь.

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась — и расцвела.
Белолица, черноброва,
Нрава кроткого такого.
И жених сыскался ей,
Королевич Елисей.
Сват приехал, царь дал слово,
А приданое готово:
Семь торговых городов,
Да сто сорок теремов.

На девичник собираясь,
Вот царица, наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
„Я ль, скажи мне, всех милее,

Всех румяней и белее?“
Что же зеркальце в ответ?
„Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее“.
Как царица отпрыгнет,
Да как ручку замахнет,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!..
„Ах ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне на зло.
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь-то успокою.
Вишь какая подросла!
И не диво, что бела:
Мать беременна сидела,
Да на снег лишь и глядела!
Но скажи: как можно ей
Быть во всем меня милей?
Признавайся: всех я краше.
Обойди всё царство наше,
Хоть весь мир; мне ровной нет.
Так ли?“ Зеркальце в ответ:
„А царевна всё ж милее,
Всё ж румяней и белее“.
Делать нечего. Она,
Черной зависти полна,
Бросив зеркальце под лавку,
Позвала к себе Чернавку,
И наказывает ей,
Сенной девушке своей,
Весть царевну в глушь лесную
И, связав ее, живую
Под сосной оставить там
На съедение волкам.

Чорт ли сладит с бабой гневной?
Спорить нечего. С царевной
Вот Чернавка в лес пошла,
И в такую даль свела,

Что царевна догадалась,
И до смерти испугалась,
И взмолилась: „Жизнь моя!
В чем, скажи, виновна я?
Не губи меня, девица!
А как буду я царица,
Я пожалую тебя“.
Та, в душе ее любя,
Не убила, не связала,
Отпустила и сказала:
„Не кручинься, бог с тобой“.
А сама пришла домой.
„Что? — сказала ей царица, —
Где красавица-девица?“ —
„Там, в лесу, стоит одна, —
Отвечает ей она, —
Крепко связаны ей локти;
Попадется зверю в когти,
Меньше будет ей терпеть,
Легче будет умереть“.

И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
Тужит бедный царь по ней.
Королевич Елисей,
Помолясь усердно богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей-душой,
За невестой молодой.

Но невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем всё шла да шла,
И на терем набрела.
Ей навстречу пес, залая,
Прибежал и смолк, играя;
В ворота вошла она,
На подворье тишина.
Пес бежит за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,

Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо;
Дверь тихонько отворилась,
И царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.
Видит девица, что тут
Люди добрые живут;
Знать, не будет ей обидно.
Никого меж тем не видно.
Дом царевна обошла,
Всё порядком убрала,
Засветила богу свечку,
Затопила жарко печку,
На палати взобралась
И тихонько улеглась.

Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей.
Старший молвил: „Что за диво!
Всё так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал,
Да хозяев поджидал.
Кто же? выдь и покажися,
С нами честно подружися:
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек.
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названый.
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица“.

И царевна к ним сошла,
Честь хозяям отдала,

В пояс низко поклонилась;
Закрасневшись, извинилась,
Что-де в гости к ним зашла,
Хоть звана и не была.
Вмиг по речи те спознали,
Что царевну принимали;
Усадили в уголок,
Подносили пирожок,
Рюмку полну наливали,
На подносе подавали.
От зеленого вина
Отрекалася она;
Пирожок лишь разломила
Да кусочек прикусила,
И с дороги отдыхать
Отпросилась на кровать.
Отвели они девицу
Вверх во светлую светлицу,
И оставили одну
Отходящую ко сну.

День за днем идет, мелькая,
А царевна молодая
Всё в лесу; не скучно ей
У семи богатырей.
Перед утренней зарею
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сарачина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса.
А хозяюшкой она
В терему меж тем одна
Приберет и приготовит.
Им она не прекословит,

Неперечат ей они.
Так идут за днями дни.

Братья милую девицу
Полюбили. К ней в светлицу
Раз, лишь только рассвело,
Всех их семеро вошло.
Старший молвил ей: „Девица,
Знаешь: всем ты нам сестрица,
Всех нас семеро, тебя
Все мы любим, за себя
Взять тебя мы все бы ради,
Да нельзя, так, бога ради,
Помири нас как-нибудь:
Одному женою будь,
Прочим ласковой сестрою.
Что ж качаешь головою?
Аль отказываешь нам?
Аль товар не по купцам?“

„Ой вы, молодцы честные,
Братцы вы мои родные, —
Им царевна говорит, —
Коли лгу, пусть бог велит
Не сойти живой мне с места.
Как мне быть? ведь я невеста.
Для меня вы все равны,
Все удалы, все умны,
Всех я вас люблю сердечно;
Но другому я навечно
Отдана. Мне всех милей
Королевич Елисей“.

Братья молча постояли,
Да в затылке почесали.
„Спрос не грех. Прости ты нас, —
Старший молвил поклонясь, —
Коли так, не заикнуся
Уж о том“. — „Я не сержуся, —
Тихо молвила она, —

И отказ мой не вина“.
Женихи ей поклонились,
Потихоньку удалились,
И согласно все опять
Стали жить да поживать.

Между тем царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить ее;
А на зеркальце свое
Долго дулась и сердилась;
Наконец об нем хватилась
И пошла за ним и, сев
Перед ним, забыла гнев,
Красоваться снова стала
И с улыбкою сказала:
„Здравствуй, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?“
И ей зеркальце в ответ:
„Ты прекрасна, спору нет;
Но живет без всякой славы,
Средь зеленыя дубравы,
У семи богатырей
Та, что всё ж тебя милей“.
И царица налетела
На Чернавку: „Как ты смела
Обмануть меня? и в чем!..“
Та призналася во всем:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.

Раз царевна молодая,
Милых братьев поджидая,
Пряла, сидя под окном.
Вдруг сердито под крыльцом
Пес залаял, и девица

Видит: нищая черница
Ходит по двору, клюкой
Отгоняя пса. „Постой,
Бабушка, постой немножко, —
Ей кричит она в окошко, —
Пригрожу сама я псу,
И кой-что тебе снесу“.
Отвечает ей черница:
„Ох ты, дитятко девица!
Пес проклятый одолел,
Чуть до смерти не заел.
Посмотри, как он хлопочет!
Выдь, ко мне“. — Царевна хочет
Выйти к ней и хлеб взяла,
Но с крылечка лишь сошла,
Пес ей под ноги — и лает,
И к старухе не пускает;
Лишь пойдет старуха к ней,
Он, лесного зверя злей,
На старуху. „Что за чудо?
Видно, выспался он худо, —
Ей царевна говорит. —
На ж, лови!“ и хлеб летит.
Старушонка хлеб поймала;
„Благодарствую, — сказала, —
Бог тебя благослови;
Вот за то тебе, лови!“
И к царевне наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко летит...
Пес как прыгнет, завизжит...
Но царевна в обе руки
Хвать — поймала. „Ради скуки
Кушай яблочко, мой свет.
Благодарствуй за обед“,
Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала.
И с царевной на крыльцо
Пес бежит и ей в лицо
Жалко смотрит, грозно воет,

„Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". С рис. палехского мастера *И. М. Баканова*

Словно сердце песье ноет,
Словно хочет ей сказать:
„Брось!“ Она его ласкать,
Треплет нежною рукою:
„Что, Соколко, что с тобою?
Ляг!“ и в комнату вошла,
Дверь тихонько заперла,
Под окно за пряжу села
Ждать хозяев, а глядела
Всё на яблоко. Оно
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно, золотисто,
Будто медом налилось!
Видны семечки насквозь.
Подождать она хотела
До обеда, не стерпела,
В руки яблочко взяла,
К алым губкам поднесла,
Потихоньку прокусила,
И кусочек проглотила...
Вдруг она, моя душа,
Пошатнулась не дыша,
Белы руки опустила,
Плод румяный уронила,
Закатилися глаза,
И она под образа
Головой на лавку пала
И тиха, недвижна стала...

Братья в ту пору домой
Возвращалися толпой
С молодецкого разбоя.
Им навстречу, громко воя,
Пес бежит и ко двору
Путь им кажет. „Не к добру! —
Братья молвили, — печали
Не минуем“. Прискакали,
Входят, ахнули. Вбежав,
Пес на яблоко стремглав

С лаем кинулся, озлился,
Проглотил его, свалился
И издох. Напоено
Было ядом знать оно.
Перед мертвою царевной
Братья в горести душевной
Все поникли головой,
И с молитвою святой
С лавки подняли, одели,
Хоронить ее хотели
И раздумали. Она,
Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.
Ждали три дня, но она
Не восстала ото сна.
Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили, и толпой
Понесли в Пустую гору,
И в полуночную пору
Гроб ее к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили
И решеткой оградили;
И пред мертвою сестрой
Сотворив поклон земной,
Старший молвил: „Спи во гробе;
Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса;
Дух твой примут небеса.
Нами ты была любима
И для милого хранима —
Не досталась никому,
Только гробу одному“.

В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла

И вопрос свой задала:
„Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?“
И услышала в ответ:
„Ты, царица, спору нет,
Ты на свете всех милее,
Всех румяней и белее“.

За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрен;
Кто в глаза ему смеется,
Кто скорее отвернется;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец.
„Свет наш, солнышко! ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с теплою весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей“. — „Свет ты мой, —
Красно солнце отвечало, —
Я царевны не видало.
Знать, ее в живых уж нет.
Разве месяц, мой сосед,
Где-нибудь ее да встретил,
Или след ее заметил“.

Темной ночки Елисей
Дождался в тоске своей.
Только месяц показался,
Он за ним с мольбой погнался:
„Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Ты встаешь во тьме глубокой,

Круглолицый, светлоокой,
И обычай твой любя,
Звезды смотрят на тебя.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей". — „Братец мой, —
Отвечает месяц ясный, —
Не видал я девы красной.
На стороже я стою
Только в очередь мою.
Без меня царевна видно
Пробежала". — „Как обидно!"
Королевич отвечал.
Ясный месяц продолжал:
„Погоди; об ней, быть может,
Ветер знает. Он поможет.
Ты к нему теперь ступай,
Не печалься же, прощай".

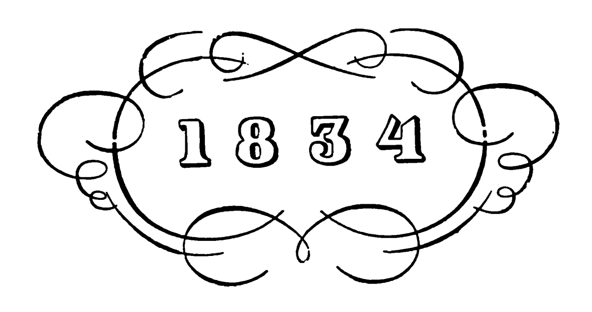
Елисей, не унывая,
К ветру кинулся, взывая:
„Ветер, ветер! ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ее". — „Постой, —
Отвечает ветер буйный, —
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов

Вкруг того пустого места,
В том гробу твоя невеста".

Ветер дале побежал.
Королевич зарыдал,
И пошел к пустому месту,
На прекрасную невесту
Посмотреть еще хоть раз.
Вот идет; и поднялась
Перед ним гора крутая;
Вкруг нее страна пустая;
Под горою темный вход.
Он туда скорей идет.
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами,
И качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
„Как же долго я спала!"
И встает она из гроба...
Ах!.. и зарыдали оба.
В руки он ее берет
И на свет из тьмы несет,
И беседуя приятно,
В путь пускаются обратно,
И трубит уже молва:
Дочка царская жива!

Дома в ту пору без дела
Злая мачеха сидела
Перед зеркальцем своим
И беседовала с ним,
Говоря: „Я ль всех милее,
Всех румяней и белее?"

И услышала в ответ:
Ты прекрасна, слова нет,
Но царевна всё ж милее,
Всё румяней и белее".
Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала
И царевну повстречала.
Тут ее тоска взяла,
И царица умерла.
Лишь ее похоронили,
Свадьбу тотчас учинили,
И с невестою своей
Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.



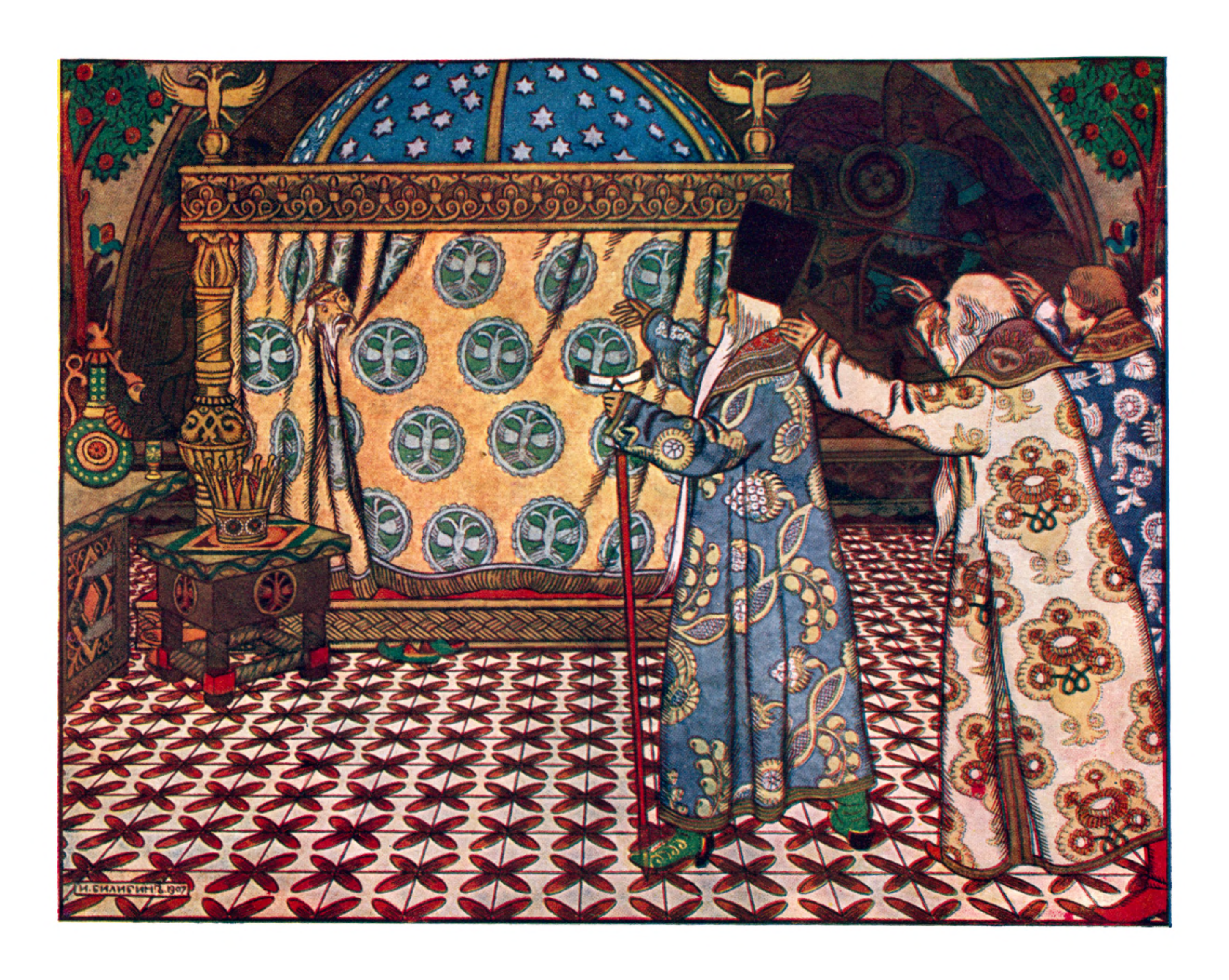
## Сказка о золотом петушке

Негде в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
Смолоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело,
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить;
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать;
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут бывало с юга, глядь —
Ан с востока лезет рать,
Справят здесь, — лихие гости
Идут от моря—со злости
Инда плакал царь Дадон,
Инда забывал и сон.
Что и жизнь в такой тревоге!
Вот он с просьбой о помоге
Обратился к мудрецу,

Звездочету и скопцу —
Шлет за ним гонца с поклоном.
Вот мудрец перед Дадоном
Стал и вынул из мешка
Золотого петушка.
„Посади ты эту птицу, —
Молвил он царю, — на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой:
Коль кругом всё будет мирно,
Так сидеть он будет смирно;
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незванной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется,
И в то место обернется“.
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит —
„За такое одолженье, —
Говорит он в восхищенье, —
Волю первую твою
Я исполню, как мою“.

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы —
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнется, встрепенется,
К той сторонке обернется
И кричит: „Кири ку ку!
Царствуй, лежа на боку!“
И соседи присмирели,
Воевать уже не смели.
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон.

Год, другой проходит мирно,
Петушок сидит всё смирно;




«Сказка о золотом петушке». С рис. акварелью и пером
*И. Я. Билибина* (Госуд. Третьяковская галлерея)

Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробужден.
„Царь ты наш! Отец народа! —
Возглашает воевода, —
Государь! проснись! беда!“
„Что такое, господа? —
Говорит Дадон, зевая, —
А? Кто там? беда какая?“
Воевода говорит:
„Петушок опять кричит,
Страх и шум во всей столице“.
Царь к окошку — ан на спице,
Видит, бьется петушок,
Обратившись на восток.
„Медлить нечего: скорее!
Люди, нà конь! Эй, живее!“
Царь к востоку войско шлет,
Старший сын его ведет.
Петушок угомонился,
Шум утих, и царь забылся.

Вот проходит восемь дней,
А от войска нет вестей:
Было ль, не было ль сраженья,
Нет Дадону донесенья.
Петушок кричит опять —
Кличет царь другую рать;
Сына он теперь меньшого
Шлет на выручку большого;
Петушок опять утих.
Снова вести нет от них,
Снова восемь дней проходит;
Люди в страхе дни проводят,
Петушок кричит опять,
Царь скликает третью рать
И ведет ее к востоку,
Помолясь Илье-пророку.

Войска идут день и ночь;
Им становится не в мочь.
Ни побоища, ни стана,

Ни надгробного кургана
Не встречает царь Дадон.
Что за чудо? мыслит он.
Вот осьмой уж день проходит,
Войско в горы царь приводит,
И промеж высоких гор
Видит шелковый шатер.
Всё в безмолвии чудесном
Вкруг шатра; в ущельи тесном
Рать побитая лежит.
Царь Дадон к шатру спешит...
Что за страшная картина!
Перед ним его два сына,
Без шеломов и без лат,
Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.
Бродят кони их средь луга,
По притоптанной траве,
По кровавой мураве...
Царь завыл: „Ох, дети, дети!
Горе мне! попались в сети
Оба наши сокола!
Горе! смерть моя пришла“.
Все завыли за Дадоном,
Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслося. Вдруг шатер
Распахнулся... и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя.
Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи,
И забыл он перед ней
Смерть обоих сыновей.
И она перед Дадоном
Улыбнулась,— и с поклоном
Его за руку взяла
И в шатер свой увела.
Там за стол его сажала,

Всяким яством угощала,
Уложила отдыхать
На парчевую кровать,
И потом неделю ровно,
Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищен,
Пировал у ней Дадон.

Наконец и в путь обратный
Со своею силой ратной
И с девицей молодой
Царь отправился домой.
Перед ним молва бежала,
Быль и небыль разглашала.
Под столицей близ ворот
С шумом встретил их народ.
Все бегут за колесницей,
За Дадоном и царицей —
Всех приветствует Дадон...
Вдруг в толпе увидел он,
В сарачинской шапке белой
Весь как лебедь поседелый
Старый друг его скопец.
„А! здорово, мой отец, —
Молвил царь ему, — что скажешь?
Подь поближе, что прикажешь?“
„Царь, — ответствует мудрец, —
Разочтемся наконец.
Помнишь? за мою услугу
Обещался мне, как другу,
Волю первую мою
Ты исполнить как свою.
Подари ж ты мне девицу,
Шамаханскую царицу...“
Крайне царь был изумлен.
„Что ты? — старцу молвил он, —
Или бес в тебя ввернулся,
Или ты с ума рехнулся.
Что ты в голову забрал?
Я конечно обещал,

Но всему же есть граница.
И зачем тебе девица?
Полно, знаешь ли, кто я?
Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярской
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего". —
„Не хочу я ничего.
Подари ты мне девицу,
Шамаханскую царицу",
Говорит мудрец в ответ.
Плюнул царь: „Так лих же, нет!
Ничего ты не получишь.
Сам себя ты, грешник, мучишь —
Убирайся, цел пока;
Оттащите старика!"
Старичок хотел заспорить,
Но с царями плохо вздорить;
Царь хватил его жезлом
По лбу; тот упал ничком,
Да и дух вон. — Вся столица
Содрогнулась, — а девица
Хи-хи-хи да ха-ха-ха!
Не боится знать греха.
Царь, хоть был встревожен сильно,
Усмехнулся ей умильно.
Вот — въезжает в город он...
Вдруг раздался легкий звон,
И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы,
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Дадон, —
Охнул раз — и умер он, —
А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, да в ней намек:
Добрым молодцам урок.

## ⟨Как весенней теплою порою...⟩

Как весенней теплою порою,
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу из дремучего,
Выходила чернобурая медведиха
Со милыми детушками медвежатами
Погулять, посмотреть, себя показать.
Села б⟨оярыня⟩ медведица под белой березою,
Стали медвежата промеж собой играть,
По муравушке валятися, обниматися,
Боротися, кувыркатися.
Отколь ни возьмись мужик идет;
А нож-то у него за поясом,
А во руках несет рогатину,
А мешок-то у него за̀ плечьми.
Как завидела медведиха
Мужика со рогатиной,
Заревела медведиха,
Стала кликать малых детушек,
Своих глупых медвежатушек:
„Ах вы, детушки, медвежатушки,
Перестаньте по муравушке валятися,
Боротися, кувыркатися.
Уж как знать на нас мужик идет.

Становитесь, хоронитесь за меня —
Уж как я вас мужику не выдам,
А сама мужику .... выем!“

Медвежатушки испугалися,
За медведиху бросалися,
А медведиха осержалася,
На дыбы подымалася.
А мужик-от он догадлив был,
Он пускался на медведиху,
Он сажал в нее рогатину,
Что повыше пупа, пониже печени.
Грянулась медведиха о сыру землю;
А мужик-то ей брюхо порол,
Брюхо порол, да шкуру сымал,
Малых медв<ежатушек> в мешок поклал...
А поклавши-то, домой пошел.

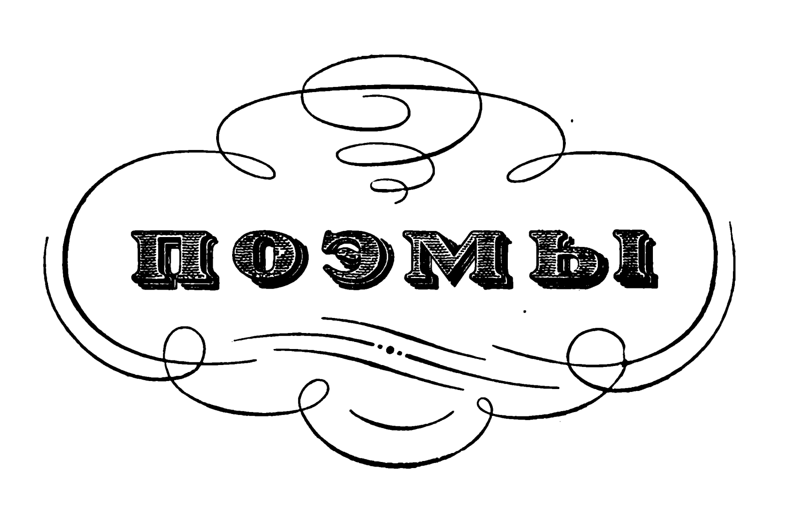
„Вот тебе, жена, подарочек,
Что медвежья шуба в пятьдесят рублев,
А что вот тебе другой подарочек —
Трои медвежат по пяти рублев“.

Не звоны пошли по городу,
Пошли вести по всему по лесу.
Дошли вести до медведя чернобурого:
Что убил мужик его медв<едиху>,
Распорол ей брюхо белое,
<Брюхо распорол, да> шкуру <сымал>,
Медвежатушек в мешок поклал.
В ту пору медведь запечалился,
Голову повесил, голосом завыл
По свою ли по сударушку,
Чернобурую медведиху:
„Ах ты, свет, моя медв<едиха>,
На кого меня покинула,
Вдовца несчастного,
Вдовца горемычного?
Уж как мне с тобой, моей боярыней,
Веселой игры не игрывати,

Милых детушек не родити,
Медвежатушек не качати,
Не качати, не баюкати“.

В ту пору звери собиралися
Ко тому ли медведю к боль<шому> боярину.
Приходили, прибегали звери бóльшие,
Прибегали тут зверишки меньшие.
Прибегал туто волк дворянин:
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые.
Приходил тут бобер, торговый гость,
У него-то бобра жирный хвост.
Приходила ласточка-дворяночка,
Приходила белочка-княгинечка,
Приходила лисица-подъячиха —
Подъячиха, казначеиха,
Приходил ярыжка горностаюшка,
Приходил тут байбак глумян,
Живет он, байбак, позадь гумян.
Прибегал тут зайка-смерд,
Зайка бедненький, зайка серенький.
Приходил цаловальник-еж:
Всё-то еж он ежится,
Всё-то он щетинится...

<Начало 30-х гг.>


ПОЭМЫ

*Подготовка текста и комментарии*
*С. М. Бонди.*

# Руслан и Людмила

## Посвящение

*Для вас, души моей царицы,*
*Красавицы, для вас одних*
*Времен минувших небылицы,*
*В часы досугов золотых,*
*Под шопот старины болтливой,*
*Рукою верной я писал;*
*Примите ж вы мой труд игривый!*
*Ничьих не требуя похвал,*
*Счастлив уж я надеждой сладкой,*
*Что дева с трепетом любви*
*Посмотрит, может быть, украдкой*
*На песни грешные мои.*

## Песнь первая

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русской дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету...

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана,
И мед из тяжкого стакана
За их здоровье выпивал.
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
Они веселье в сердце лили,
Шипела пена по краям,
Их важно чашники носили
И низко кланялись гостям.

Слилися речи в шум невнятный;
Жужжит гостей веселый круг;
Но вдруг раздался глас приятный
И звонких гуслей беглый звук;
Все смолкли, слушают Баяна:
И славит сладостный певец
Людмилу-прелесть и Руслана
И Лелем свитый им венец.

Но, страстью пылкой утомленный,
Не ест, не пьет Руслан влюбленный;
На друга милого глядит,
Вздыхает, сердится, горит
И, щипля ус от нетерпенья,
Считает каждые мгновенья.
В унынье, с пасмурным челом,
За шумным, свадебным столом
Сидят три витязя младые;
Безмолвны, за ковшом пустым,
Забыли кубки круговые,
И брашна неприятны им;

Не слышат вещего Баяна,
Потупили смущенный взгляд:
То три соперника Руслана;
В душе несчастные таят
Любви и ненависти яд.
Один — Рогдай, воитель смелый,
Мечом раздвинувший пределы
Богатых киевских полей;
Другой — Фарлаф, крикун надменный,
В пирах никем не побежденный,
Но воин скромный средь мечей;
Последний, полный страстной думы,
Младой хазарский хан Ратмир:
Все трое бледны и угрюмы,
И пир веселый им не в пир.

Вот кончен он; встают рядами,
Смешались шумными толпами,
И все глядят на молодых:
Невеста очи опустила,
Как будто сердцем приуныла,
И светел радостный жених.
Но тень объемлет всю природу,
Уж близко к полночи глухой;
Бояре, задремав от меду,
С поклоном убрались домой.
Жених в восторге, в упоенье:
Ласкает он в воображенье
Стыдливой девы красоту;
Но с тайным, грустным умиленьем
Великий князь благословеньем
Дарует юную чету.

И вот невесту молодую
Ведут на брачную постель;
Огни погасли... и ночную
Лампаду зажигает Лель.
Свершились милые надежды,
Любви готовятся дары;
Падут ревнивые одежды

На цареградские ковры...
Вы слышите ль влюбленный шопот
И поцелуев сладкий звук
И прерывающийся ропот
Последней робости?.. Супруг
Восторги чувствует заране;
И вот они настали... Вдруг
Гром грянул, свет блеснул в тумане,
Лампада гаснет, дым бежит,
Кругом всё смерклось, всё дрожит,
И замерла душа в Руслане...
Всё смолкло. В грозной тишине
Раздался дважды голос странный,
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной...
И снова терем пуст и тих;
Встает испуганный жених,
С лица катится пот остылый;
Трепеща, хладною рукой
Он вопрошает мрак немой...
О горе: нет подруги милой!
Хватает воздух он пустой:
Людмилы нет во тьме густой,
Похищена безвестной силой.

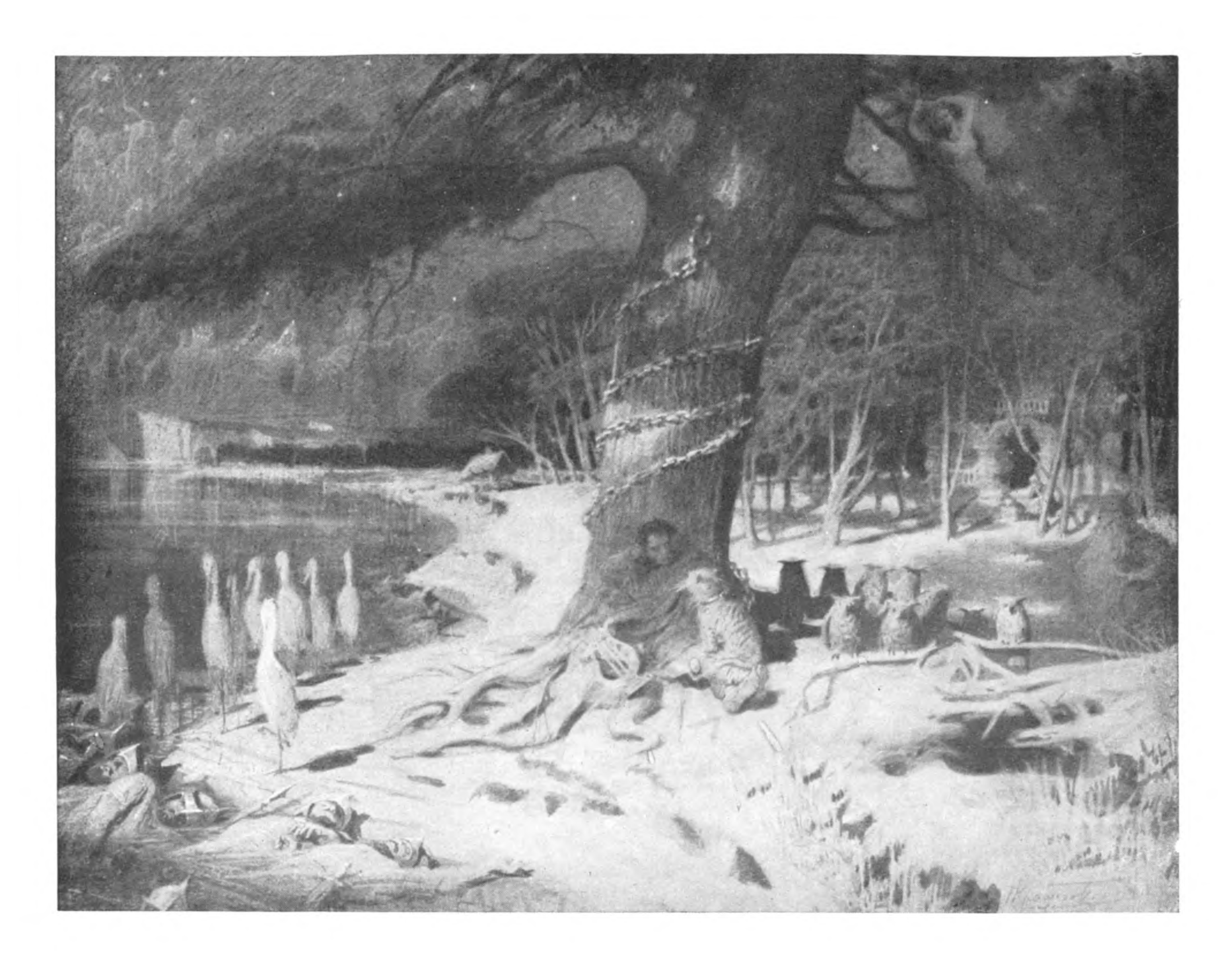
Ах, если мученик любви
Страдает страстью безнадежно,
Хоть грустно жить, друзья мои,
Однако жить еще возможно.
Но после долгих, долгих лет
Обнять влюбленную подругу,
Желаний, слез, тоски предмет,
И вдруг минутную супругу
Навек утратить... о друзья,
Конечно лучше б умер я!

Однако жив Руслан несчастный.
Но что сказал великий князь?
Сраженный вдруг молвой ужасной,
На зятя гневом распалясь,

Его и двор он созывает:
„Где, где Людмила?“ вопрошает
С ужасным, пламенным челом.
Руслан не слышит. „Дети, други!
Я помню прежние заслуги:
О, сжальтесь вы над стариком!
Скажите, кто из вас согласен
Скакать за дочерью моей?
Чей подвиг будет не напрасен,
Тому — терзайся, плачь, злодей!
Не мог сберечь жены своей! —
Тому я дам ее в супруги
С полцарством прадедов моих.
Кто ж вызовется, дети, други?..“
— Я! — молвил горестный жених.
„Я! я! — воскликнули с Рогдаем
Фарлаф и радостный Ратмир: —
Сейчас коней своих седлаем,
Мы рады весь изъездить мир.
Отец наш, не продлим разлуки;
Не бойся: едем за княжной“.
И с благодарностью немой
В слезах к ним простирает руки
Старик, измученный тоской.

Все четверо выходят вместе:
Руслан уныньем как убит;
Мысль о потерянной невесте
Его терзает и мертвит.
Садятся на коней ретивых;
Вдоль берегов Днепра счастливых
Летят в клубящейся пыли;
Уже скрываются вдали;
Уж всадников не видно боле...
Но долго всё еще глядит
Великий князь в пустое поле
И думой им вослед летит.

Руслан томился молчаливо,
И смысл и память потеряв.



„Руслан и Людмила" („У лукоморья дуб зеленый"). С рис. *И. Н. Крамского* (Госуд. Третьяковская галлерея)

Через плечо глядя спесиво
И важно подбочась, Фарлаф
Надувшись ехал за Русланом.
Он говорит: „Насилу я
На волю вырвался, друзья!
Ну, скоро ль встречусь с великаном?
Уж то-то крови будет течь,
Уж то-то жертв любви ревнивой!
Повеселись, мой верный меч,
Повеселись, мой конь ретивый!“

Хазарский хан, в уме своем
Уже Людмилу обнимая,
Едва не пляшет над седлом;
В нем кровь играет молодая,
Огня надежды полон взор;
То скачет он во весь опор,
То дразнит бегуна лихого,
Кружит, подъемлет на дыбы,
Иль дерзко мчит на холмы снова.

Рогдай угрюм, молчит — ни слова...
Страшась неведомой судьбы
И мучась ревностью напрасной,
Всех больше беспокоен он,
И часто взор его ужасный
На князя мрачно устремлен.

Соперники одной дорогой
Все вместе едут целый день.
Днепра стал темен брег отлогой;
С востока льется ночи тень;
Туманы над Днепром глубоким;
Пора коням их отдохнуть.
Вот под горой путем широким
Широкий пересекся путь.
„Разъедемся, пора! — сказали, —
Безвестной вверимся судьбе“.
И каждый конь, не чуя стали,
По воле путь избрал себе.

Что делаешь, Руслан несчастный,
Один в пустынной тишине?
Людмилу, свадьбы день ужасный,
Всё, мнится, видел ты во сне.
На брови медный шлем надвинув,
Из мощных рук узду покинув,
Ты шагом едешь меж полей,
И медленно в душе твоей
Надежда гибнет, гаснет вера.

Но вдруг пред витязем пещера;
В пещере свет. Он прямо к ней
Идет под дремлющие своды,
Ровесники самой природы.
Вошел с уныньем: что же зрит?
В пещере старец; ясный вид,
Спокойный взор, брада седая;
Лампада перед ним горит;
За древней книгой он сидит,
Ее внимательно читая.
„Добро пожаловать, мой сын! —
Сказал с улыбкой он Руслану: —
Уж двадцать лет я здесь один
Во мраке старой жизни вяну;
Но наконец дождался дня,
Давно предвиденного мною.
Мы вместе сведены судьбою;
Садись и выслушай меня.
Руслан, лишился ты Людмилы;
Твой твердый дух теряет силы;
Но зла промчится быстрый миг:
На время рок тебя постиг.
С надеждой, верою веселой
Иди на всё, не унывай;
Вперед! мечом и грудью смелой
Свой путь на полночь пробивай.

Узнай, Руслан: твой оскорбитель
Волшебник страшный Черномор,
Красавиц давний похититель,
Полнощных обладатель гор.

Еще ничей в его обитель
Не проникал доныне взор;
Но ты, злых козней истребитель,
В нее ты вступишь, и злодей
Погибнет от руки твоей.
Тебе сказать не должен боле:
Судьба твоих грядущих дней,
Мой сын, в твоей отныне воле".

Наш витязь старцу пал к ногам,
И в радости лобзает руку.
Светлеет мир его очам,
И сердце позабыло муку.
Вновь ожил он; и вдруг опять
На вспыхнувшем лице кручина...
„Ясна тоски твоей причина;
Но грусть не трудно разогнать, —
Сказал старик: — тебе ужасна
Любовь седого колдуна;
Спокойся, знай: она напрасна
И юной деве не страшна.
Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет — задрожит луна;
Но против времени закона
Его наука не сильна.
Ревнивый, трепетный хранитель
Замков безжалостных дверей,
Он только немощный мучитель
Прелестной пленницы своей.
Вокруг нее он молча бродит,
Клянет жестокий жребий свой...
Но, добрый витязь, день проходит,
А нужен для тебя покой".

Руслан на мягкий мох ложится
Пред умирающим огнем;
Он ищет позабыться сном,
Вздыхает, медленно вертится...
Напрасно! Витязь наконец:
„Не спится что-то, мой отец!

Что делать: болен я душою,
И сон не в сон, как тошно жить.
Позволь мне сердце освежить
Твоей беседою святою.
Прости мне дерзостный вопрос.
Откройся: кто ты, благодатный,
Судьбы наперсник непонятный?
В пустыню кто тебя занес?"

Вздохнув с улыбкою печальной,
Старик в ответ: „Любезный сын,
Уж я забыл отчизны дальной
Угрюмый край. Природный финн,
В долинах, нам одним известных,
Гоняя стадо сел окрестных,
В беспечной юности я знал
Одни дремучие дубравы,
Ручьи, пещеры наших скал,
Да дикой бедности забавы.
Но жить в отрадной тишине
Дано не долго было мне.

Тогда близ нашего селенья,
Как милый цвет уединенья,
Жила Наина. Меж подруг
Она гремела красотою.
Однажды утренней порою
Свои стада на темный луг
Я гнал, волынку надувая;
Передо мной шумел поток.
Одна, красавица младая
На берегу плела венок.
Меня влекла моя судьбина...
Ах, витязь, то была Наина!
Я к ней — и пламень роковой
За дерзкий взор мне был наградой,
И я любовь узнал душой
С ее небесною отрадой,
С ее мучительной тоской.

Умчалась года половина;
Я с трепетом открылся ей,
Сказал: люблю тебя, Наина.
Но робкой горести моей
Наина с гордостью внимала,
Лишь прелести свои любя;
И равнодушно отвечала:
Пастух, я не люблю тебя!

И всё мне дико, мрачно стало:
Родная куща, тень дубров,
Веселы игры пастухов —
Ничто тоски не утешало.
В уныньи сердце сохло, вяло.
И наконец задумал я
Оставить финские поля;
Морей неверные пучины
С дружиной братской переплыть,
И бранной славой заслужить
Вниманье гордое Наины.
Я вызвал смелых рыбаков
Искать опасностей и злата.
Впервые тихий край отцов
Услышал бранный звук булата
И шум немирных челноков.
Я вдаль уплыл, надежды полный,
С толпой бесстрашных земляков;
Мы десять лет снега и волны
Багрили кровию врагов.
Молва неслась: цари чужбины
Страшились дерзости моей;
Их горделивые дружины
Бежали северных мечей.
Мы весело, мы грозно бились,
Делили дани и дары,
И с побежденными садились
За дружелюбные пиры.
Но сердце, полное Наиной,
Под шумом битвы и пиров,
Томилось тайною кручиной,

Искало финских берегов.
Пора домой, сказал я, други!
Повесим праздные кольчуги
Под сенью хижины родной.
Сказал — и весла зашумели;
И, страх оставя за собой,
В залив отчизны дорогой
Мы с гордой радостью влетели.

Сбылись давнишние мечты,
Сбылися пылкие желанья!
Минута сладкого свиданья,
И для меня блеснула ты!
К ногам красавицы надменной
Принес я меч окровавленный,
Кораллы, злато и жемчуг;
Пред нею, страстью упоенный,
Безмолвным роем окруженный
Ее завистливых подруг,
Стоял я пленником послушным;
Но дева скрылась от меня,
Примолвя с видом равнодушным:
Герой, я не люблю тебя!

К чему рассказывать, мой сын,
Чего пересказать нет силы?
Ах, и теперь один, один,
Душой уснув, в дверях могилы,
Я помню горесть, и порой,
Как о минувшем мысль родится,
По бороде моей седой
Слеза тяжелая катится.

Но слушай: в родине моей
Между пустынных рыбарей
Наука дивная таится.
Под кровом вечной тишины,
Среди лесов, в глуши далекой
Живут седые колдуны;
К предметам мудрости высокой

Все мысли их устремлены;
Всё слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб и самая любовь.

И я, любви искатель жадный,
Решился в грусти безотрадной
Наину чарами привлечь,
И в гордом сердце девы хладной
Любовь волшебствами зажечь.
Спешил в объятия свободы,
В уединенный мрак лесов;
И там, в ученьи колдунов,
Провел невидимые годы.
Настал давно желанный миг,
И тайну страшную природы
Я светлой мыслию постиг:
Узнал я силу заклинаньям.
Венец любви, венец желаньям!
Теперь, Наина, ты моя!
Победа наша, думал я.
Но в самом деле победитель
Был рок, упорный мой гонитель.

В мечтах надежды молодой,
В восторге пылкого желанья,
Творю поспешно заклинанья,
Зову духов — и в тьме лесной
Стрела промчалась громовая,
Волшебный вихорь поднял вой,
Земля вздрогнула под ногой...
И вдруг сидит передо мной
Старушка дряхлая, седая,
Глазами впалыми сверкая,
С горбом, с трясучей головой,
Печальной ветхости картина.
Ах, витязь, то была Наина!..
Я ужаснулся и молчал,
Глазами страшный призрак мерил,

В сомненьи всё еще не верил,
И вдруг заплакал, закричал:
Возможно ль! ах, Наина, ты ли!
Наина, где твоя краса?
Скажи, ужели небеса
Тебя так страшно изменили?
Скажи, давно ль, оставя свет,
Расстался я с душой и с милой?
Давно ли?.. „Ровно сорок лет, —
Был девы роковой ответ: —
Сегодня семьдесят мне било.
Что делать, — мне пищит она, —
Толпою годы пролетели,
Прошла моя, твоя весна —
Мы оба постареть успели.
Но, друг, послушай: не беда
Неверной младости утрата.
Конечно, я теперь седа,
Немножко, может быть, горбата;
Не то, что встарину была,
Не так жива, не так мила;
Зато (прибавила болтунья),
Открою тайну: я колдунья!“

И было в самом деле так.
Немой, недвижный перед нею,
Я совершенный был дурак
Со всей премудростью моею.

Но вот ужасно: колдовство
Вполне свершилось по несчастью.
Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью.
Скривив улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признанье.
Вообрази мое страданье!
Я трепетал, потупя взор;
Она сквозь кашель продолжала
Тяжелый, страстный разговор:

„Так, сердце я теперь узнала;
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти рождено;
Проснулись чувства, я сгораю,
Томлюсь желаньями любви...
Приди в объятия мои...
О милый, милый! умираю..."

И между тем она, Руслан,
Мигала томными глазами;
И между тем за мой кафтан
Держалась тощими руками;
И между тем — я обмирал,
От ужаса зажмуря очи;
И вдруг терпеть не стало мочи;
Я с криком вырвался, бежал.
Она вослед: „О недостойный!
Ты возмутил мой век спокойный,
Невинной девы ясны дни!
Добился ты любви Наины,
И презираешь — вот мужчины!
Изменой дышут все они!
Увы, сама себя вини;
Он обольстил меня, несчастный!
Я отдалась любови страстной...
Изменник, изверг! о позор!
Но трепещи, девичий вор!"

Так мы расстались. С этих пор
Живу в моем уединенье
С разочарованной душой;
И в мире старцу утешенье
Природа, мудрость и покой.
Уже зовет меня могила;
Но чувства прежние свои
Еще старушка не забыла,
И пламя позднее любви
С досады в злобу превратила.
Душою черной зло любя,
Колдунья старая конечно

Возненавидит и тебя;
Но горе на земле не вечно".

Наш витязь с жадностью внимал
Рассказы старца; ясны очи
Дремотой легкой не смыкал
И тихого полета ночи
В глубокой думе не слыхал.
Но день блистает лучезарный...
Со вздохом витязь благодарный
Объемлет старца-колдуна;
Душа надеждою полна;
Выходит вон. Ногами стиснул
Руслан заржавшего коня;
В седле оправился, присвистнул.
„Отец мой, не оставь меня".
И скачет по пустому лугу.
Седой мудрец младому другу
Кричит вослед: „Счастливый путь!
Прости, люби свою супругу,
Советов старца не забудь!"

## Песнь вторая

Соперники в искусстве брани,
Не знайте мира меж собой;
Несите мрачной славе дани
И упивайтеся враждой!
Пусть мир пред вами цепенеет,
Дивяся грозным торжествам:
Никто о вас не пожалеет,
Никто не помешает вам.
Соперники другого рода,
Вы, рыцари парнасских гор,
Старайтесь не смешить народа
Нескромным шумом ваших ссор,
Бранитесь — только осторожно.
Но вы, соперники в любви,
Живите дружно, если можно!
Поверьте мне, друзья мои:
Кому судьбою непременной
Девичье сердце суждено,
Тот будет мил на зло вселенной;
Сердиться глупо и грешно.

Когда Рогдай неукротимый,
Глухим предчувствием томимый,
Оставя спутников своих,
Пустился в край уединенный
И ехал меж пустынь лесных,
В глубоку думу погруженный —
Злой дух тревожил и смущал
Его тоскующую душу,
И витязь пасмурный шептал:
„Убью!.. преграды все разрушу...
Руслан!.. узнаешь ты меня...
Теперь-то девица поплачет...“
И вдруг, поворотив коня,
Во весь опор назад он скачет.

В то время доблестный Фарлаф,
Всё утро сладко продремав,

Укрывшись от лучей полдневных,
У ручейка, наедине,
Для подкрепленья сил душевных,
Обедал в мирной тишине.
Как вдруг, он видит: кто-то в поле,
Как буря, мчится на коне;
И, времени не тратя боле,
Фарлаф, покинув свой обед,
Копье, кольчугу, шлем, перчатки,
Вскочил в седло, и без оглядки
Летит — а тот за ним вослед.
„Остановись, беглец бесчестный! —
Кричит Фарлафу неизвестный. —
Презренный, дай себя догнать!
Дай голову с тебя сорвать!“
Фарлаф, узнавши глас Рогдая,
Со страха скорчась, обмирал,
И, верной смерти ожидая,
Коня еще быстрее гнал.
Так точно заяц торопливый,
Прижавши уши боязливо,
По кочкам, полем, сквозь леса
Скачками мчится ото пса.
На месте славного побега
Весной растопленного снега
Потоки мутные текли
И рыли влажну грудь земли.
Ко рву примчался конь ретивый,
Взмахнул хвостом и белой гривой,
Бразды стальные закусил
И через ров перескочил;
Но робкий всадник вверх ногами
Свалился тяжко в грязный ров,
Земли не взвидел с небесами,
И смерть принять уж был готов.
Рогдай к оврагу подлетает;
Жестокий меч уж занесен;
„Погибни, трус! умри!“ вещает...
Вдруг узнает Фарлафа он;
Глядит, и руки опустились;

Досада, изумленье, гнев
В его чертах изобразились;
Скрыпя зубами, онемев,
Герой, с поникшею главою
Скорей отъехав ото рва,
Бесился... но едва, едва
Сам не смеялся над собою.

Тогда он встретил под горой
Старушечку чуть-чуть живую,
Горбатую, совсем седую.
Она дорожною клюкой
Ему на север указала.
„Ты там найдешь его“, сказала.
Рогдай весельем закипел
И к верной смерти полетел.

А наш Фарлаф? Во рву остался,
Дохнуть не смея; про себя
Он лежа думал: жив ли я?
Куда соперник злой девался?
Вдруг слышит прямо над собой
Старухи голос гробовой:
„Встань, молодец; всё тихо в поле;
Ты никого не встретишь боле;
Я привела тебе коня;
Вставай, послушайся меня“.

Смущенный витязь поневоле
Ползком оставил грязный ров;
Окрестность робко озирая,
Вздохнул и молвил оживая:
„Ну, слава богу, я здоров!“

— „Поверь! — старуха продолжала: —
Людмилу мудрено сыскать;
Она далеко забежала;
Не нам с тобой ее достать.
Опасно разъезжать по свету;
Ты, право, будешь сам не рад.

Последуй моему совету,
Ступай тихохонько назад.
Под Киевом, в уединенье,
В своем наследственном селенье
Останься лучше без забот:
От нас Людмила не уйдет“.

Сказав, исчезла. В нетерпенье
Благоразумный наш герой
Тотчас отправился домой,
Сердечно позабыв о славе
И даже о княжне младой;
И шум малейший по дубраве,
Полет синицы, ропот вод
Его бросали в жар и в пот.

Меж тем Руслан далеко мчится;
В глуши лесов, в глуши полей
Привычной думою стремится
К Людмиле, радости своей,
И говорит: „Найду ли друга?
Где ты, души моей супруга?
Увижу ль я твой светлый взор?
Услышу ль нежный разговор?
Иль суждено, чтоб чародея
Ты вечной пленницей была,
И, скорбной девою старея,
В темнице мрачной отцвела?
Или соперник дерзновенный
Придет?.. Нет, нет, мой друг бесценный:
Еще при мне мой верный меч,
Еще глава не пала с плеч“.

Однажды, темною порою,
По камням берегом крутым
Наш витязь ехал над рекою.
Всё утихало. Вдруг за ним
Стрелы мгновенное жужжанье,
Кольчуги звон и крик и ржанье
И топот по полю глухой.

„Стой!“ грянул голос громовой.
Он оглянулся: в поле чистом,
Подняв копье, летит со свистом
Свирепый всадник, и грозой
Помчался князь ему навстречу.
„Ага! догнал тебя! постой! —
Кричит наездник удалой: —
Готовься, друг, на смертну сечу;
Теперь ложись средь здешних мест;
А там ищи своих невест“.
Руслан вспылал, вздрогнул от гнева;
Он узнает сей буйный глас...

Друзья мои! а наша дева?
Оставим витязей на час;
О них опять я вспомню вскоре.
А то давно пора бы мне
Подумать о младой княжне
И об ужасном Черноморе.

Моей причудливой мечты
Наперсник иногда нескромный,
Я рассказал, как ночью темной
Людмилы нежной красоты
От воспаленного Руслана
Сокрылись вдруг среди тумана.
Несчастная! когда злодей,
Рукою мощною своей
Тебя сорвав с постели брачной,
Взвился, как вихорь, к облакам
Сквозь тяжкий дым и воздух мрачный,
И вдруг умчал к своим горам —
Ты чувств и памяти лишилась
И в страшном замке колдуна
Безмолвна, трепетна, бледна,
В одно мгновенье очутилась.

С порога хижины моей
Так видел я, средь летних дней,
Когда за курицей трусливой
Султан курятника спесивый,

Петух мой по двору бежал
И сладострастными крылами
Уже подругу обнимал;
Над ними хитрыми кругами
Цыплят селенья старый вор,
Прияв губительные меры,
Носился, плавал коршун серый,
И пал как молния на двор.
Взвился, летит. В когтях ужасных
Во тьму расселин безопасных
Уносит бедную злодей.
Напрасно, горестью своей
И хладным страхом пораженный,
Зовет любовницу петух...
Он видит лишь летучий пух,
Летучим ветром занесенный.

До утра юная княжна
Лежала, тягостным забвеньем,
Как будто страшным сновиденьем,
Объята — наконец она
Очнулась, пламенным волненьем
И смутным ужасом полна;
Душой летит за наслажденьем,
Кого-то ищет с упоеньем;
Где ж милый, шепчет, где супруг?
Зовет и помертвела вдруг.
Глядит с боязнию вокруг.
Людмила, где твоя светлица?
Лежит несчастная девица
Среди подушек пуховых,
Под гордой сенью балдахина;
Завесы, пышная перина
В кистях, в узорах дорогих;
Повсюду ткани парчевые;
Играют яхонты, как жар;
Кругом курильницы златые
Подъемлют ароматный пар;
Довольно... благо мне не надо
Описывать волшебный дом:

Уже давно Шехеразада
Меня предупредила в том.
Но светлый терем не отрада,
Когда не видим друга в нем.

Вы знаете, что наша дева
Была одета в эту ночь,
По обстоятельствам, точь в точь
Как наша прабабушка Ева.
Наряд невинный и простой!
Наряд Амура и природы!
Как жаль, что вышел он из моды!
Пред изумленною княжной
Три девы, красоты чудесной,
В одежде легкой и прелестной
Явились, молча подошли,
И поклонились до земли.
Тогда неслышными шагами
Одна поближе подошла;
Княжне воздушными перстами
Златую косу заплела
С искусством, в наши дни не новым,
И обвила венцом перловым
Окружность бледного чела.
За нею, скромно взор склоняя,
Потом приблизилась другая;
Лазурный, пышный сарафан
Одел Людмилы стройный стан;
Покрылись кудри золотые,
И грудь, и плечи молодые
Фатой, прозрачной, как туман.
Покров завистливый лобзает
Красы, достойные небес,
И обувь легкая сжимает
Две ножки, чудо из чудес.
Княжне последняя девица
Жемчужный пояс подает.
Меж тем незримая певица
Веселы песни ей поет.
Увы, ни камни ожерелья,

Ни сарафан, ни перлов ряд,
Ни песни лести и веселья
Ее души не веселят;
Напрасно зеркало рисует
Ее красы, ее наряд;
Потупя неподвижный взгляд,
Она молчит, она тоскует.

Те, кои, правду возлюбя,
На темном сердца дне читали,
Конечно знают про себя,
Что если женщина в печали
Сквозь слез, украдкой, как-нибудь,
На зло привычке и рассудку,
Забудет в зеркало взглянуть —
То грустно ей уж не на шутку.

Но вот Людмила вновь одна.
Не зная, что начать, она
К окну решетчату подходит,
И взор ее печально бродит
В пространстве пасмурной дали.
Всё мертво. Снежные равнины
Коврами яркими легли;
Стоят угрюмых гор вершины
В однообразной белизне,
И дремлют в вечной тишине;
Кругом не видно дымной кровли,
Не видно путника в снегах,
И звонкий рог веселой ловли
В пустынных не трубит горах;
Лишь изредка с унылым свистом
Бунтует вихорь в поле чистом,
И на краю седых небес
Качает обнаженный лес.

В слезах отчаянья Людмила
От ужаса лицо закрыла.
Увы, что ждет ее теперь!
Бежит в серебряную дверь;

Она с музыкой отворилась,
И наша дева очутилась
В саду. Пленительный предел:
Прекраснее садов Армиды
И тех, которыми владел
Царь Соломон, иль князь Тавриды.
Пред нею зыблются, шумят
Великолепные дубровы,
Аллеи пальм и лес лавровый,
И благовонных миртов ряд,
И кедров гордые вершины,
И золотые апельсины
Зерцалом вод отражены;
Пригорки, рощи и долины
Весны огнем оживлены;
С прохладой вьется ветер майский
Средь очарованных полей,
И свищет соловей китайский
Во мраке трепетных ветвей;
Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам;
Под ними блещут истуканы,
И, мнится, живы; Фидий сам,
Питомец Феба и Паллады,
Любуясь ими, наконец
Свой очарованный резец
Из рук бы выронил с досады.
Дробясь о мраморны преграды,
Жемчужной, огненной дугой
Валятся, плещут водопады;
И ручейки в тени лесной
Чуть вьются сонною волной.
Приют покоя и прохлады,
Сквозь вечну зелень здесь и там
Мелькают светлые беседки;
Повсюду роз живые ветки
Цветут и дышут по тропам.
Но безутешная Людмила
Идет, идет и не глядит;
Волшебства роскошь ей постыла,

Ей грустен неги светлый вид;
Куда, сама не зная, бродит,
Волшебный сад кругом обходит,
Свободу горьким дав слезам,
И взоры мрачные возводит
К неумолимым небесам.
Вдруг осветился взор прекрасный;
К устам она прижала перст;
Казалось, умысел ужасный
Рождался... Страшный путь отверст:
Высокий мостик над потоком
Пред ней висит на двух скалах;
В уныньи тяжком и глубоком
Она подходит — и в слезах
На воды шумные взглянула,
Ударила, рыдая, в грудь,
В волнах решилась утонуть —
Однако в воды не прыгнула
И дале продолжала путь.

Моя прекрасная Людмила,
По солнцу бегая с утра,
Устала, слезы осушила,
В душе подумала: пора!
На травку села, оглянулась —
И вдруг над нею сень шатра,
Шумя, с прохладой развернулась;
Обед роскошный перед ней;
Прибор из яркого кристалла;
И в тишине из-за ветвей
Незрима арфа заиграла.
Дивится пленная княжна,
Но втайне думает она:
„Вдали от милого, в неволе,
Зачем мне жить на свете боле?
О ты, чья гибельная страсть
Меня терзает и лелеет,
Мне не страшна злодея власть:
Людмила умереть умеет!
Не нужно мне твоих шатров,

Ни скучных песен, ни пиров —
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!“
Подумала — и стала кушать.

Княжна встает, и вмиг шатер,
И пышной роскоши прибор,
И звуки арфы... всё пропало;
Попрежнему всё тихо стало;
Людмила вновь одна в садах
Скитается из рощи в рощи;
Меж тем в лазурных небесах
Плывет луна, царица нощи;
Находит мгла со всех сторон
И тихо на холмах почила;
Княжну невольно клонит сон,
И вдруг неведомая сила
Нежней, чем вешний ветерок,
Ее на воздух поднимает,
Несет по воздуху в чертог,
И осторожно опускает
Сквозь фимиам вечерних роз
На ложе грусти, ложе слез.
Три девы вмиг опять явились
И вкруг нее засуетились,
Чтоб на ночь пышный снять убор;
Но их унылый, смутный взор
И принужденное молчанье
Являли втайне состраданье
И немощный судьбам укор.
Но поспешим: рукой их нежной
Раздета сонная княжна;
Прелестна прелестью небрежной,
В одной сорочке белоснежной
Ложится почивать она.
Со вздохом девы поклонились,
Скорей как можно удалились,
И тихо притворили дверь.
Что ж наша пленница теперь!
Дрожит как лист, дохнуть не смеет;

Хладеют перси, взор темнеет;
Мгновенный сон от глаз бежит;
Не спит, удвоила вниманье,
Недвижно в темноту глядит...
Всё мрачно, мертвое молчанье!
Лишь сердца слышит трепетанье...
И мнится... шепчет тишина;
Идут — идут к ее постеле;
В подушки прячется княжна —
И вдруг... о страх!.. и в самом деле
Раздался шум; озарена
Мгновенным блеском тьма ночная,
Мгновенно дверь отворена;
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Арапов длинный ряд идет
Попарно, чинно, сколь возможно,
И на подушках осторожно
Седую бороду несет;
И входит с важностью за нею,
Подъяв величественно шею,
Горбатый карлик из дверей:
Его-то голове обритой,
Высоким колпаком покрытой
Принадлежала борода.
Уж он приблизился: тогда
Княжна с постели соскочила,
Седого карлу за колпак
Рукою быстрой ухватила,
Дрожащий занесла кулак,
И в страхе завизжала так,
Что всех арапов оглушила.
Трепеща, скорчился бедняк,
Княжны испуганной бледнее;
Зажавши уши поскорее,
Хотел бежать, но в бороде
Запутался, упал и бьется;
Встает, упал; в такой беде
Арапов черный рой мятется;
Шумят, толкаются, бегут,

Хватают колдуна в охапку,
И вон распутывать несут,
Оставя у Людмилы шапку.

Но что-то добрый витязь наш?
Вы помните ль нежданну встречу?
Бери свой быстрый карандаш,
Рисуй, Орловский, ночь и сечу!
При свете трепетном луны
Сразились витязи жестоко;
Сердца их гневом стеснены,
Уж копья брошены далеко,
Уже мечи раздроблены,
Кольчуги кровию покрыты,
Щиты трещат, в куски разбиты...
Они схватились на конях;
Взрывая к небу черный прах,
Под ними борзы кони бьются;
Борцы, недвижно сплетены,
Друг друга стиснув, остаются,
Как бы к седлу пригвождены;
Их члены злобой сведены;
Переплелись и костенеют;
По жилам быстрый огнь бежит;
На вражьей груди грудь дрожит —
И вот колеблются, слабеют —
Кому-то пасть... вдруг витязь мой,
Вскипев, железною рукой
С седла наездника срывает,
Подъемлет, держит над собой
И в волны с берега бросает.
„Погибни! — грозно восклицает; —
Умри, завистник злобный мой!“

Ты догадался, мой читатель,
С кем бился доблестный Руслан:
То был кровавых битв искатель,
Рогдай, надежда киевлян,
Людмилы мрачный обожатель.
Он вдоль днепровских берегов

Искал соперника следов;
Нашел, настиг, но прежня сила
Питомцу битвы изменила,
И Руси древний удалец
В пустыне свой нашел конец.
И слышно было, что Рогдая
Тех вод русалка молодая
На хладны перси приняла,
И, жадно витязя лобзая,
На дно со смехом увлекла,
И долго после, ночью темной,
Бродя близ тихих берегов,
Богатыря призрак огромный
Пугал пустынных рыбаков.

## Песнь третия

Напрасно вы в тени таились
Для мирных, счастливых друзей,
Стихи мои! Вы не сокрылись
От гневных зависти очей.
Уж бледный критик, ей в услугу,
Вопрос мне сделал роковой:
Зачем Русланову подругу,
Как бы на смех ее супругу,
Зову и девой и княжной?
Ты видишь, добрый мой читатель,
Тут злобы черную печать!
Скажи, Зоил, скажи, предатель,
Ну как и что мне отвечать?
Красней, несчастный, бог с тобою!
Красней, я спорить не хочу;
Довольный тем, что прав душою,
В смиренной кротости молчу.
Но ты поймешь меня, Климена,
Потупишь томные глаза,
Ты, жертва скучного Гимена...
Я вижу: тайная слеза
Падет на стих мой, сердцу внятный;
Ты покраснела, взор погас;
Вздохнула молча... вздох понятный!
Ревнивец: бойся, близок час;
Амур с Досадой своенравной
Вступили в смелый заговор,
И для главы твоей бесславной
Готов уж мстительный убор.

Уж утро хладное сияло
На темени полнощных гор;
Но в дивном замке всё молчало.
В досаде скрытой Черномор,
Без шапки, в утреннем халате,
Зевал сердито на кровати.
Вокруг брады его седой

Рабы толпились молчаливы,
И нежно гребень костяной
Расчесывал ее извивы;
Меж тем, для пользы и красы,
На бесконечные усы
Лились восточны ароматы,
И кудри хитрые вились;
Как вдруг, откуда ни возьмись,
В окно влетает змий крылатый:
Гремя железной чешуей,
Он в кольца быстрые согнулся,
И вдруг Наиной обернулся
Пред изумленною толпой.
„Приветствую тебя,—сказала,—
Собрат, издавна чтимый мной!
Досель я Черномора знала
Одною громкою молвой;
Но тайный рок соединяет
Теперь нас общею враждой;
Тебе опасность угрожает,
Нависла туча над тобой;
И голос оскорбленной чести
Меня к отмщению зовет“.

Со взором, полным хитрой лести,
Ей карла руку подает,
Вещая: „Дивная Наина!
Мне драгоценен твой союз.
Мы посрамим коварство Финна;
Но мрачных козней не боюсь:
Противник слабый мне не страшен;
Узнай чудесный жребий мой:
Сей благодатной бородой
Недаром Черномор украшен.
Доколь власов ее седых
Враждебный меч не перерубит,
Никто из витязей лихих,
Никто из смертных не погубит
Малейших замыслов моих;
Моею будет век Людмила,

Руслан же гробу обречен!"
И мрачно ведьма повторила:
„Погибнет он! погибнет он!"
Потом три раза прошипела;
Три раза топнула ногой,
И черным змием улетела.

Блистая в ризе парчевой,
Колдун, колдуньей ободренный,
Развеселясь, решился вновь
Нести к ногам девицы пленной
Усы, покорность и любовь.
Разряжен карлик бородатый,
Опять идет в ее палаты;
Проходит длинный комнат ряд:
Княжны в них нет. Он дале в сад,
В лавровый лес, к решетке сада,
Вдоль озера, вкруг водопада,
Под мостики, в беседки... нет!
Княжна ушла, пропал и след!
Кто выразит его смущенье,
И рев, и трепет исступленья?
С досады дня не взвидел он.
Раздался карлы дикий стон:
„Сюда, невольники, бегите!
Сюда, надеюсь я на вас!
Сейчас Людмилу мне сыщите!
Скорее, слышите ль? сейчас!
Не то — шутите вы со мною —
Всех удавлю вас бородою!"

Читатель, расскажу ль тебе,
Куда красавица девалась?
Всю ночь она своей судьбе
В слезах дивилась и — смеялась.
Ее пугала борода,
Но Черномор уж был известен,
И был смешон, а никогда
Со смехом ужас несовместен.
Навстречу утренним лучам

Постель оставила Людмила,
И взор невольный обратила
К высоким, чистым зеркалам;
Невольно кудри золотые
С лилейных плеч приподняла;
Невольно волосы густые
Рукой небрежной заплела;
Свои вчерашние наряды
Нечаянно в углу нашла;
Вздохнув, оделась и с досады
Тихонько плакать начала;
Однако с верного стекла
Вздыхая не сводила взора,
И девице пришло на ум,
В волненьи своенравных дум,
Примерять шапку Черномора.
Всё тихо, никого здесь нет;
Никто на девушку не взглянет...
А девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет!
Рядиться никогда не лень!
Людмила шапкой завертела;
На брови, прямо, набекрень,
И задом наперед надела.
И что ж? о чудо старых дней!
Людмила в зеркале пропала;
Перевернула — перед ней
Людмила прежняя предстала;
Назад надела — снова нет;
Сняла — и в зеркале! „Прекрасно!
Добро, колдун, добро, мой свет!
Теперь мне здесь уж безопасно;
Теперь избавлюсь от хлопот!"
И шапку старого злодея
Княжна, от радости краснея,
Надела задом наперед.

Но возвратимся же к герою.
Не стыдно ль заниматься нам
Так долго шапкой, бородою,

Руслана поруча судьбам?
Свершив с Рогдаем бой жестокий,
Проехал он дремучий лес;
Пред ним открылся дол широкий,
При блеске утренних небес.
Трепещет витязь поневоле:
Он видит старой битвы поле.
Вдали всё пусто; здесь и там
Желтеют кости; по холмам
Разбросаны колчаны, латы;
Где сбруя, где заржавый щит;
В костях руки здесь меч лежит;
Травой оброс там шлем косматый,
И старый череп тлеет в нем;
Богатыря там остов целый
С его поверженным конем
Лежит недвижный; копья, стрелы
В сырую землю вонзены,
И мирный плющ их обвивает...
Ничто безмолвной тишины
Пустыни сей не возмущает,
И солнце с ясной вышины
Долину смерти озаряет.

Со вздохом витязь вкруг себя
Взирает грустными очами.
„О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?
Чей борзый конь тебя топтал
В последний час кровавой битвы?
Кто на тебе со славой пал?
Чьи небо слышало молитвы?
Зачем же, поле, смолкло ты
И поросло травой забвенья?..
Времен от вечной темноты,
Быть может, нет и мне спасенья!
Быть может, на холме немом
Поставят тихий гроб Русланов,
И струны громкие Баянов
Не будут говорить о нем!“

Но вскоре вспомнил витязь мой,
Что добрый меч герою нужен
И даже панцырь; а герой
С последней битвы безоружен.
Обходит поле он вокруг;
В кустах, среди костей забвенных,
В громаде тлеющих кольчуг,
Мечей и шлемов раздробленных
Себе доспехов ищет он.
Проснулись гул и степь немая,
Поднялся в поле треск и звон;
Он поднял щит, не выбирая,
Нашел и шлем и звонкий рог;
Но лишь меча сыскать не мог.
Долину брани объезжая,
Он видит множество мечей,
Но все легки, да слишком малы,
А князь красавец был не вялый,
Не то, что витязь наших дней.
Чтоб чем-нибудь играть от скуки,
Копье стальное взял он в руки,
Кольчугу он надел на грудь
И далее пустился в путь.

Уж побледнел закат румяный
Над усыпленною землей;
Дымятся синие туманы
И всходит месяц золотой;
Померкла степь. Тропою темной
Задумчив едет наш Руслан,
И видит: сквозь ночной туман
Вдали чернеет холм огромный,
И что-то страшное храпит.
Он ближе к холму, ближе — слышит:
Чудесный холм как будто дышит.
Руслан внимает и глядит
Бестрепетно, с покойным духом;
Но, шевеля пугливым ухом,
Конь упирается, дрожит,
Трясет упрямой головою,

И грива дыбом поднялась.
Вдруг холм, безоблачной луною
В тумане бледно озарясь,
Яснеет; смотрит храбрый князь —
И чудо видит пред собою.
Найду ли краски и слова?
Пред ним живая голова.
Огромны очи сном объяты;
Храпит, качая шлем пернатый,
И перья в темной высоте,
Как тени, ходят, развеваясь.
В своей ужасной красоте
Над мрачной степью возвышаясь,
Безмолвием окружена,
Пустыни сторож безымянный,
Руслану предстоит она
Громадой грозной и туманной.
В недоуменьи хочет он
Таинственный разрушить сон.
Вблизи осматривая диво,
Объехал голову кругом,
И стал пред носом молчаливо;
Щекотит ноздри копием,
И, сморщась, голова зевнула,
Глаза открыла и чихнула...
Поднялся вихорь, степь дрогнула,
Взвилася пыль; с ресниц, с усов,
С бровей слетела стая сов.
Проснулись рощи молчаливы,
Чихнуло эхо — конь ретивый
Заржал, запрыгал, отлетел,
Едва сам витязь усидел,
И вслед раздался голос шумный:
„Куда ты, витязь неразумный?
Ступай назад; я не шучу!
Как раз нахала проглочу!“
Руслан с презреньем оглянулся,
Браздами удержал коня,
И с гордым видом усмехнулся.
„Чего ты хочешь от меня? —

Нахмурясь, голова вскричала. —
Вот гостя мне судьба послала!
Послушай, убирайся прочь!
Я спать хочу, теперь уж ночь,
Прощай!“ Но витязь знаменитый,
Услыша грубые слова,
Воскликнул с важностью сердитой:
„Молчи, пустая голова!
Слыхал я истину бывало:
Хоть лоб широк, да мозгу мало!
Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!“

Тогда, от ярости немея,
Стесненной злобой пламенея,
Надулась голова: как жар,
Кровавы очи засверкали;
Напенясь, губы задрожали,
Из уст, ушей поднялся пар —
И вдруг она, что было мочи,
Навстречу князю стала дуть;
Напрасно конь, зажмуря очи,
Склонив главу, натужа грудь,
Сквозь вихорь, дождь и сумрак ночи
Неверный продолжает путь;
Объятый страхом, ослепленный,
Он мчится вновь, изнеможенный,
Далече в поле отдохнуть.
Вновь обратиться витязь хочет —
Вновь отражен, надежды нет!
А голова ему вослед,
Как сумасшедшая, хохочет,
Гремит: „Ай, витязь! ай, герой!
Куда ты? тише, тише, стой!
Эй, витязь, шею сломишь даром;
Не трусь, наездник, и меня
Порадуй хоть одним ударом,
Пока не заморил коня“.
И между тем она героя
Дразнила страшным языком.

Руслан, досаду в сердце кроя,
Грозит ей молча копием,
Трясет его рукой свободной,
И, задрожав, булат холодный
Вонзился в дерзостный язык.
И кровь из бешеного зева
Рекою побежала вмиг.
От удивленья, боли, гнева,
В минуту дерзости лишась,
На князя голова глядела,
Железо грызла и бледнела.
В спокойном духе горячась,
Так иногда средь нашей сцены
Плохой питомец Мельпомены,
Внезапным свистом оглушен,
Уж ничего не видит он,
Бледнеет, ролю забывает,
Дрожит, поникнув головой,
И заикаясь умолкает
Перед насмешливой толпой.
Счастливым пользуясь мгновеньем,
К объятой голове смущеньем,
Как ястреб, богатырь летит
С подъятой, грозною десницей,
И в щеку тяжкой рукавицей
С размаху голову разит;
И степь ударом огласилась;
Кругом росистая трава
Кровавой пеной обагрилась,
И, зашатавшись, голова
Перевернулась, покатилась,
И шлем чугунный застучал.
Тогда на месте опустелом
Меч богатырский засверкал.
Наш витязь в трепете веселом
Его схватил, и к голове
По окровавленной траве
Бежит с намереньем жестоким
Ей нос и уши обрубить;
Уже Руслан готов разить,

Уже взмахнул мечом широким —
Вдруг, изумленный, внемлет он
Главы молящей жалкий стон...
И тихо меч он опускает,
В нем гнев свирепый умирает,
И мщенье бурное падет
В душе, моленьем усмиренной:
Так на долине тает лед,
Лучом полудня пораженный.

„Ты вразумил меня, герой, —
Со вздохом голова сказала: —
Твоя десница доказала,
Что я виновен пред тобой;
Отныне я тебе послушен;
Но, витязь, будь великодушен!
Достоин плача жребий мой.
И я был витязь удалой!
В кровавых битвах супостата
Себе я равного не зрел;
Счастлив, когда бы не имел
Соперником меньшого брата!
Коварный, злобный Черномор,
Ты, ты всех бед моих виною!
Семейства нашего позор,
Рожденный карлой, с бородою,
Мой дивный рост от юных дней
Не мог он без досады видеть,
И стал за то в душе своей
Меня, жестокий, ненавидеть.
Я был всегда немного прост,
Хотя высок; а сей несчастный,
Имея самый глупый рост,
Умен как бес — и зол ужасно.
Притом же, знай, к моей беде,
В его чудесной бороде
Таится сила роковая,
И, всё на свете презирая —
Доколе борода цела —
Изменник не страшится зла.

Вот он однажды с видом дружбы,
„Послушай, — хитро мне сказал, —
Не откажись от важной службы:
Я в черных книгах отыскал,
Что за восточными горами
На тихих моря берегах,
В глухом подвале, под замками
Хранится меч — и что же? страх!
Я разобрал во тьме волшебной,
Что волею судьбы враждебной
Сей меч известен будет нам;
Что нас он обоих погубит:
Мне бороду мою отрубит,
Тебе главу; суди же сам,
Сколь важно нам приобретенье
Сего созданья злых духов!“ —
„Ну, что же? где тут затрудненье? —
Сказал я карле, — я готов;
Иду, хоть за пределы света“.
И сосну на плечо взвалил,
А на другое для совета
Злодея брата посадил;
Пустился в дальную дорогу,
Шагал, шагал и, слава богу,
Как бы пророчеству на зло,
Всё счастливо сначала шло.
За отдаленными горами
Нашли мы роковой подвал;
Я разметал его руками,
И потаенный меч достал.
Но нет! судьба того хотела:
Меж нами ссора закипела —
И было, признаюсь, о чем!
Вопрос: кому владеть мечом?
Я спорил, карла горячился;
Бранились долго; наконец
Уловку выдумал хитрец,
Притих и будто бы смягчился.
„Оставим бесполезный спор, —
Сказал мне важно Черномор: —

Мы тем союз наш обесславим;
Рассудок в мире жить велит;
Судьбе решить мы предоставим,
Кому сей меч принадлежит.
К земле приникнем ухом оба
(Чего не выдумает злоба!),
И кто услышит первый звон,
Тот и владей мечом до гроба".—
Сказал и лег на землю он.
Я сдуру также растянулся;
Лежу, не слышу ничего,
Смекая: обману его!
Но сам жестоко обманулся.
Злодей в глубокой тишине,
Привстав, на цыпочках ко мне
Подкрался сзади, размахнулся;
Как вихорь свистнул острый меч,
И прежде, чем я оглянулся,
Уж голова слетела с плеч —
И сверхъестественная сила
В ней жизни дух остановила.
Мой остов терньем оброс;
Вдали, в стране, людьми забвенной,
Истлел мой прах непогребенный;
Но злобный карла перенес
Меня в сей край уединенный,
Где вечно должен был стеречь
Тобой сегодня взятый меч.
О витязь! ты храним судьбою,
Возьми его, и бог с тобою!
Быть может, на своем пути
Ты карла-чародея встретишь —
Ах, если ты его заметишь,
Коварству, злобе отомсти!
И наконец я счастлив буду,
Спокойно мир оставлю сей —
И в благодарности моей
Твою пощечину забуду".

## Песнь четвертая

Я каждый день, восстав от сна,
Благодарю сердечно бога
За то, что в наши времена
Волшебников не так уж много.
К тому же — честь и слава им! —
Женитьбы наши безопасны...
Их замыслы не так ужасны
Мужьям, девицам молодым.
Но есть волшебники другие,
Которых ненавижу я:
Улыбка, очи голубые
И голос милый — о друзья!
Не верьте им: они лукавы!
Страшитесь, подражая мне,
Их упоительной отравы,
И почивайте в тишине.

Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений,
Любви, мечтаний и чертей,
Могил и рая верный житель,
И музы ветреной моей
Наперсник, пестун и хранитель!
Прости мне, северный Орфей,
Что в повести моей забавной
Теперь во след тебе лечу,
И лиру музы своенравной
Во лжи прелестной обличу.

Друзья мои, вы все слыхали,
Как бесу в древни дни злодей
Предал сперва себя с печали,
А там и души дочерей;
Как после щедрым подаяньем,
Молитвой, верой, и постом,
И непритворным покаяньем
Снискал заступника в святом;

Как умер он, и как заснули
Его двенадцать дочерей:
И нас пленили, ужаснули
Картины тайных сих ночей,
Сии чудесные виденья,
Сей мрачный бес, сей божий гнев,
Живые грешника мученья
И прелесть непорочных дев.
Мы с ними плакали, бродили
Вокруг зубчатых зáмка стен,
И сердцем тронутым любили
Их тихий сон, их тихий плен;
Душой Вадима призывали,
И пробужденье зрели их,
И часто инокинь святых
На гроб отцовский провожали.
И что ж, возможно ль?.. нам солгали!
Дерзну ли истину вещать?
Дерзну ли ясно описать
Не монастырь уединенный,
Не робких инокинь собор,
Но... трепещу, в душе смущенный,
Дивлюсь — и потупляю взор.

Младой Ратмир, направя к югу
Нетерпеливый бег коня,
Уж думал пред закатом дня
Нагнать Русланову супругу.
Но день багряный вечерел;
Напрасно витязь пред собою
В туманы дальние смотрел:
Всё было пусто над рекою.
Зари последний луч горел
Над ярко-позлащенным бором.
Наш витязь мимо черных скал
Тихонько проезжал и взором
Ночлега меж дерев искал.
Он на долину выезжает,
И видит: зáмок на скалах
Зубчаты стены возвышает;

Чернеют башни на углах;
И дева по стене высокой,
Как в море лебедь одинокой,
Идет, зарей освещена;
И девы песнь едва слышна
Долины в тишине глубокой.

„Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный.
Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный.

Здесь ночью нега и покой,
А днем и шум и пированье.
Приди на дружное призванье,
Приди, о путник молодой!

У нас найдешь красавиц рой;
Их нежны речи и лобзанье.
Приди на тайное призванье,
Приди, о путник молодой!

Тебе мы с утренней зарей
Наполним кубок на прощанье.
Приди на мирное призванье,
Приди, о путник молодой!

Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный.
Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный“.

Она манит, она поет:
И юный хан уж под стеною;
Его встречают у ворот
Девицы красные толпою;
При шуме ласковых речей
Он окружен; с него не сводят
Они пленительных очей;
Две девицы коня уводят;

В чертоги входит хан младой,
За ним отшельниц милых рой;
Одна снимает шлем крылатый,
Другая кованые латы,
Та меч берет, та пыльный щит;
Одежда неги заменит
Железные доспехи брани.
Но прежде юношу ведут
К великолепной русской бани.
Уж волны дымные текут
В ее серебряные чаны,
И брызжут хладные фонтаны;
Разостлан роскошью ковер;
На нем усталый хан ложится;
Прозрачный пар над ним клубится;
Потупя неги полный взор,
Прелестные, полунагие,
В заботе нежной и немой,
Вкруг хана девы молодые
Теснятся резвою толпой.
Над рыцарем иная машет
Ветвями молодых берез,
И жар от них душистый пашет;
Другая соком вешних роз
Усталы члены прохлаждает,
И в ароматах потопляет
Темнокудрявые власы.
Восторгом витязь упоенный
Уже забыл Людмилы пленной
Недавно милые красы;
Томится сладостным желаньем;
Бродящий взор его блестит,
И, полный страстным ожиданьем,
Он тает сердцем, он горит.

Но вот выходит он из бани.
Одетый в бархатные ткани,
В кругу прелестных дев, Ратмир
Садится за богатый пир.
Я не Омер: в стихах высоких

„Руслан и Людмила“. С акварели *С. В. Малютина*

Он может воспевать один
Обеды греческих дружин
И звон и пену чаш глубоких.
Милее, по следам Парни,
Мне славить лирою небрежной
И наготу в ночной тени,
И поцелуй любови нежной!
Луною зàмок озарен;
Я вижу терем отдаленный,
Где витязь томный, воспаленный,
Вкушает одинокий сон;
Его чело, его ланиты
Мгновенным пламенем горят;
Его уста полуоткрыты
Лобзанье тайное манят;
Он страстно, медленно вздыхает,
Он видит их — и в пылком сне
Покровы к сердцу прижимает.
Но вот в глубокой тишине
Дверь отворилась; пол ревнивый
Скрыпит под ножкой торопливой,
И при серебряной луне
Мелькнула дева. Сны крылаты,
Сокройтесь, отлетите прочь!
Проснись — твоя настала ночь!
Проснися — дорог миг утраты!..
Она подходит, он лежит,
И в сладострастной неге дремлет;
Покров его с одра скользит,
И жаркий пух чело объемлет.
В молчаньи дева перед ним
Стоит недвижно, бездыханна,
Как лицемерная Диана
Пред милым пастырем своим;
И вот она, на ложе хана
Коленом опершись одним,
Вздохнув, лицо к нему склоняет
С томленьем, с трепетом живым,
И сон счастливца прерывает
Лобзаньем страстным и немым...

Но, други, девственная лира
Умолкла под моей рукой;
Слабеет робкий голос мой —
Оставим юного Ратмира;
Не смею песней продолжать:
Руслан нас должен занимать,
Руслан, сей витязь беспримерный,
В душе герой, любовник верный.
Упорным боем утомлен,
Под богатырской головою
Он сладостный вкушает сон.
Но вот уж раннею зарею
Сияет тихий небосклон;
Всё ясно; утра луч игривый
Главы косматый лоб златит.
Руслан встает, и конь ретивый
Уж витязя стрелою мчит.

И дни бегут; желтеют нивы;
С дерев спадает дряхлый лист;
В лесах осенний ветра свист
Певиц пернатых заглушает;
Тяжелый, пасмурный туман
Нагие холмы обвивает;
Зима приблизилась — Руслан
Свой путь отважно продолжает
На дальний север; с каждым днем
Преграды новые встречает:
То бьется он с богатырем,
То с ведьмою, то с великаном,
То лунной ночью видит он,
Как будто сквозь волшебный сон,
Окружены седым туманом,
Русалки, тихо на ветвях
Качаясь, витязя младого
С улыбкой хитрой на устах
Манят, не говоря ни слова...
Но тайным промыслом храним,
Бесстрашный витязь невредим;
В его душе желанье дремлет,

Он их не видит, им не внемлет,
Одна Людмила всюду с ним.

Но между тем, никем не зрима,
От нападений колдуна
Волшебной шапкою хранима,
Что делает моя княжна,
Моя прекрасная Людмила?
Она, безмолвна и уныла,
Одна гуляет по садам,
О друге мыслит и вздыхает,
Иль, волю дав своим мечтам,
К родимым киевским полям
В забвеньи сердца улетает;
Отца и братьев обнимает,
Подружек видит молодых
И старых мамушек своих —
Забыты плен и разлученье!
Но вскоре бедная княжна
Свое теряет заблужденье,
И вновь уныла и одна.
Рабы влюбленного злодея,
И день и ночь, сидеть не смея,
Меж тем по зàмку, по садам
Прелестной пленницы искали,
Метались, громко призывали,
Однако всё по пустякам.
Людмила ими забавлялась:
В волшебных рощах иногда
Без шапки вдруг она являлась,
И кликала: сюда, сюда!
И все бросались к ней толпою;
Но в сторону — незрима вдруг —
Она неслышною стопою
От хищных убегала рук.
Везде всечасно замечали
Ее минутные следы:
То позлащенные плоды
На шумных ветвях изчезали,
То капли ключевой воды

На луг измятый упадали:
Тогда наверно в зàмке знали,
Что пьет иль кушает княжна.
На ветвях кедра иль березы
Скрываясь по ночам, она
Минутного искала сна —
Но только проливала слезы,
Звала супруга и покой,
Томилась грустью и зевотой,
И редко, редко пред зарей,
Склонясь ко древу головой,
Дремала тонкою дремотой;
Едва редела ночи мгла,
Людмила к водопаду шла
Умыться хладною струею:
Сам карла утренней порою
Однажды видел из палат,
Как под невидимой рукою
Плескал и брызгал водопад.
С своей обычною тоскою
До новой ночи, здесь и там,
Она бродила по садам;
Нередко под вечер слыхали
Ее приятный голосок;
Нередко в рощах поднимали
Иль ею брошенный венок,
Или клочки персидской шали,
Или заплаканный платок.

Жестокой страстью уязвленный,
Досадой, злобой омраченный,
Колдун решился наконец
Поймать Людмилу непременно.
Так Лемноса хромой кузнец,
Прияв супружеский венец
Из рук прелестной Цитереи,
Раскинул сеть ее красам,
Открыв насмешливым богам
Киприды нежные затеи...

Скучая, бедная княжна
В прохладе мраморной беседки
Сидела тихо близ окна
И сквозь колеблемые ветки
Смотрела на цветущий луг.
Вдруг слышит — кличут: „милый друг!“
И видит верного Руслана.
Его черты, походка, стан;
Но бледен он, в очах туман
И на бедре живая рана —
В ней сердце дрогнуло. „Руслан!
Руслан!.. он точно!“ И стрелою
К супругу пленница летит,
В слезах, трепеща, говорит:
„Ты здесь... ты ранен... что с тобою?“
Уже достигла, обняла:
О ужас... призрак изчезает!
Княжна в сетях; с ее чела
На землю шапка упадает.
Хладея, слышит грозный крик:
„Она моя!“ и в тот же миг
Зрит колдуна перед очами.
Раздался девы жалкий стон,
Падет без чувств — и дивный сон
Объял несчастную крылами.

Что будет с бедною княжной!
О страшный вид: волшебник хилый
Ласкает дерзостной рукой
Младые прелести Людмилы;
К ее пленительным устам
Прильнув увядшими устами,
Он, вопреки своим годам,
Уж мыслит хладными трудами
Сорвать сей нежный, тайный цвет,
Хранимый Лелем для другого;
Уже... но бремя поздних лет
Тягчит бесстыдника седого —
Стоная, дряхлый чародей
В бессильной дерзости своей

Пред сонной девой упадает;
В нем сердце ноет, плачет он,
Но вдруг раздался рога звон,
И кто-то карлу вызывает.
В смятеньи, бледный чародей
На деву шапку надевает;
Трубят опять; звучней, звучней!
И он летит к безвестной встрече,
Закинув бороду за плечи.

## Песнь пятая

Ах, как мила моя княжна!
Мне нрав ее всего дороже:
Она чувствительна, скромна,
Любви супружеской верна,
Немножко ветрена... так что же?
Еще милее тем она.
Всечасно прелестию новой
Умеет нас она пленить;
Скажите: можно ли сравнить
Ее с Дельфирою суровой?
Одной — судьба послала дар
Обворожать сердца и взоры;
Ее улыбка, разговоры
Во мне любви рождают жар.
А та — под юбкою гусар,
Лишь дайте ей усы да шпоры!
Блажен, кого под вечерок
В уединенный уголок
Моя Людмила поджидает
И другом сердца назовет:
Но, верьте мне, блажен и тот,
Кто от Дельфиры убегает
И даже с нею незнаком.
Да впрочем дело не о том!
Но кто трубил? Кто чародея
На сечу грозну вызывал?
Кто колдуна перепугал?
Руслан. Он, местью пламенея,
Достиг обители злодея.
Уж витязь под горой стоит,
Призывный рог, как буря, воет,
Нетерпеливый конь кипит
И снег копытом мочным роет.
Князь карлу ждет. Внезапно он
По шлему крепкому стальному
Рукой незримой поражен;
Удар упал подобно грому;

Руслан подъемлет смутный взор,
И видит — прямо над главою —
С подъятой, страшной булавою
Летает карла Черномор.
Щитом покрывшись, он нагнулся,
Мечом потряс и замахнулся;
Но тот взвился под облака;
На миг исчез — и свысока
Шумя летит на князя снова.
Проворный витязь отлетел,
И в снег с размаха рокового
Колдун упал — да там и сел;
Руслан, не говоря ни слова,
С коня долой, к нему спешит,
Поймал, за бороду хватает,
Волшебник силится, кряхтит,
И вдруг с Русланом улетает...
Ретивый конь вослед глядит;
Уже колдун под облаками;
На бороде герой висит;
Летят над мрачными лесами,
Летят над дикими горами,
Летят над бездною морской;
От напряженья костенея,
Руслан за бороду злодея
Упорной держится рукой.
Меж тем, на воздухе слабея
И силе русской изумясь,
Волшебник гордому Руслану
Коварно молвит: „Слушай, князь!
Тебе вредить я перестану;
Младое мужество любя,
Забуду всё, прощу тебя,
Спущусь — но только с уговором...“ —
„Молчи, коварный чародей! —
Прервал наш витязь: — с Черномором,
С мучителем жены своей,
Руслан не знает договора!
Сей грозный меч накажет вора.
Лети хоть до ночной звезды,

А быть тебе без бороды!“
Боязнь объемлет Черномора;
В досаде, в горести немой,
Напрасно длинной бородой
Усталый карла потрясает:
Руслан ее не выпускает
И щиплет волосы порой.
Два дни колдун героя носит,
На третий он пощады просит:
„О рыцарь, сжалься надо мной;
Едва дышу; нет мочи боле;
Оставь мне жизнь, в твоей я воле;
Скажи — спущусь, куда велишь...“ —
„Теперь ты наш; ага, дрожишь!
Смирись, покорствуй русской силе!
Неси меня к моей Людмиле“.

Смиренно внемлет Черномор;
Домой он с витязем пустился;
Летит — и мигом очутился
Среди своих ужасных гор.
Тогда Руслан одной рукою
Взял меч сраженной головы,
И, бороду схватив другою,
Отсек ее, как горсть травы.
„Знай наших! — молвил он жестоко, —
Что, хищник, где твоя краса?
Где сила?“ и на шлем высокой
Седые вяжет волоса;
Свистя зовет коня лихого;
Веселый конь летит и ржет;
Наш витязь карлу чуть живого
В котомку за седло кладет,
А сам, боясь мгновенья траты,
Спешит на верх горы крутой,
Достиг, и с радостной душой
Летит в волшебные палаты.
Вдали завидя шлем брадатый,
Залог победы роковой,
Пред ним арапов чудный рой,

Толпы невольниц боязливых,
Как призраки, со всех сторон
Бегут — и скрылись. Ходит он
Один средь храмин горделивых,
Супругу милую зовет —
Лишь эхо сводов молчаливых
Руслану голос подает;
В волненьи чувств нетерпеливых
Он отворяет двери в сад —
Идет, идет — и не находит;
Кругом смущенный взор обводит —
Всё мертво: рощицы молчат,
Беседки пусты; на стремнинах,
Вдоль берегов ручья, в долинах,
Нигде Людмилы следу нет,
И ухо ничего не внемлет.
Внезапный князя хлад объемлет,
В очах его темнеет свет,
В уме возникли мрачны думы...
„Быть может, горесть... плен угрюмый...
Минута... волны...“ В сих мечтах
Он погружен. С немой тоскою
Поникнул витязь головою;
Его томит невольный страх;
Недвижим он, как мертвый камень;
Мрачится разум; дикий пламень
И яд отчаянной любви
Уже текут в его крови.
Казалось — тень княжны прекрасной
Коснулась трепетным устам...
И вдруг, неистовый, ужасный,
Стремится витязь по садам;
Людмилу с воплем призывает,
С холмов утесы отрывает,
Всё рушит, всё крушит мечом —
Беседки, рощи упадают,
Древа, мосты в волнах ныряют,
Степь обнажается кругом!
Далеко гулы повторяют
И рев, и треск, и шум, и гром;

Повсюду меч звенит и свищет,
Прелестный край опустошен —
Безумный витязь жертвы ищет,
С размаха вправо, влево он
Пустынный воздух рассекает...
И вдруг — нечаянный удар
С княжны невидимой сбивает
Прощальный Черномора дар...
Волшебства вмиг изчезла сила:
В сетях открылася Людмила!
Не веря сам своим очам,
Нежданным счастьем упоенный,
Наш витязь падает к ногам
Подруги верной, незабвенной,
Целует руки, сети рвет,
Любви, восторга слезы льет,
Зовет ее — но дева дремлет,
Сомкнуты очи и уста,
И сладострастная мечта
Младую грудь ее подъемлет.
Руслан с нее не сводит глаз,
Его терзает вновь кручина...
Но вдруг знакомый слышит глас,
Глас добродетельного Финна:

„Мужайся, князь! В обратный путь
Ступай со спящею Людмилой;
Наполни сердце новой силой,
Любви и чести верен будь.
Небесный гром на злобу грянет,
И воцарится тишина —
И в светлом Киеве княжна
Пéред Владимиром восстанет
От очарованного сна“.

Руслан, сим гласом оживленный,
Берет в объятия жену,
И тихо с ношей драгоценной
Он оставляет вышину,
И сходит в дол уединенный.

В молчаньи, с карлой за седлом,
Поехал он своим путем;
В его руках лежит Людмила,
Свежа, как вешняя заря,
И на плечо богатыря
Лицо спокойное склонила.
Власами, свитыми в кольцо,
Пустынный ветерок играет;
Как часто грудь ее вздыхает!
Как часто тихое лицо
Мгновенной розою пылает!
Любовь и тайная мечта
Русланов образ ей приносят,
И с томным шопотом уста
Супруга имя произносят...
В забвеньи сладком ловит он
Ее волшебное дыханье,
Улыбку, слезы, нежный стон
И сонных персей волнованье...

Меж тем, по долам, по горам,
И в белый день, и по ночам,
Наш витязь едет непрестанно.
Еще далек предел желанный,
А дева спит. Но юный князь,
Бесплодным пламенем томясь,
Ужель, страдалец постоянный,
Супругу только сторожил,
И в целомудренном мечтанье,
Смирив нескромное желанье,
Свое блаженство находил?
Монах, который сохранил
Потомству верное преданье
О славном витязе моем,
Нас уверяет смело в том:
И верю я! Без разделенья
Унылы, грубы наслажденья:
Мы прямо счастливы вдвоем.
Пастушки, сон княжны прелестной
Не походил на ваши сны,

Порой томительной весны,
На мураве, в тени древесной.
Я помню маленький лужок
Среди березовой дубравы,
Я помню темный вечерок,
Я помню Лиды сон лукавый...
Ах, первый поцелуй любви,
Дрожащий, легкий, торопливый
Не разогнал, друзья мои,
Ее дремоты терпеливой...
Но полно, я болтаю вздор!
К чему любви воспоминанье?
Ее утеха и страданье
Забыты мною с давних пор;
Теперь влекут мое вниманье
Княжна, Руслан и Черномор.

Пред ними стелется равнина,
Где ели изредка взошли;
И грозного холма вдали
Чернеет круглая вершина
Небес на яркой синеве.
Руслан глядит — и догадался,
Что подъезжает к голове;
Быстрее борзый конь помчался;
Уж видно чудо из чудес;
Она глядит недвижным оком;
Власы ее как черный лес,
Поросший на челе высоком;
Ланиты жизни лишены;
Свинцовой бледностью покрыты,
Уста огромные открыты,
Огромны зубы стеснены...
Над полумертвой головою
Последний день уж тяготел.
К ней храбрый витязь прилетел
С Людмилой, с карлой за спиною.
Он крикнул: „Здравствуй, голова!
Я здесь! наказан твой изменник!
Гляди: вот он, злодей наш пленник!“

И князя гордые слова
Ее внезапно оживили,
На миг в ней чувство разбудили,
Очнулась будто ото сна,
Взглянула, страшно застонала...
Узнала витязя она
И брата с ужасом узнала.
Надулись ноздри; на щеках
Багровый огнь еще родился,
И в умирающих глазах
Последний гнев изобразился.
В смятеньи, в бешенстве немом
Она зубами скрежетала,
И брату хладным языком
Укор невнятный лепетала...
Уже ее в тот самый час
Кончалось долгое страданье:
Чела мгновенный пламень гас,
Слабело тяжкое дыханье,
Огромный закатился взор,
И вскоре князь и Черномор
Узрели смерти содроганье...
Она почила вечным сном.
В молчаньи витязь удалился:
Дрожащий карлик за седлом
Не смел дышать, не шевелился,
И чернокнижным языком
Усердно демонам молился.

На склоне темных берегов
Какой-то речки безымянной,
В прохладном сумраке лесов,
Стоял поникшей хаты кров,
Густыми соснами венчанный.
В теченьи медленном река
Вблизи плетень из тростника
Волною сонной омывала,
И вкруг него едва журчала
При легком шуме ветерка.
Долина в сих местах таилась,

Уединенна и темна;
И там, казалось, тишина
С начала мира воцарилась.
Руслан остановил коня.
Всё было тихо, безмятежно;
От рассветающего дня
Долина с рощею прибрежной
Сквозь утренний сияла дым.
Руслан на луг жену слагает,
Садится близ нее, вздыхает
С уныньем сладким и немым;
И вдруг он видит пред собою
Смиренный парус челнока,
И слышит песню рыбака
Над тихоструйною рекою.
Раскинув невод по волнам,
Рыбак, на весла наклоненный,
Плывет к лесистым берегам,
К порогу хижины смиренной.
И видит добрый князь Руслан:
Челнок ко брегу приплывает;
Из темной хаты выбегает
Младая дева; стройный стан,
Власы, небрежно распущенны,
Улыбка, тихий взор очей,
И грудь, и плечи обнаженны,
Всё мило, всё пленяет в ней.
И вот они, обняв друг друга,
Садятся у прохладных вод,
И час беспечного досуга
Для них с любовью настает.
Но в изумленьи молчаливом
Кого же в рыбаке счастливом
Наш юный витязь узнает?
Хазарский хан, избранный славой,
Ратмир, в любви, в войне кровавой
Его соперник молодой,
Ратмир, в пустыне безмятежной
Людмилу, славу позабыл
И им навеки изменил
В объятиях подруги нежной.

Герой приблизился, и вмиг
Отшельник узнает Руслана,
Встает, летит. Раздался крик...
И обнял князь младого хана.
„Что вижу я! — спросил герой,—
Зачем ты здесь, зачем оставил
Тревоги жизни боевой,
И меч, который ты прославил?“ —
„Мой друг,— ответствовал рыбак,—
Душе наскучил бранной славы
Пустой и гибельный призрак.
Поверь: невинные забавы,
Любовь и мирные дубравы
Милее сердцу во сто крат —
Теперь, утратив жажду брани,
Престал платить безумству дани,
И, верным счастием богат,
Я всё забыл, товарищ милый,
Всё, даже прелести Людмилы“.—
„Любезный хан, я очень рад! —
Сказал Руслан: — она со мною“.—
„Возможно ли, какой судьбою?
Что слышу? Русская княжна...
Она с тобою, где ж она?
Позволь... но нет, боюсь измены;
Моя подруга мне мила;
Моей счастливой перемены
Она виновницей была;
Она мне жизнь, она мне радость!
Она мне возвратила вновь
Мою утраченную младость,
И мир, и чистую любовь.
Напрасно счастье мне сулили
Уста волшебниц молодых;
Двенадцать дев меня любили:
Я для нее покинул их;
Оставил терем их веселый
В тени хранительных дубров;
Сложил и меч и шлем тяжелый,
Забыл и славу и врагов.

Отшельник мирный и безвестный,
Остался в счастливой глуши,
С тобой, друг милый, друг прелестный,
С тобою, свет моей души!“

Пастушка милая внимала
Друзей открытый разговор,
И, устремив на хана взор,
И улыбалась и вздыхала.

Рыбак и витязь на брегах
До темной ночи просидели
С душой и сердцем на устах —
Часы невидимо летели.
Чернеет лес, темна гора;
Встает луна — всё тихо стало;
Герою в путь давно пора —
Накинув тихо покрывало
На деву спящую, Руслан
Идет и на коня садится;
Задумчиво безмолвный хан
Душой вослед ему стремится,
Руслану счастия, побед
И славы и любви желает...
И думы гордых, юных лет
Невольной грустью оживляет...

Зачем судьбой не суждено
Моей непостоянной лире
Геройство воспевать одно,
И с ним (незнаемые в мире)
Любовь и дружбу старых лет?
Печальной истины поэт,
Зачем я должен для потомства
Порок и злобу обнажать,
И тайны козни вероломства
В правдивых песнях обличать?

Княжны искатель недостойный,
Охоту к славе потеряв,

Никем не знаемый Фарлаф
В пустыне дальной и спокойной
Скрывался и Наины ждал.
И час торжественный настал.
К нему волшебница явилась,
Вещая: „Знаешь ли меня?
Ступай за мной; седлай коня!“
И ведьма кошкой обратилась;
Оседлан конь, она пустилась;
Тропами мрачными дубрав
За нею следует Фарлаф.

Долина тихая дремала,
В ночной одетая туман,
Луна во мгле перебегала
Из тучи в тучу и курган
Мгновенным блеском озаряла.
Под ним в безмолвии Руслан
Сидел с обычною тоскою
Пред усыпленною княжною.
Глубоку думу думал он,
Мечты летели за мечтами,
И неприметно веял сон
Над ним холодными крылами.
На деву смутными очами
В дремоте томной он взглянул,
И, утомленною главою
Склонясь к ногам ее, заснул.

И снится вещий сон герою:
Он видит, будто бы княжна
Над страшной бездны глубиною
Стоит недвижна и бледна...
И вдруг Людмила исчезает,
Стоит один над бездной он...
Знакомый глас, призывный стон
Из тихой бездны вылетает...
Руслан стремился за женой;
Стремглав летит во тьме глубокой...
И видит вдруг перед собой:

Владимир, в гриднице высокой,
В кругу седых богатырей,
Между двенадцатью сынами,
С толпою названных гостей
Сидит за браными столами.
И так же гневен старый князь,
Как в день ужасный расставанья,
И все сидят не шевелясь,
Не смея перервать молчанья.
Утих веселый шум гостей,
Не ходит чаша круговая...
И видит он среди гостей,
В бою сраженного Рогдая:
Убитый, как живой, сидит;
Из опененного стакана
Он, весел, пьет и не глядит
На изумленного Руслана.
Князь видит и младого хана,
Друзей и недругов... и вдруг
Раздался гуслей беглый звук
И голос вещего Баяна,
Певца героев и забав.
Вступает в гридницу Фарлаф,
Ведет он за руку Людмилу;
Но старец, с места не привстав,
Молчит, склонив главу унылу,
Князья, бояре — все молчат,
Душевные движенья кроя.
И всё исчезло — смертный хлад
Объемлет спящего героя.
В дремоту тяжко погружен,
Он льет мучительные слезы,
В волненьи мыслит: это сон!
Томится, но зловещей грезы,
Увы, прервать не в силах он.

Луна чуть светит над горою;
Объяты рощи темнотою,
Долина в мертвой тишине...
Изменник едет на коне.

Пред ним открылася поляна;
Он видит сумрачный курган;
У ног Людмилы спит Руслан,
И ходит конь кругом кургана.
Фарлаф с боязнию глядит;
В тумане ведьма исчезает,
В нем сердце замерло, дрожит,
Из хладных рук узду роняет,
Тихонько обнажает меч,
Готовясь витязя без боя
С размаха надвое рассечь...
К нему подъехал. Конь героя,
Врага почуя, закипел,
Заржал и топнул. Знак напрасный!
Руслан не внемлет; сон ужасный,
Как груз, над ним отяготел!..
Изменник, ведьмой ободренный,
Герою в грудь рукой презренной
Вонзает трижды хладну сталь...
И мчится боязливо вдаль
С своей добычей драгоценной.

Всю ночь бесчувственный Руслан
Лежал во мраке под горою.
Часы летели. Кровь рекою
Текла из воспаленных ран.
Поутру, взор открыв туманный,
Пуская тяжкий, слабый стон,
С усильем приподнялся он,
Взглянул, поник главою бранной —
И пал недвижный, бездыханный.

## Песнь шестая

Ты мне велишь, о друг мой нежный,
На лире легкой и небрежной
Старинны были напевать,
И музе верной посвящать
Часы бесценного досуга...
Ты знаешь, милая подруга:
Поссорясь с ветреной молвой,
Твой друг, блаженством упоенный,
Забыл и труд уединенный,
И звуки лиры дорогой.
От гармонической забавы
Я, негой упоен, отвык...
Дышу тобой — и гордой славы
Невнятен мне призывный клик!
Меня покинул тайный гений
И вымыслов, и сладких дум;
Любовь и жажда наслаждений
Одни преследуют мой ум.
Но ты велишь, но ты любила
Рассказы прежние мои,
Преданья славы и любви;
Мой богатырь, моя Людмила,
Владимир, ведьма, Черномор,
И Финна верные печали
Твое мечтанье занимали;
Ты, слушая мой легкий вздор,
С улыбкой иногда дремала;
Но иногда свой нежный взор
Нежнее на певца бросала...
Решусь; влюбленный говорун
Касаюсь вновь ленивых струн;
Сажусь у ног твоих и снова
Бренчу про витязя младого.

Но что сказал я? Где Руслан?
Лежит он мертвый в чистом поле;
Уж кровь его не льется боле,

Над ним летает жадный вран,
Безгласен рог, недвижны латы,
Не шевелится шлем косматый!

Вокруг Руслана ходит конь,
Поникнув гордой головою,
В его глазах исчез огонь!
Не машет гривой золотою,
Не тешится, не скачет он,
И ждет, когда Руслан воспрянет...
Но князя крепок хладный сон,
И долго щит его не грянет.

А Черномор? Он за седлом,
В котомке, ведьмою забытый,
Еще не знает ни о чем;
Усталый, сонный и сердитый
Княжну, героя моего
Бранил от скуки молчаливо;
Не слыша долго ничего,
Волшебник выглянул — о диво!
Он видит, богатырь убит;
В крови потопленный лежит;
Людмилы нет, всё пусто в поле;
Злодей от радости дрожит
И мнит: свершилось, я на воле!
Но старый карла был не прав.

Меж тем, Наиной осененный,
С Людмилой, тихо усыпленной,
Стремится к Киеву Фарлаф:
Летит, надежды, страха полный;
Пред ним уже днепровски волны
В знакомых пажитях шумят;
Уж видит златоверхий град;
Уже Фарлаф по граду мчится,
И шум на стогнах восстает;
В волненьи радостном народ
Валит за всадником, теснится;
Бегут обрадовать отца:
И вот изменник у крыльца.

Влача в душе печали бремя,
Владимир-солнышко в то время
В высоком тереме своем
Сидел, томясь привычной думой.
Бояре, витязи кругом
Сидели с важностью угрюмой.
Вдруг внемлет он: перед крыльцом
Волненье, крики, шум чудесный;
Дверь отворилась; перед ним
Явился воин неизвестный;
Все встали с шопотом глухим,
И вдруг смутились, зашумели:
„Людмила здесь! Фарлаф... ужели?“
В лице печальном изменясь,
Встает со стула старый князь,
Спешит тяжелыми шагами
К несчастной дочери своей,
Подходит; отчими руками
Он хочет прикоснуться к ней;
Но дева милая не внемлет,
И очарованная дремлет
В руках убийцы — все глядят
На князя в смутном ожиданьи;
И старец беспокойный взгляд
Вперил на витязя в молчаньи.
Но, хитро перст к устам прижав,
„Людмила спит, — сказал Фарлаф: —
Я так нашел ее недавно
В пустынных Муромских лесах
У злого лешего в руках;
Там совершилось дело славно;
Три дня мы билися; луна
Над боем трижды подымалась;
Он пал, а юная княжна
Мне в руки сонною досталась;
И кто прервет сей дивный сон?
Когда настанет пробужденье?
Не знаю — скрыт судьбы закон!
А нам надежда и терпенье
Одни остались в утешенье“.

И вскоре с вестью роковой
Молва по граду полетела;
Народа пестрою толпой
Градская площадь закипела;
Печальный терем всем открыт;
Толпа волнуется, валит
Туда, где на одре высоком,
На одеяле парчевом
Княжна лежит во сне глубоком;
Князья и витязи кругом
Стоят унылы; гласы трубны,
Рога, тимпаны, гусли, бубны
Гремят над нею; старый князь,
Тоской тяжелой изнурясь,
К ногам Людмилы сединами
Приник с безмолвными слезами;
И бледный близ него Фарлаф
В немом раскаяньи, в досаде,
Трепещет, дерзость потеряв.

Настала ночь. Никто во граде
Очей бессонных не смыкал;
Шумя, теснились все друг к другу;
О чуде всякой толковал;
Младой супруг свою супругу
В светлице скромной забывал.
Но только свет луны двурогой
Исчез пред утренней зарей,
Весь Киев новою тревогой
Смутился. Клики, шум и вой
Возникли всюду. Киевляне
Толпятся на стене градской...
И видят: в утреннем тумане
Шатры белеют за рекой;
Щиты, как зарево, блистают,
В полях наездники мелькают,
Вдали подъемля черный прах;
Идут походные телеги,
Костры пылают на холмах.
Беда: восстали печенеги!

Но в это время вещий Финн,
Духов могучий властелин,
В своей пустыне безмятежной,
С спокойным сердцем ожидал,
Чтоб день судьбины неизбежной,
Давно предвиденный, восстал.

В немой глуши степей горючих,
За дальной цепью диких гор,
Жилища ветров, бурь гремучих,
Куда и ведьмы смелый взор
Проникнуть в поздний час боится,
Долина чудная таится,
И в той долине два ключа;
Один течет волной *живою*,
По камням весело журча,
Тот льется *мертвою* водою;
Кругом всё тихо, ветры спят,
Прохлада вешняя не веет,
Столетни сосны не шумят,
Не вьются птицы, лань не смеет
В жар летний пить из тайных вод;
Чета духов с начала мира,
Безмолвная на лоне мира,
Дремучий берег стережет...
С двумя кувшинами пустыми
Предстал отшельник перед ними;
Прервали духи давний сон,
И удалились страха полны.
Склонившись, погружает он
Сосуды в девственные волны;
Наполнил, в воздухе пропал,
И очутился в два мгновенья
В долине, где Руслан лежал
В крови, безгласный, без движенья;
И стал над рыцарем старик,
И вспрыснул мертвою водою,
И раны засияли вмиг,
И труп чудесной красотою
Процвел; тогда водой живою

Героя старец окропил,
И бодрый, полный новых сил,
Трепеща жизнью молодою,
Встает Руслан, на ясный день
Очами жадными взирает,
Как безобразный сон, как тень,
Пред ним минувшее мелькает.
Но где Людмила? Он один!
В нем сердце вспыхнув замирает.
Вдруг витязь вспрянул; вещий Финн
Его зовет и обнимает:
„Судьба свершилась, о мой сын!
Тебя блаженство ожидает;
Тебя зовет кровавый пир;
Твой грозный меч бедою грянет;
На Киев снидет кроткий мир,
И там она тебе предстанет.
Возьми заветное кольцо,
Коснися им чела Людмилы,
И тайных чар исчезнут силы,
Врагов смутит твое лицо,
Настанет мир, погибнет злоба.
Достойны счастья будьте оба!
Прости надолго, витязь мой!
Дай руку... там, за дверью гроба —
Не прежде — свидимся с тобой!“
Сказал, исчезнул. Упоенный
Восторгом пылким и немым,
Руслан, для жизни пробужденный,
Подъемлет руки вслед за ним...
Но ничего не слышно боле!
Руслан один в пустынном поле;
Запрыгав, с карлой за седлом,
Русланов конь нетерпеливый
Бежит и ржет, махая гривой;
Уж князь готов, уж он верхом,
Уж он летит живой и здравый
Через поля, через дубравы.

Но между тем какой позор
Являет Киев осажденный?

Там, устремив на нивы взор,
Народ, уныньем пораженный,
Стоит на башнях и стенах,
И в страхе ждет небесной казни;
Стенанья робкие в домах,
На стогнах тишина боязни;
Один, близ дочери своей,
Владимир в горестной молитве
И храбрый сонм богатырей
С дружиной верною князей
Готовится к кровавой битве.

И день настал. Толпы врагов
С зарею двинулись с холмов;
Неукротимые дружины,
Волнуясь, хлынули с равнины
И потекли к стене градской;
Во граде трубы загремели,
Бойцы сомкнулись, полетели
Навстречу рати удалой,
Сошлись — и заварился бой.
Почуя смерть, взыграли кони,
Пошли стучать мечи о брони;
Со свистом туча стрел взвилась,
Равнина кровью залилась;
Стремглав наездники помчались,
Дружины конные смешались;
Сомкнутой, дружною стеной
Там рубится со строем строй;
Со всадником там пеший бьется;
Там конь испуганный несется;
Там русский пал, там печенег;
Там клики битвы, там побег;
Тот опрокинут булавою;
Тот легкой поражен стрелою;
Другой, придавленный щитом,
Растоптан бешеным конем...
И длился бой до темной ночи;
Ни враг, ни наш не одолел!
За грудами кровавых тел

Бойцы сомкнули томны очи,
И крепок был их бранный сон;
Лишь изредка на поле битвы
Был слышен падших скорбный стон
И русских витязей молитвы.

Бледнела утренняя тень,
Волна сребрилася в потоке,
Сомнительный рождался день
На отуманенном востоке.
Яснели холмы и леса,
И просыпались небеса.
Еще в бездейственном покое
Дремало поле боевое;
Вдруг сон прервался: вражий стан
С тревогой шумною воспрянул,
Внезапный крик сражений грянул;
Смутилось сердце киевлян;
Бегут нестройными толпами
И видят: в поле меж врагами,
Блистая в латах, как в огне,
Чудесный воин на коне
Грозой несется, колет, рубит,
В ревущий рог, летая, трубит...
То был Руслан. Как божий гром
Наш витязь пал на басурмана;
Он рыщет с карлой за седлом
Среди испуганного стана.
Где ни просвищет грозный меч,
Где конь сердитый ни промчится,
Везде главы слетают с плеч,
И с воплем строй на строй валится;
В одно мгновенье бранный луг
Покрыт холмами тел кровавых,
Живых, раздавленных, безглавых,
Громадой копий, стрел, кольчуг.
На трубный звук, на голос боя
Дружины конные славян
Помчались по следам героя,
Сразились... гибни, басурман!

Объемлет ужас печенегов;
Питомцы бурные набегов
Зовут рассеянных коней,
Противиться не смеют боле,
И с диким воплем в пыльном поле
Бегут от киевских мечей,
Обречены на жертву аду;
Их сонмы русский меч казнит;
Ликует Киев... Но по граду
Могучий богатырь летит;
В деснице держит меч победный;
Копье сияет как звезда;
Струится кровь с кольчуги медной;
На шлеме вьется борода;
Летит, надеждой окриленный,
По стогнам шумным в княжий дом.
Народ, восторгом упоенный,
Толпится с кликами кругом,
И князя радость оживила.
В безмолвный терем входит он,
Где дремлет чудным сном Людмила;
Владимир, в думу погружен,
У ног ее стоял унылый.
Он был один. Его друзей
Война влекла в поля кровавы.
Но с ним Фарлаф, чуждаясь славы,
Вдали от вражеских мечей,
В душе презрев тревоги стана,
Стоял на страже у дверей.
Едва злодей узнал Руслана,
В нем кровь остыла, взор погас,
В устах открытых замер глас,
И пал без чувств он на колена...
Достойной казни ждет измена!
Но, помня тайный дар кольца,
Руслан летит к Людмиле спящей,
Ее спокойного лица
Касается рукой дрожащей...
И чудо: юная княжна,
Вздохнув, открыла светлы очи!

Казалось, будто бы она
Дивилася столь долгой ночи;
Казалось, что какой-то сон
Ее томил мечтой неясной,
И вдруг узнала — это он!
И князь в объятиях прекрасной
Воскреснув пламенной душой,
Руслан не видит, не внимает,
И старец в радости немой,
Рыдая, милых обнимает.

Чем кончу длинный мой рассказ?
Ты угадаешь, друг мой милый!
Неправый старца гнев погас;
Фарлаф пред ним и пред Людмилой
У ног Руслана объявил
Свой стыд и мрачное злодейство;
Счастливый князь ему простил;
Лишенный силы чародейства,
Был принят карла во дворец;
И, бедствий празднуя конец,
Владимир в гриднице высокой
Запировал в семье своей.

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

## Эпилог

Так, мира житель равнодушный,
На лоне праздной тишины,
Я славил лирою послушной
Преданья темной старины.
Я пел — и забывал обиды
Слепого счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды,
И сплетни шумные глупцов.
На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной;
И между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!..
Я погибал... Святой хранитель
Первоначальных, бурных дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!
Ты умолила непогоду;
Ты сердцу возвратила мир;
Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир!
Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,

На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой —
Но огнь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений:
Она прошла, пора стихов,
Пора любви, веселых снов,
Пора сердечных вдохновений!
Восторгов краткий день протек —
И скрылась от меня навек
Богиня тихих песнопений...

## Кавказский пленник

Повесть

### Посвящение

*Прими с улыбкою, мой друг,*
*Свободной музы приношенье:*
*Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье*
*И вдохновенный свой досуг.*
*Когда я погибал, безвинный, безотрадный*
*И шопот клеветы внимал со всех сторон,*
*Когда кинжал измены хладный,*
*Когда любви тяжелый сон*
*Меня терзали и мертвили,*
*Я близ тебя еще спокойство находил;*
*Я сердцем отдыхал — друг друга мы любили:*
*И бури надо мной свирепость утомили,*
*Я в мирной пристани богов благословил.*

*Во дни печальные разлуки*
*Мои задумчивые звуки*
*Напоминали мне Кавказ,*
*Где пасмурный Бешту,*[1] *пустынник величавый,*
*Аулов*[2] *и полей властитель пятиглавый,*
*Был новый для меня Парнас.*

*Забуду ли его кремнистые вершины,*
*Гремучие ключи, увядшие равнины,*
*Пустыни знойные, края, где ты со мной*
*Делил души младые впечатленья;*
*Где рыскает в горах воинственный Разбой*
*И дикой Гений вдохновенья*
*Таится в тишине глухой?*
*Ты здесь найдешь воспоминанья,*
*Быть может, милых сердцу дней,*
*Противуречия страстей,*
*Мечты знакомые, знакомые страданья*
*И тайный глас души моей.*

*Мы в жизни розно шли: в объятиях покоя*
*Едва, едва расцвел и в след отца-героя*
*В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,*
*Младенец избранный, ты гордо полетел.*
*Отечество тебя ласкало с умиленьем,*
*Как жертву милую, как верный цвет надежд.*
*Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;*
*Я жертва клеветы и мстительных невежд;*
*Но сердце укрепив свободой и терпеньем,*
*Я ждал беспечно лучших дней;*
*И счастие моих друзей*
*Мне было сладким утешеньем.*

## Часть I

В ауле, на своих порогах,
Черкесы праздные сидят.
Сыны Кавказа говорят
О бранных, гибельных тревогах,
О красоте своих коней,
О наслажденьях дикой неги;
Воспоминают прежних дней
Неотразимые набеги,
Обманы хитрых узденей, [3]
Удары шашек [4] их жестоких,
И меткость неизбежных стрел,
И пепел разоренных сел,
И ласки пленниц чернооких.

Текут беседы в тишине;
Луна плывет в ночном тумане;
И вдруг пред ними на коне
Черкес. Он быстро на аркане
Младого пленника влачил.
„Вот русской!“ хищник возопил.
Аул на крик его сбежался
Ожесточенною толпой;
Но пленник хладный и немой,
С обезображенной главой,
Как труп, недвижим оставался.
Лица врагов не видит он,
Угроз и криков он не слышит;
Над ним летает смертный сон
И холодом тлетворным дышит.

И долго пленник молодой
Лежал в забвении тяжелом.
Уж полдень над его главой
Пылал в сиянии веселом;
И жизни дух проснулся в нем,
Невнятный стон в устах раздался;
Согретый солнечным лучом,

Несчастный тихо приподнялся;
Кругом обводит слабый взор...
И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада,
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской Вольности ограда.
Воспомнил юноша свой плен,
Как сна ужасного тревоги,
И слышит: загремели вдруг
Его закованные ноги...
Всё, всё сказал ужасный звук;
Затмилась перед ним природа.
Прости, священная свобода!
Он раб.
За саклями[5] лежит
Он у колючего забора.
Черкесы в поле, нет надзора,
В пустом ауле всё молчит.
Пред ним пустынные равнины
Лежат зеленой пеленой;
Там холмов тянутся грядой
Однообразные вершины;
Меж них уединенный путь
В дали теряется угрюмой:
И пленника младого грудь
Тяжелой взволновалась думой...

В Россию дальный путь ведет,
В страну, где пламенную младость
Он гордо начал без забот;
Где первую познал он радость,
Где много милого любил,
Где обнял грозное страданье,
Где бурной жизнью погубил
Надежду, радость и желанье —
И лучших дней воспоминанье
В увядшем сердце заключил.

Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену.

В сердцах друзей нашед измену,
В мечтах любви безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекой полетел
С веселым призраком свободы.

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою;
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал.

Свершилось... целью упованья
Не зрит он в мире ничего.
И вы, последние мечтанья,
И вы сокрылись от него.
Он раб. Склонясь главой на камень,
Он ждет, чтоб с сумрачной зарей
Погас печальной жизни пламень
И жаждет сени гробовой.

Уж меркнет солнце за горами;
Вдали раздался шумный гул,
С полей народ идет в аул,
Сверкая светлыми косами.
Пришли. В домах зажглись огни,
И постепенно шум нестройный
Умолкнул; всё в ночной тени
Объято негою спокойной;
Вдали сверкает горный ключ,
Сбегая с каменной стремнины;

Оделись пеленою туч
Кавказа спящие вершины...
Но кто, в сиянии луны,
Среди глубокой тишины
Идет, украдкою ступая?
Очнулся русской. Перед ним,
С приветом нежным и немым,
Стоит черкешенка младая.
На деву молча смотрит он,
И мыслит: это лживый сон,
Усталых чувств игра пустая.
Луною чуть озарена,
С улыбкой жалости отрадной
Колена преклонив, она
К его устам кумыс [6] прохладный
Подносит тихою рукой —
Но он забыл сосуд целебный;
Он ловит жадною душой
Приятной речи звук волшебный
И взоры девы молодой.
Он чуждых слов не понимает;
Но взор умильный, жар ланит,
Но голос нежный говорит:
Живи! и пленник оживает.
И он, собрав остаток сил,
Веленью милому покорный,
Привстал—и чашей благотворной
Томленье жажды утолил.
Потом на камень вновь склонился
Отягощенною главой;
Но всё к черкешенке младой
Угасший взор его стремился.
И долго, долго перед ним
Она, задумчива, сидела;
Как бы участием немым
Утешить пленника хотела;
Уста невольно каждый час
С начатой речью открывались;
Она вздыхала, и не раз
Слезами очи наполнялись.

За днями дни прошли, как тень.
В горах, окованный, у стада
Проводит пленник каждый день.
Пещеры влажная прохлада
Его скрывает в летний зной;
Когда же рог луны сребристой
Блеснет за мрачною горой,
Черкешенка, тропой тенистой,
Приносит пленнику вино,
Кумыс, и ульев сот душистый,
И белоснежное пшено;
С ним тайный ужин разделяет;
На нем покоит нежный взор;
С неясной речию сливает
Очей и знаков разговор;
Поет ему и песни гор,
И песни Грузии счастливой,[7]
И памяти нетерпеливой
Передает язык чужой.
Впервые девственной душой
Она любила, знала счастье;
Но русской жизни молодой
Давно утратил сладострастье:
Не мог он сердцем отвечать
Любви младенческой, открытой —
Быть может, сон любви забытой
Боялся он воспоминать.

Не вдруг увянет наша младость,
Не вдруг восторги бросят нас,
И неожиданную радость
Еще обнимем мы не раз:
Но вы, живые впечатленья,
Первоначальная любовь,
Небесный пламень упоенья,
Не прилетаете вы вновь.

Казалось, пленник безнадежный
К унылой жизни привыкал.
Тоску неволи, жар мятежный,

В душе глубоко он скрывал.
Влачася меж угрюмых скал,
В час ранней, утренней прохлады,
Вперял он любопытный взор
На отдаленные громады
Седых, румяных, синих гор.
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый
Белел на небе голубом.[8]
Когда, с глухим сливаясь гулом,
Предтеча бури, гром гремел,
Как часто пленник над аулом
Недвижим на горе сидел!
У ног его дымились тучи,
В степи взвивался прах летучий;
Уже приюта между скал
Елень испуганный искал;
Орлы с утесов подымались
И в небесах перекликались;
Шум табунов, мычанье стад
Уж гласом бури заглушались...
И вдруг на долы дождь и град
Из туч сквозь молний извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые,
Текли потоки дождевые —
А пленник с горной вышины,
Один, за тучей громовою
Возврата солнечного ждал,
Недосягаемый грозою,
И бури немощному вою
С какой-то радостью внимал.

Но европейца всё вниманье
Народ сей чудный привлекал.

Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту,
И легкость ног, и силу длани;
Смотрел по целым он часам,
Как иногда черкес проворный,
Широкой степью, по горам,
В косматой шапке, в бурке черной,
К луке склонясь, на стремена
Ногою стройной опираясь,
Летал по воле скакуна,
К войне заране приучаясь.
Он любовался красотой
Одежды бранной и простой.
Черкес оружием обвешен;
Он им гордится, им утешен;
На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан,
И шашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет; пеший, конный —
Всё тот же он; всё тот же вид —
Непобедимый, непреклонный.
Гроза беспечных казаков,
Его богатство — конь ретивый,
Питомец горских табунов,
Товарищ верный, терпеливый.
В пещере иль в траве глухой
Коварный хищник с ним таится
И вдруг внезапною стрелой,
Завидя путника, стремится;
В одно мгновенье верный бой
Решит удар его могучий,
И странника в ущелья гор
Уже влечет аркан летучий.
Стремится конь во весь опор,
Исполнен огненной отваги;

Всё путь ему: болото, бор,
Кусты, утесы и овраги;
Кровавый след за ним бежит,
В пустыне топот раздается;
Седой поток пред ним шумит —
Он в глубь кипящую несется;
И путник, брошенный ко дну,
Глотает мутную волну,
Изнемогая, смерти просит
И зрит ее перед собой...
Но мощный конь его стрелой
На берег пенистый выносит.

Иль ухватив рогатый пень,
В реку низверженный грозою,
Когда на холмах пеленою
Лежит безлунной ночи тень,
Черкес на корни вековые,
На ветви вешает кругом
Свои доспехи боевые,
Щит, бурку, панцырь и шелом,
Колчан и лук — и в быстры волны
За ним бросается потом
Неутомимый и безмолвный.
Глухая ночь. Река ревет;
Могучий ток его несет
Вдоль берегов уединенных,
Где на курганах возвышенных,
Склонясь на копья, казаки
Глядят на темный бег реки —
И мимо их, во мгле чернея,
Плывет оружие злодея...
О чем ты думаешь, казак?
Воспоминаешь прежни битвы,
На смертном поле свой бивак,
Полков хвалебные молитвы
И родину?.. коварный сон!
Простите, вольные станицы,
И дом отцов, и тихий Дон,
Война и красные девицы!

К брегам причалил тайный враг,
Стрела выходит из колчана —
Взвилась — и падает казак
С окровавленного кургана.

Когда же с мирною семьей
Черкес в отеческом жилище
Сидит ненастною порой,
И тлеют угли в пепелище;
И, спрянув с верного коня,
В горах пустынных запоздалый,
К нему войдет пришлец усталый
И робко сядет у огня:
Тогда хозяин благосклонный
С приветом, ласково, встает
И гостю в чаше благовонной
Чихирь [9] отрадный подает.
Под влажной буркой, в сакле дымной,
Вкушает путник мирный сон,
И утром оставляет он
Ночлега кров гостеприимный. [10]

Бывало, в светлый Баиран [11]
Сберутся юноши толпою;
Игра сменяется игрою.
То, полный разобрав колчан,
Они крылатыми стрелами
Пронзают в облаках орлов;
То с высоты крутых холмов
Нетерпеливыми рядами,
При данном знаке, вдруг падут,
Как лани землю поражают,
Равнину пылью покрывают
И с дружным топотом бегут.

Но скучен мир однообразный
Сердцам, рожденным для войны,
И часто игры воли праздной
Игрой жестокой смущены.
Нередко шашки грозно блещут

В безумной резвости пиров,
И в прах летят главы рабов,
И в радости младенцы плещут.

Но русской равнодушно зрел
Сии кровавые забавы.
Любил он прежде игры славы
И жаждой гибели горел.
Невольник чести беспощадной,
Вблизи видал он свой конец,
На поединках твердый, хладный,
Встречая гибельный свинец.
Быть может, в думу погруженный,
Он время то воспоминал,
Когда, друзьями окруженный,
Он с ними шумно пировал...
Жалел ли он о днях минувших,
О днях, надежду обманувших,
Иль любопытный созерцал
Суровой простоты забавы,
И дикого народа нравы
В сем верном зеркале читал —
Таил в молчаньи он глубоком
Движенья сердца своего,
И на челе его высоком
Не изменялось ничего;
Беспечной смелости его
Черкесы грозные дивились,
Щадили век его младой
И шопотом между собой
Своей добычею гордились.

## Часть II

Ты их узнала, дева гор,
Восторги сердца, жизни сладость.
Твой огненный невинный взор
Высказывал любовь и радость.
Когда твой друг во тьме ночной
Тебя лобзал немым лобзаньем,
Сгорая негой и желаньем,
Ты забывала мир земной,
Ты говорила: „пленник милый,
Развесели свой взор унылый,
Склонись главой ко мне на грудь,
Свободу, родину забудь.
Скрываться рада я в пустыне
С тобою, царь души моей!
Люби меня; никто доныне
Не целовал моих очей;
К моей постеле одинокой
Черкес младой и черноокой
Не крался в тишине ночной;
Слыву я девою жестокой,
Неумолимой красотой.
Я знаю жребий мне готовый:
Меня отец и брат суровый
Немилому продать хотят
В чужой аул ценою злата;
Но умолю отца и брата,
Не то — найду кинжал иль яд.
Непостижимой, чудной силой
К тебе я вся привлечена;
Люблю тебя, невольник милый,
Душа тобой упоена..."

Но он с безмолвным сожаленьем
На деву страстную взирал
И, полный тяжким размышленьем,
Словам любви ее внимал.
Он забывался. В нем теснились

Воспоминанья прошлых дней,
И даже слезы из очей
Однажды градом покатились.
Лежала в сердце как свинец
Тоска любви без упованья.
Пред юной девой наконец
Он излиял свои страданья:

„Забудь меня: твоей любви,
Твоих восторгов я не стою.
Бесценных дней не трать со мною;
Другого юношу зови.
Его любовь тебе заменит
Моей души печальный хлад;
Он будет верен, он оценит
Твою красу, твой милый взгляд,
И жар младенческих лобзаний,
И нежность пламенных речей;
Без упоенья, без желаний
Я вяну жертвою страстей.
Ты видишь след любви несчастной,
Душевной бури след ужасный;
Оставь меня; но пожалей
О скорбной участи моей!
Несчастный друг, зачем не прежде
Явилась ты моим очам,
В те дни, как верил я надежде
И упоительным мечтам!
Но поздно: умер я для счастья,
Надежды призрак улетел;
Твой друг отвык от сладострастья,
Для нежных чувств окаменел...

Как тяжко мертвыми устами
Живым лобзаньям отвечать,
И очи полные слезами
Улыбкой хладною встречать!
Измучась ревностью напрасной,
Уснув бесчувственной душой,
В объятиях подруги страстной,
Как тяжко мыслить о другой!..

Когда так медленно, так нежно
Ты пьешь лобзания мои,
И для тебя часы любви
Проходят быстро, безмятежно;
Снедая слезы в тишине,
Тогда рассеянный, унылый,
Перед собою, как во сне,
Я вижу образ вечно милый;
Его зову, к нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю;
Тебе в забвеньи предаюсь
И тайный призрак обнимаю.
Об нем в пустыне слезы лью;
Повсюду он со мною бродит
И мрачную тоску наводит
На душу сирую мою.

Оставь же мне мои железы,
Уединенные мечты,
Воспоминанья, грусть и слезы:
Их разделить не можешь ты.
Ты сердца слышала признанье;
Прости... дай руку — на прощанье.
Недолго женскую любовь
Печалит хладная разлука;
Пройдет любовь, настанет скука,
Красавица полюбит вновь".

Раскрыв уста, без слез рыдая,
Сидела дева молодая.
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор;
Бледна как тень, она дрожала;
В руках любовника лежала
Ее холодная рука;
И наконец любви тоска
В печальной речи излилася:

„Ах, русской, русской, для чего,
Не зная сердца твоего,

Тебе навек я предалася!
Не долго на груди твоей
В забвеньи дева отдыхала;
Не много радостных ночей
Судьба на долю ей послала!
Придут ли вновь когда-нибудь?
Ужель навек погибла радость?..
Ты мог бы, пленник, обмануть
Мою неопытную младость,
Хотя б из жалости одной,
Молчаньем, ласкою притворной;
Я услаждала б жребий твой
Заботой нежной и покорной;
Я стерегла б минуты сна,
Покой тоскующего друга;
Ты не хотел... Но кто ж она,
Твоя прекрасная подруга?
Ты любишь, русской? ты любим?..
Понятны мне твои страданья...
Прости ж и ты мои рыданья,
Не смейся горестям моим".

Умолкла. Слезы и стенанья
Стеснили бедной девы грудь.
Уста без слов роптали пени.
Без чувств, обняв его колени,
Она едва могла дохнуть.
И пленник, тихою рукою
Подняв несчастную, сказал:
„Не плачь. И я гоним судьбою,
И муки сердца испытал.
Нет, я не знал любви взаимной:
Любил один, страдал один;
И гасну я, как пламень дымный,
Забытый средь пустых долин;
Умру вдали брегов желанных;
Мне будет гробом эта степь;
Здесь на костях моих изгнанных
Заржавит тягостная цепь..."

«Кавказский пленник». С автолитографии *М. Е. Горшмана*

Светила ночи затмевались;
В дали прозрачной означались
Громады светлоснежных гор;
Главу склонив, потупя взор,
Они в безмолвии расстались.

Унылый пленник с этих пор
Один окрест аула бродит.
Заря на знойный небосклон
За днями новы дни возводит;
За ночью ночь вослед уходит;
Вотще свободы жаждет он.
Мелькнет ли серна меж кустами,
Проскачет ли во мгле сайгак:
Он, вспыхнув, загремит цепями,
Он ждет, не крадется ль казак,
Ночной аулов разоритель,
Рабов отважный избавитель.
Зовет... но всё кругом молчит;
Лишь волны плещутся, бушуя,
И, человека зверь почуя,
В пустыню темную бежит.

Однажды слышит русской пленный,
В горах раздался клик военный:
„В табун, в табун!“ Бегут, шумят;
Уздечки медные гремят,
Чернеют бурки, блещут брони,
Кипят оседланные кони,
К набегу весь аул готов,
И дикие питомцы брани
Рекою хлынули с холмов
И скачут по брегам Кубани
Сбирать насильственные дани.

Утих аул; на солнце спят
У саклей псы сторожевые.
Младенцы смуглые, нагие
В свободной резвости шумят;
Их прадеды в кругу сидят,

Из трубок дым виясь синеет.
Они безмолвно юных дев
Знакомый слушают припев,
И старцев сердце молодеет.

*Черкесская песня*

1

В реке бежит гремучий вал;
В горах безмолвие ночное;
Казак усталый задремал,
Склонясь на копие стальное.
Не спи, казак: во тьме ночной
Чеченец ходит за рекой.

2

Казак плывет на челноке,
Влача по дну речному сети.
Казак, утонешь ты в реке,
Как тонут маленькие дети,
Купаясь жаркою порой:
Чеченец ходит за рекой.

3

На берегу заветных вод
Цветут богатые станицы;
Веселый пляшет хоровод.
Бегите, русские певицы;
Спешите, красные, домой:
Чеченец ходит за рекой.

Так пели девы. Сев на бреге,
Мечтает русской о побеге;
Но цепь невольника тяжка,
Быстра глубокая река...
Меж тем, померкнув, степь уснула,
Вершины скал омрачены.
По белым хижинам аула

Мелькает бледный свет луны;
Елени дремлют над водами,
Умолкнул поздний крик орлов,
И глухо вторится горами
Далекой топот табунов.

Тогда кого-то слышно стало,
Мелькнуло девы покрывало,
И вот — печальна и бледна
К нему приблизилась *она*.
Уста прекрасной ищут речи;
Глаза исполнены тоской,
И черной падают волной
Ее власы на грудь и плечи.
В одной руке блестит пила,
В другой кинжал ее булатный:
Казалось, будто дева шла
На тайный бой, на подвиг ратный.

На пленника возведши взор,
„Беги, — сказала дева гор: —
Нигде черкес тебя не встретит.
Спеши; не трать ночных часов;
Возьми кинжал: твоих следов
Никто во мраке не заметит“.

Пилу дрожащей взяв рукой,
К его ногам она склонилась;
Визжит железо под пилой,
Слеза невольная скатилась —
И цепь распалась и гремит.
„Ты волен, — дева говорит, —
Беги!“ Но взгляд ее безумный
Любви порыв изобразил.
Она страдала. Ветер шумный
Свистя покров ее клубил.
„О друг мой! — русской возопил, —
Я твой навек, я твой до гроба.
Ужасный край оставим оба,
Беги со мной...“ — „Нет, русской, нет!

Она исчезла, жизни сладость;
Я знала всё, я знала радость,
И всё прошло, пропал и след.
Возможно ль? — ты любил другую!..
Найди ее, люби ее;
О чем же я еще тоскую?
О чем уныние мое?..
Прости! любви благословенья
С тобою будут каждый час.
Прости — забудь мои мученья,
Дай руку мне... в последний раз".

К черкешенке простер он руки,
Воскресшим сердцем к ней летел,
И долгий поцелуй разлуки
Союз любви запечатлел.
Рука с рукой, унынья полны,
Сошли ко брегу в тишине —
И русской в шумной глубине
Уже плывет и пенит волны,
Уже противных скал достиг,
Уже хватается за них...
Вдруг волны глухо зашумели,
И слышен отдаленный стон...
На дикой брег выходит он,
Глядит назад... брега яснели
И, опененные, белели;
Но нет черкешенки младой
Ни у брегов, ни под горой...
Всё мертво... на брегах уснувших
Лишь ветра слышен легкой звук,
И при луне, в водах плеснувших
Струистый исчезает круг.

Всё понял он...
Прощальным взором
Объемлет он в последний раз
Пустой аул с его забором,
Поля, где пленный стадо пас,
Стремнины, где влачил оковы,

Ручей, где в полдень отдыхал,
Когда в горах черкес суровый
Свободы песню запевал.

Редел на небе мрак глубокой,
Ложился день на темный дол;
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел,
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

## Эпилог

Так муза, легкой друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых
Одна бродила по скалам
И к песням дев осиротелых
Она прислушивалась там;
Любила бранные станицы,
Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие гробницы,
И шум, и ржанье табунов.
Богиня песен и рассказа,
Воспоминания полна,
Быть может, повторит она
Преданья грозного Кавказа,
Расскажет повесть дальних стран,
Мстислава[12] древний поединок,
Измены, гибель россиян
На лоне мстительных грузинок,
И воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Подъялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов;
Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ход, как черная зараза,

Губил, ничтожил племена...
Ты днесь покинул саблю мести,
Тебя не радует война;
Скучая миром, в язвах чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов...
Но се — восток подъемлет вой...
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

И смолкнул ярый крик войны,
Всё русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!
Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые.
К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы.

### Примечания

[1] *Бешту*, или, правильнее, *Бештау*, кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска. Известна в нашей истории.

[2] *Аул*. Так называются деревни кавказских народов.

[3] *Уздень*, начальник или князь.

[4] *Шашка*, черкесская сабля.

[5] *Сакля*, хижина.

[6] *Кумыс* делается из кобыльего молока; напиток сей в большом употреблении между всеми горскими и кочующими народами Азии. Он довольно приятен вкусу и почитается весьма здоровым.

[7] Счастливый климат Грузии не вознаграждает сию прекрасную страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова — измены, убийства, иногда любовь и наслаждения.

[8] Державин, в превосходной своей оде графу Зубову, первый изобразил в следующих строфах дикие картины Кавказа:

О юный вождь, сверша походы,
Прошел ты с воинством Кавказ,
Зрел в мгле спокойно под собою
Как с ребр там страшных гор лиясь,
Ревут в мрак бездн сердиты реки;
Как с чел их с грохотом снега
Падут, лежавши целы веки;
Как серны, вниз склонив рога,
Зрят во мгле спокойно под собою
Рожденье молний и громов.

Ты зрел, как ясною порою
Там солнечны лучи, средь льдов,
Средь вод, играя, отражаясь,
Великолепный кажут вид;
Как, в разноцветных рассеваясь
Там брызгах, тонкий дождь горит;
Как глыба там сизоянтарна,
Навесясь смотрит в темный бор;
А там заря златобагряна
Сквозь лес увеселяет взор.

Жуковский, в своем послании к г-ну Воейкову, также посвящает несколько прелестных стихов описанию Кавказа:

Ты зрел, как Терек в быстром беге
Меж виноградников шумел,
Где, часто притаясь на бреге,
Чеченец иль черкес сидел,

Под буркой, с гибельным арканом;
И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой,
Как туча, Эльборус двуглавый.
Ужасною и величавой
Там всё блистает красотой:
Утесов мшистые громады,
Бегущи с ревом водопады
Во мрак пучин с гранитных скал;
Леса, которых сна от века
Ни стук секир, ни человека
Веселый глас не возмущал,
В которых сумрачные сени
Еще луч дневный не проник,
Где изредка одни елени,
Орла послышав грозный крик,
Теснясь в толпу, шумят ветвями,
И козы легкими ногами
Перебегают по скалам.
Там всё является очам
Великолепие творенья!
Но там, среди уединенья
Долин, таящихся в горах,
Гнездятся и балкар, и бах,
И абазех, и камуцинец,
И корбулак, и албазинец,
И чечереец, и шапсук.
Пищаль, кольчуга, сабля, лук,
И конь, соратник быстроногий —
Их и сокровища и боги;
Как серны скачут по горам,
Бросают смерть из-за утеса;
Или по топким берегам,
В траве высокой, в чаще леса
Рассыпавшись, добычи ждут;
Скалы свободы их приют.
Но дни в аулах их бредут
На костылях угрюмой лени:
Там жизнь их — сон; стеснясь в кружок
И в братский с табаком горшок
Вонзивши чубуки, как тени
В дыму клубящемся сидят
И об убийствах говорят;
Иль хвалят меткие пищали,
Из коих деды их стреляли;

Иль сабли на кремнях острят,
Готовясь на убийства новы.

[9] *Чихирь*, красное грузинское вино.

[10] Черкесы, как и все дикие народы, отличаются пред нами гостеприимством. Гость становится для них священною особою. Предать его или не защитить почитается меж ими за величайшее бесчестие. *Кунак* (т. е. приятель, знакомец) отвечает жизнию за вашу безопасность, и с ним вы можете углубиться в самую средину Кабардинских гор.

[11] *Байран*, или *Байрам*, праздник розговенья. *Рамазан*, музульманский пост.

[12] Мстислав, сын св. Владимира, прозванный *Удалым*, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю. *Ист. Гос. Росс. Том II.*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Гавриилиада

Воистину еврейки молодой
Мне дорого душевное спасенье.
Приди ко мне, прелестный ангел мой,
И мирное прими благословенье.
Спасти хочу земную красоту.
Любезных уст улыбкою довольный,
Царю небес и господу Христу
Пою стихи на лире богомольной.
Смиренных струн, быть может, наконец
Ее пленят церковные напевы,
И дух святой сойдет на сердце девы:
Властитель он и мыслей и сердец.

Шестнадцать лет, невинное смиренье,
Бровь черная, двух девственных холмов
Под полотном упругое движенье,
Нога любви, жемчужный ряд зубов...
Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,
И по лицу румянец пробежал?
Нет, милая, ты, право, обманулась:
Я не тебя, Марию описал.

В тиши полей, вдали Ерусалима,
Вдали забав и юных волокит
(Которых бес для гибели хранит),
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Красавица, никем еще не зрима,
Без прихотей вела спокойный век.
Ее супруг, почтенный человек,
Седой старик, плохой столяр и плотник,
В селенье был единственный работник.
И день и ночь, имея много дел,
То с уровнем, то с верною пилою,
То с топором, не много он смотрел
На прелести, которыми владел,
И тайный цвет, которому судьбою
Назначена была иная честь,
На стебельке не смел еще процвесть.
Ленивый муж своею старой лейкой
В час утренний не орошал его;
Он как отец с невинной жил еврейкой,
Ее кормил — и больше ничего.

Но с праведных небес во время оно
Всевышний бог склонил приветный взор
На стройный стан, на девственное лоно
Рабы своей и, чувствуя задор,
Он положил в премудрости глубокой
Благословить достойный вертоград,
Сей вертоград забытый, одинокой,
Щедротою таинственных наград.

Уже поля немая ночь объемлет;
В своем углу Мария сладко дремлет.
Всевышний рек, — и деве снится сон.
Пред нею вдруг открылся небосклон;
Во глубине небес необозримой,
В сиянии и славе нестерпимой,
Тьмы ангелов волнуются, кипят,
Бесчисленны летают серафимы,
Струнами арф брянцают херувимы,
Архангелы в безмолвии сидят,
Главы закрыв лазурными крылами, —
И яркими одеян облаками
Предвечного стоит пред ними трон.
И светел вдруг очам явился он...

Все пали ниц!.. Умолкнул арфы звон.
Склонив главу, едва Мария дышит,
Дрожит как лист и голос бога слышит:
„Краса земных, любезных дочерей,
Израиля надежда молодая!
Зову тебя, любовию пылая,
Причастница ты славы будь моей:
Готова будь к неведомой судьбине,
Жених грядет, грядет к своей рабыне“.

Вновь облаком оделся божий трон;
Восстал духов крылатый легион,
И раздались небесной арфы звуки...
Открыв уста, сложив умильно руки,
Лицу небес Мария предстоит.
Но что же так волнует и манит
Ее к себе внимательные взгляды?
Кто сей в толпе придворных молодых
С нее очей не сводит голубых?
Пернатый шлем, роскошные наряды,
Сиянье крил и локонов златых,
Высокий стан, взор томный и стыдливый, —
Всё нравится Марии молчаливой.
Замечен он, один он сердцу мил.
Гордись, гордись, архангел Гавриил!
Пропало всё. Не внемля детской пени,
На полотне так исчезают тени,
Рожденные в волшебном фонаре.

Красавица проснулась на заре
И нежилась на ложе томной лени.
Но дивный сон, но милый Гавриил
Из памяти ее не выходил.
Царя небес любить она хотела,
Его слова приятны были ей,
И перед ним она благоговела, —
Но Гавриил казался ей милей...
Так иногда супругу генерала
Затянутый прельщает адъютант.
Что делать нам? судьба так приказала;
Согласны в том невежда и педант.

Поговорим о странностях любви.
Другого я не смыслю разговора.
В те дни, когда от огненного взора
Мы чувствуем волнение в крови,
Когда тоска обманчивых желаний
Объемлет нас и душу тяготит,
И всюду нас преследует, томит
Предмет один и думы и страданий, —
Не правда ли, в толпе младых друзей
Наперсника мы ищем и находим.
С ним тайный глас мучительных страстей
Наречием восторгов переводим...
Когда же мы поймали на лету
Крылатый миг небесных упоений
И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту,
Когда любви забыли мы страданье
И нечего нам более желать,
Чтоб оживить об ней воспоминанье,
С наперсником мы любим поболтать.

И ты, господь, познал ее волненье,
И ты пылал, о боже, как и мы.
Создателю постыло всё творенье,
Наскучило небесное моленье,
Он сочинял любовные псалмы
И громко пел: „Люблю, люблю Марию,
В унынии бессмертие влачу...
Где крылия?.. К Марии полечу
И на груди красавицы почию!“
И прочее... всё, что придумать мог.
Творец любил восточный, пестрый слог.
Потом, призвав любимца Гавриила,
Свою любовь он прозой объяснял.
Беседы их нам церковь утаила,
Евангелист немного оплошал.
Но говорит армянское преданье,
Что царь небес, не пожалев похвал,
В Меркурии архангела избрал,
Заметя в нем и ум и дарованье,

И вечерком к Марии подослал.
Архангелу другой хотелось чести;
Нередко он украдкой был счастлив;
Переносить записочки да вести
Хоть выгодно, но он самолюбив.
И славы сын, намеренья сокрыв,
Стал нехотя услужливый угодник
Царю небес... а по земному сводник.

Но, старый враг, не дремлет сатана!
Услышал он, шатаясь в белом свете,
Что бог имел еврейку на примете,
Красавицу, которая должна
Спасти наш род от вечной муки ада.
Лукавому великая досада —
Хлопочет он. Всевышний, между тем,
На небесах сидел в уныньи сладком;
Весь мир забыв, не правил он ничем —
И без него всё шло своим порядком.

Что ж делает Мария? где она,
Иосифа печальная супруга?..
В своем саду, печальных дум полна,
Проводит час невинного досуга
И снова ждет пленительного сна.
С ее души не сходит образ милый,
К архангелу летит душой унылой.
В прохладе пальм, под говором ручья,
Задумалась красавица моя.
Не мило ей цветов благоуханье,
Не весело прозрачных вод журчанье...
И видит вдруг: прекрасная змия,
Приманчивой блистая чешуею,
В тени ветвей качается над нею
И говорит: „Любимица небес!
Не убегай, я пленник твой послушный...“
Возможно ли? о чудо из чудес!
Кто ж говорил Марии простодушной,
Кто ж это был? Увы, конечно, бес.

Краса змии, цветов разнообразность,
Ее привет, огонь лукавых глаз
Понравились Марии в тот же час.
Чтоб усладить младого сердца праздность,
На сатане покоя нежный взор,
С ним завела опасный разговор:
„Кто ты, змия? По льстивому напеву,
По красоте, по блеску, по глазам,
Я узнаю того, кто нашу Еву
Привлечь успел к таинственному древу
И там склонил несчастную к грехам.
Ты погубил неопытную деву,
А с нею весь адамов род и нас.
Мы в бездне бед невольно потонули.
Не стыдно ли?“
— „Попы вас обманули,
И Еву я не погубил, а спас“.
— „Спас! от кого?“
— „От бога“.
— „Враг опасный!“
— „Он был влюблен“.
— „Послушай, берегись!“
— „Он к ней пылал...“
— „Молчи!“
— „любовью страстной,
Она была в опасности ужасной“.
— „Змия, ты лжешь!“
— „Ей богу!“
— „Не божись“.
— „Но выслушай!..“
Подумала Мария:
„Нехорошо в саду, наедине,
Украдкою внимать наветам змия,
И кстати ли поверить сатане?
Но царь небес меня хранит и любит,
Всевышний благ: он, верно, не погубит
Своей рабы, — за что ж? за разговор!
К тому же он не даст меня в обиду,
Да и змия скромна довольно с виду.
Какой тут грех? где зло? пустое, вздор!“

Подумала и ухо приклонила,
Забыв на час любовь и Гавриила.
Лукавый бес, надменно развернув
Гремучий хвост, согнув дугою шею,
С ветвей скользит и падает пред нею;
Желаний огнь во грудь ее вдохнув,
Он говорит:
„С рассказом Моисея
Не соглашу рассказа моего:
Он вымыслом хотел пленить еврея,
Он важно лгал, — и слушали его.
Бог наградил в нем слог и ум покорный,
Стал Моисей известный господин.
Но я, поверь, историк не придворный,
Не нужен мне пророка важный чин.

Они должны, красавицы другие,
Завидовать огню твоих очей;
Ты рождена, о скромная Мария,
Чтоб изумлять адамовых детей,
Чтоб властвовать их легкими сердцами,
Улыбкою блаженство им дарить,
Сводить с ума двумя-тремя словами,
По прихоти — любить и не любить...
Вот жребий твой. Как ты, младая Ева
В своем саду, скромна, умна, мила,
Но без любви в унынии цвела.
Всегда одни, глаз на̀ глаз, муж и дева
На берегах Эдема светлых рек
В спокойствии вели невинный век.
Скучна была их дней однообразность,
Ни рощи сень, ни молодость, ни праздность,
Ничто любви не воскрешало в них;
Рука с рукой гуляли, пили, ели,
Зевали днем, а ночью не имели
Ни страстных игр, ни радостей живых...
Что скажешь ты? Тиран несправедливый,
Еврейский бог, угрюмый и ревнивый,
Адамову подругу полюбя,
Ее хранил для самого себя...

Какая честь, и что за наслажденье!
На небесах, как будто в заточенье,
У ног его молися да молись,
Хвали его, красе его дивись,
Взглянуть не смей украдкой на другого,
С архангелом тихонько молвить слово;
Вот жребий той, которую творец
Себе возьмет в подруги наконец.
И что ж потом? За скуку, за мученье
Награда вся дьячков осиплых пенье,
Свечи, старух докучная мольба,
Да чад кадил, да образ под алмазом,
Написанный каким-то богомазом...
Как весело! Завидная судьба!

Мне стало жаль моей прелестной Евы;
Решился я, создателю на зло,
Разрушить сон и юноши и девы.
Ты слышала, как всё произошло?
Два яблока, вися на ветке дивной,
Счастливый знак, любви символ призывный,
Открыли ей неясную мечту.
Проснулися неясные желанья,
Она свою познала красоту,
И негу чувств, и сердца трепетанье,
И юного супруга наготу.
Я видел их! Любви, моей науки,
Прекрасное начало видел я.
В глухой лесок ушла чета моя.
Там быстро их блуждали взгляды, руки...
Меж милых ног супруги молодой,
Заботливый, неловкий и немой,
Адам искал восторгов упоенья,
Неистовым исполненный огнем,
Он вопрошал источник наслажденья
И, закипев душой, терялся в нем...
И не страшась божественного гнева,
Вся в пламени, власы раскинув, Ева,
Едва, едва устами шевеля,
Лобзанием Адаму отвечала,

В слезах любви, в бесчувствии лежала
Под тенью пальм, — и юная земля
Любовников цветами покрывала.

Блаженный день! Увенчанный супруг
Жену ласкал с утра до темной ночи,
Во тьме ночной смыкал он редко очи.
Как их тогда украшен был досуг!
Ты знаешь: бог, утехи прерывая,
Чету мою лишил навеки рая.
Он их изгнал из милой стороны,
Где без трудов они так долго жили,
И дни свои невинно проводили
В объятиях ленивой тишины.
Но им открыл я тайну сладострастья
И младости веселые права,
Томленье чувств, восторги, слезы счастья,
И поцелуй, и нежные слова.
Скажи теперь: ужели я предатель?
Ужель Адам несчастлив от меня?
Не думаю! но знаю только я,
Что с Евою остался я приятель".

Умолкнул бес. Мария в тишине
Коварному внимала сатане.
„Что ж, — думала, — быть может, прав лукавый;
Слыхала я, ни почестьми, ни славой,
Ни золотом блаженства не купить;
Слыхала я, что надобно любить...
Любить! Но как, зачем, и что такое?.."
А между тем вниманье молодое
Ловило всё в рассказе сатаны:
И действия, и странные причины,
И смелый слог, и вольные картины;
Охотники мы все до новизны.
Час от часу неясное начало
Опасных дум казалось ей ясней,
И вдруг змии как будто не бывало —
И новое явленье перед ней.
Мария зрит красавца молодого.

У ног ее, не говоря ни слова,
К ней устремив чудесный блеск очей,
Чего-то он красноречиво просит,
Одной рукой цветочек ей подносит,
Другая мнет простое полотно
И крадется под ризы торопливо,
И легкий перст касается игриво
До милых тайн... Всё для Марии диво,
Всё кажется ей ново, мудрено.
А между тем румянец не стыдливый
На девственных ланитах заиграл,
И томный жар и вздох нетерпеливый
Младую грудь Марии подымал.
Она молчит; но вдруг не стало мочи,
Едва дыша, закрыла томны очи,
К лукавому склонив свою главу,
Вскричала: ах!.. и пала на траву...

О, милый друг, кому я посвятил
Мой первый сон, надежды и желанья!
Красавица, которой был я мил,
Простишь ли мне мои воспоминанья?
Мои грехи, забавы юных дней,
Те вечера, когда в семье твоей,
При матери докучливой и строгой,
Тебя томил я тайною тревогой
И просветил невинные красы?
Я научил послушливую руку
Обманывать печальную разлуку
И услаждать безмолвные часы,
Бессоницы девическую муку.
Но молодость утрачена твоя,
От бледных уст улыбка отлетела,
Твоя краса во цвете помертвела...
Простишь ли мне, о милая моя?

Отец греха, Марии враг лукавый,
Ты был и здесь пред нею виноват,
Ее тебе приятен был разврат,
И ты успел преступною забавой

Всевышнего супругу просветить
И дерзостью невинность изумить.
Гордись, гордись своей проклятой славой!
Спеши ловить... но близок, близок час!
Вот меркнет день, заката луч погас.
Всё тихо. Вдруг над девой утомленной
Шумя парит архангел окриленный,
Посол любви, блестящий сын небес.

От ужаса при виде Гавриила
Красавица лицо свое закрыла.
Пред ним восстал, смутяся, мрачный бес
И говорит: „Счастливец горделивый
Кто звал тебя? Зачем оставил ты
Небесный двор, эфира высоты?
Зачем мешать утехе молчаливой,
Занятиям чувствительной четы?“
Но Гавриил, нахмуря взгляд ревнивый,
Рек на вопрос и дерзкий и шутливый:
„Безумный враг небесной красоты,
Повеса злой, изгнанник безнадежный,
Ты соблазнил красу Марии нежной
И смеешь мне вопросы задавать!
Беги сейчас, бесстыдник, раб мятежный,
Иль я тебя заставлю трепетать!“ —
„Не трепетал от ваших я придворных,
Всевышнего прислужников покорных,
От сводников небесного царя“. —
Проклятый рек и, злобою горя,
Наморщив лоб, скосясь, кусая губы,
Архангела ударил прямо в зубы.
Раздался крик, шатнулся Гавриил
И левое колено преклонил;
Но вдруг восстал, исполнен новым жаром,
И сатану нечаянным ударом
Хватил в висок. Бес ахнул, побледнел —
И кинулись в объятия друг другу.
Ни Гавриил, ни бес не одолел:
Сплетенные, кружась идут по лугу,
На вражью грудь опершись бородой,

Соединив крест на крест ноги, руки,
То силою, то хитростью науки
Хотят увлечь друг друга за собой.

Не правда ли? Вы помните то поле,
Друзья мои, где в прежни дни, весной,
Оставя класс, мы бегали на воле
И тешились отважною борьбой.
Усталые, забыв и брань и речи,
Так ангелы боролись меж собой.
Подземный царь, буян широкоплечий,
Вотще кряхтел с увертливым врагом,
И, наконец, желая кончить разом,
С архангела пернатый сбил шелом,
Златой шелом, украшенный алмазом.
Схватив врага за мягкие власы,
Он сзади гнет могучею рукою
К сырой земле. Мария пред собою
Архангела зрит юные красы
И за него в безмолвии трепещет.
Уж ломит бес, уж ад в восторге плещет;
Но к счастию проворный Гавриил
Впился ему в то место роковое
(Излишнее почти во всяком бое),
В надменный член, которым бес грешил.
Проклятый пал, пощады запросил
И в темный ад едва нашел дорогу.

На дивный бой, на страшную тревогу
Красавица глядела чуть дыша;
Когда же к ней, свой подвиг соверша,
Приветливо архангел обратился,
Огонь любви в лице ее разлился,
И нежностью исполнилась душа.
Ах, как была еврейка хороша!

Посол краснел и чувствия чужие
Так изъяснял в божественных словах:
„О, радуйся, невинная Мария!
Любовь с тобой, прекрасна ты в женах;

Стократ блажен твой плод благословенный:
Спасет он мир и ниспровергнет ад...
Но признаюсь душою откровенной,
Отец его блаженнее стократ".
И перед ней коленопреклоненный,
Он между тем ей нежно руку жал...
Потупя взор, прекрасная вздыхала,
И Гавриил ее поцеловал.
Смутясь она краснела и молчала;
Ее груди дерзнул коснуться он...
„Оставь меня!" Мария прошептала,
И в тот же миг лобзаньем заглушен
Невинности последний крик и стон...

Что делать ей? Что скажет бог ревнивый?
Не сетуйте, красавицы мои,
О женщины, наперсницы любви,
Умеете вы хитростью счастливой
Обманывать вниманье жениха
И знатоков внимательные взоры,
И на следы приятного греха
Невинности набрасывать уборы.
От матери проказливая дочь
Берет урок стыдливости покорной
И мнимых мук, и с робостью притворной
Играет роль в решительную ночь;
И поутру, оправясь понемногу,
Встает бледна, чуть ходит, так томна.
В восторге муж, мать шепчет: слава богу!
А старый друг стучится у окна.

Уж Гавриил с известием приятным
По небесам летит путем обратным.
Наперсника нетерпеливый бог
Приветствием встречает благодатным.
„Что нового?" — „Я сделал всё, что мог.
Я ей открыл". — „Ну что ж она?" — „Готова".
И царь небес, не говоря ни слова,
С престола встал и манием бровей
Всех удалил, как древле бог Гомера,
Когда смирял бесчисленных детей,

Но Греции навек угасла вера,
Зевеса нет, мы сделались умней.

Упоена живым воспоминаньем,
В своем углу Мария в тишине
Покоилась на смятой простыне.
Душа горит и негой и желаньем,
Младую грудь волнует новый жар;
Она зовет тихонько Гавриила,
Его любви готовя тайный дар;
Ночной покров ногою отдалила,
Довольный взор с улыбкою склонила,
И, счастлива в прелестной наготе,
Сама своей дивится красоте.
И между тем в задумчивости нежной
Она грешит, прелестна и томна,
И чашу пьет отрады безмятежной.
Смеешься ты, лукавый сатана!
И что же? вдруг мохнатый, белокрылый
В ее окно влетает голубь милый,
Над нею он порхает и кружит,
И пробует веселые напевы,
И вдруг летит в колени милой девы,
Над розою садится и дрожит,
Клюет ее, копышется, вертится,
И ножками и носиком трудится.
Он, точно он! — Мария поняла,
Что в голубе другого угощала;
Колени сжав, еврейка закричала,
Вздыхать, дрожать, молиться начала,
Заплакала, но голубь торжествует,
В жару любви трепещет и воркует
И падает, объятый легким сном,
Приосеня цветок любви крылом.

Он улетел. Усталая Мария
Подумала: „Вот шалости какие!
Один, два, три — как это им не лень?
Могу сказать, перенесла тревогу:
Досталась я в один и тот же день
Лукавому, архангелу и богу“.

Всевышний царь, как водится, потом
Признал своим еврейской девы сына,
Но Гавриил — завидная судьбина! —
Не преставал являться ей тайком.
Как многие, Иосиф был утешен,
Он пред женой попрежнему безгрешен,
Христа любил, как сына своего,
За то господь и наградил его.

Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы?
Навек забыв старинные проказы,
Я пел тебя, крылатый Гавриил,
Смиренных струн тебе я посвятил
Усердное, спасительное пенье.
Храни меня, внемли мое моленье!
Досель я был еретиком в любви,
Младых богинь безумный обожатель,
Друг демона, повеса и предатель...
Раскаянье мое благослови!
Приемлю я намеренья благие,
Переменюсь: Елену видел я;
Она мила, как нежная Мария,
Подвластна ей навек душа моя.
Моим речам придай очарованье,
Понравиться поведай тайну мне,
В ее груди зажги любви желанье,
Не то пойду молиться сатане!
Но дни текут, и время сединою
Мою главу тишком посеребрит,
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
Иосифа прекрасный утешитель!
Молю тебя, колено преклоня,
О рогачей заступник и хранитель,
Молю, тогда благослови меня.
Даруй ты мне блаженное терпенье,
Молю тебя, пошли мне вновь и вновь
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь.

# Братья разбойники

Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стеклися для стяжаний!
Здесь цель одна для всех сердец —
Живут без власти, без закона.
Меж ними зрится и беглец
С брегов воинственного Дона,
И в черных локонах еврей,
И дикие сыны степей,
Калмык, башкирец безобразный,
И рыжий финн, и с ленью праздной
Везде кочующий цыган!
Опасность, кровь, разврат, обман —
Суть узы страшного семейства;
Тот их, кто с каменной душой
Прошел все степени злодейства;
Кто режет хладною рукой
Вдовицу с бедной сиротой,
Кому смешно детей стенанье,
Кто не прощает, не щадит,

Кого убийство веселит,
Как юношу любви свиданье.

Затихло всё, теперь луна
Свой бледный свет на них наводит,
И чарка пенного вина
Из рук в другие переходит.
Простерты на земле сырой
Иные чутко засыпают:
И сны зловещие летают
Над их преступной головой.
Другим рассказы сокращают
Угрюмой ночи праздный час;
Умолкли все — их занимает
Пришельца нового рассказ,
И всё вокруг его внимает:

„Нас было двое: брат и я.
Росли мы вместе; нашу младость
Вскормила чуждая семья:
Нам, детям, жизнь была не в радость;
Уже мы знали нужды глас,
Сносили горькое презренье,
И рано волновало нас
Жестокой зависти мученье.
Не оставалось у сирот
Ни бедной хижинки, ни поля;
Мы жили в горе, средь забот;
Наскучила нам эта доля,
И согласились меж собой
Мы жребий испытать иной:
В товарищи себе мы взяли
Булатный нож да темну ночь:
Забыли робость и печали,
А совесть отогнали прочь.

Ах, юность, юность удалая!
Житье в то время было нам,
Когда, погибель презирая,
Мы всё делили пополам.

Бывало только месяц ясный
Взойдет и станет средь небес,
Из подземелия мы в лес
Идем на промысел опасный.
За деревом сидим и ждем:
Идет ли позднею дорогой
Богатый жид иль поп убогой, —
Всё наше! всё себе берем.
Зимой бывало в ночь глухую
Заложим тройку удалую,
Поем и свищем, и стрелой
Летим над снежной глубиной.
Кто не боялся нашей встречи?
Завидели в харчевне свечи —
Туда! к воротам, и стучим,
Хозяйку громко вызываем,
Вошли — всё даром: пьем, едим
И красных девушек ласкаем!

И что ж? попались молодцы;
Не долго братья пировали,
Поймали нас — и кузнецы
Нас друг ко другу приковали,
И стража отвела в острог.

Я старший был пятью годами
И вынесть больше брата мог.
В цепях, за душными стенами
Я уцелел — он изнемог.
С трудом дыша, томим тоскою,
В забвеньи, жаркой головою
Склоняясь к моему плечу,
Он умирал, твердя всечасно:
„Мне душно здесь... я в лес хочу...
Воды, воды!..“ но я напрасно
Страдальцу воду подавал:
Он снова жаждою томился,
И градом пот по нем катился,
В нем кровь и мысли волновал
Жар ядовитого недуга;

Уж он меня не узнавал
И поминутно призывал
К себе товарища и друга.
Он говорил: „Где скрылся ты?
Куда свой тайный путь направил?
Зачем мой брат меня оставил
Средь этой смрадной темноты?
Не он ли сам от мирных пашен
Меня в дремучий лес сманил,
И ночью там, могущ и страшен,
Убийству первый научил?
Теперь он без меня на воле
Один гуляет в чистом поле,
Тяжелым машет кистенем
И позабыл в завидной доле
Он о товарище своем!..“
То снова разгорались в нем
Докучной совести мученья:
Пред ним толпились привиденья,
Грозя перстом издалека.
Всех чаще образ старика,
Давно зарезанного нами,
Ему на мысли приходил;
Больной, зажав глаза руками,
За старца так меня молил:
„Брат! сжалься над его слезами!
Не режь его на старость лет...
Мне дряхлый крик его ужасен...
Пусти его — он неопасен;
В нем крови капли теплой нет...
Не смейся, брат, над сединами.
Не мучь его... авось мольбами
Смягчит за нас он божий гнев!..“
Я слушал, ужас одолев;
Хотел унять больного слезы
И удалить пустые грезы.
Он видел пляски мертвецов,
В тюрьму пришедших из лесов,
То слышал их ужасный шопот,
То вдруг погони близкий топот,

И дико взгляд его сверкал,
Стояли волосы горою,
И весь как лист он трепетал.
То мнил уж видеть пред собою
На площадях толпы людей,
И страшный ход до места казни,
И кнут и грозных палачей...
Без чувств, исполненный боязни,
Брат упадал ко мне на грудь.
Так проводил я дни и ночи,
Не мог минуты отдохнуть,
И сна не знали наши очи.

Но молодость свое взяла:
Вновь силы брата возвратились,
Болезнь ужасная прошла,
И с нею грезы удалились.
Воскресли мы. Тогда сильней
Взяла тоска по прежней доле;
Душа рвалась к лесам и к воле,
Алкала воздуха полей.
Нам тошен был и мрак темницы,
И сквозь решетки свет денницы,
И стражи клик, и звон цепей,
И легкий шум залетной птицы.

По улицам однажды мы,
В цепях, для городской тюрьмы
Сбирали вместе подаянье,
И согласились в тишине
Исполнить давнее желанье;
Река шумела в стороне,
Мы к ней—и с берегов высоких
Бух! поплыли в водах глубоких.
Цепями общими гремим,
Бьем волны дружными ногами,
Песчаный видим островок,
И, рассекая быстрый ток,
Туда стремимся. Вслед за нами
Кричат: „лови! лови! уйдут!“

Два стража издали плывут,
Но уж на остров мы ступаем,
Оковы камнем разбиваем,
Друг с друга рвем клочки одежд,
Отягощенные водою...
Погоню видим за собою;
Но смело, полные надежд,
Сидим и ждем. Один уж тонет,
То захлебнется, то застонет
И как свинец пошел ко дну.
Другой проплыл уж глубину,
С ружьем в руках, он в брод упрямо,
Не внемля крику моему,
Идет, но в голову ему
Два камня полетели прямо —
И хлынула на волны кровь;
Он утонул — мы в воду вновь,
За нами гнаться не посмели,
Мы берегов достичь успели
И в лес ушли. Но бедный брат...
И труд и волн осенний хлад
Недавних сил его лишили:
Опять недуг его сломил,
И злые грезы посетили.
Три дня больной не говорил
И не смыкал очей дремотой;
В четвертый грустною заботой,
Казалось, он исполнен был;
Позвал меня, пожал мне руку,
Потухший взор изобразил
Одолевающую муку;
Рука задрогла, он вздохнул
И на груди моей уснул.

Над хладным телом я остался,
Три ночи с ним не расставался,
Всё ждал, очнется ли мертвец?
И горько плакал. Наконец
Взял заступ; грешную молитву
Над братней ямой совершил

И тело в землю схоронил...
Потом на прежнюю ловитву
Пошел один... Но прежних лет
Уж не дождусь: их нет, как нет!
Пиры, веселые ночлеги,
И наши буйные набеги —
Могила брата всё взяла.
Влачусь угрюмый, одинокой;
Окаменел мой дух жестокой,
И в сердце жалость умерла.
Но иногда щажу морщины:
Мне страшно резать старика;
На беззащитные седины
Не подымается рука.
Я помню, как в тюрьме жестокой
Больной, в цепях, лишенный сил,
Без памяти, в тоске глубокой
За старца брат меня молил".

# Бахчисарайский фонтан

> Многие так же, как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече.
>
> *Сади.*

Гирей сидел потупя взор;
Янтарь в устах его дымился;
Безмолвно раболепный двор
Вкруг хана грозного теснился.
Всё было тихо во дворце;
Благоговея, все читали
Приметы гнева и печали
На сумрачном его лице.
Но повелитель горделивый
Махнул рукой нетерпеливой:
И все, склонившись, идут вон.

Один в своих чертогах он;
Свободней грудь его вздыхает;
Живее строгое чело
Волненье сердца выражает.
Так бурны тучи отражает
Залива зыбкое стекло.

Что движет гордою душою?
Какою мыслью занят он?

На Русь ли вновь идет войною,
Несет ли Польше свой закон,
Горит ли местию кровавой,
Открыл ли в войске заговор,
Страшится ли народов гор,
Иль козней Генуи лукавой?

Нет, он скучает бранной славой,
Устала грозная рука;
Война от мыслей далека.

Ужель в его гарем измена
Стезей преступною вошла,
И дочь неволи, нег и плена
Гяуру сердце отдала?

Нет, жены робкие Гирея,
Ни думать, ни желать не смея,
Цветут в унылой тишине;
Под стражей бдительной и хладной
На лоне скуки безотрадной
Измен не ведают оне.
В тени хранительной темницы
Утаены их красоты:
Так аравийские цветы
Живут за стеклами теплицы.
Для них унылой чередой
Дни, месяцы, лета проходят
И неприметно за собой
И младость и любовь уводят.
Однообразен каждый день,
И медленно часов теченье.
В гареме жизнью правит лень;
Мелькает редко наслажденье.
Младые жены, как-нибудь
Желая сердце обмануть,
Меняют пышные уборы,
Заводят игры, разговоры,
Или при шуме вод живых,
Над их прозрачными струями

В прохладе яворов густых
Гуляют легкими роями.
Меж ними ходит злой эвнух,
И убегать его напрасно:
Его ревнивый взор и слух
За всеми следует всечасно.
Его стараньем заведен
Порядок вечный. Воля хана
Ему единственный закон;
Святую заповедь Корана
Не строже наблюдает он.
Его душа любви не просит;
Как истукан он переносит
Насмешки, ненависть, укор,
Обиды шалости нескромной,
Презренье, просьбы, робкий взор,
И тихий вздох, и ропот томный.
Ему известен женский нрав;
Он испытал, сколь он лукав
И на свободе и в неволе:
Взор нежный, слез упрек немой
Невластны над его душой;
Он им уже не верит боле.

Раскинув легкие власы,
Как идут пленницы младые
Купаться в жаркие часы,
И льются волны ключевые
На их волшебные красы,
Забав их сторож неотлучный,
Он тут; он видит, равнодушный,
Прелестниц обнаженный рой;
Он по гарему в тьме ночной
Неслышными шагами бродит;
Ступая тихо по коврам,
К послушным крадется дверям,
От ложа к ложу переходит;
В заботе вечной ханских жен
Роскошный наблюдает сон,
Ночной подслушивает лепет;

Дыханье, вздох, малейший трепет —
Всё жадно примечает он;
И горе той, чей шопот сонный
Чужое имя призывал,
Или подруге благосклонной
Порочны мысли доверял!

Что ж полон грусти ум Гирея?
Чубук в руках его потух;
Недвижим и дохнуть не смея,
У двери знака ждет эвнух.
Встает задумчивый властитель;
Пред ним дверь настежь. Молча, он
Идет в заветную обитель
Еще недавно милых жен.

Беспечно ожидая хана,
Вокруг игривого фонтана
На шелковых коврах оне
Толпою резвою сидели
И с детской радостью глядели,
Как рыба в ясной глубине
На мраморном ходила дне.
Нарочно к ней на дно иные
Роняли серьги золотые.
Кругом невольницы меж тем
Шербет носили ароматный,
И песнью звонкой и приятной
Вдруг огласили весь гарем.

*Татарская песня*

1

Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Меку
На старости печальных лет.

2

Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит:
К нему навстречу дева рая
С улыбкой страстной полетит.

3

Но тот блаженней, о Зарема,
Кто, мир и негу возлюбя,
Как розу, в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя.

Они поют. Но где Зарема,
Звезда любви, краса гарема?
Увы, печальна и бледна,
Похвал не слушает она;
Как пальма, смятая грозою,
Поникла юной головою;
Ничто, ничто не мило ей:
Зарему разлюбил Гирей.

Он изменил!.. Но кто с тобою,
Грузинка, равен красотою?
Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи;
Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?
Как сердце, полное тобой,
Забьется для красы чужой?
Но, равнодушный и жестокой,
Гирей презрел твои красы
И ночи хладные часы
Проводит, мрачный, одинокой,
С тех пор, как польская княжна
В его гарем заключена.

Недавно юная Мария
Узрела небеса чужие;
Недавно милою красой
Она цвела в стране родной.
Седой отец гордился ею
И звал отрадою своею.
Для старика была закон
Ее младенческая воля.
Одну заботу ведал он,
Чтоб дочери любимой доля
Была, как вешний день, ясна,
Чтоб и минутные печали
Ее души не помрачали,
Чтоб даже замужем она
Воспоминала с умиленьем
Девичье время, дни забав,
Мелькнувших легким сновиденьем.
Всё в ней пленяло: тихий нрав,
Движенья стройные, живые
И очи томно-голубые.
Природы милые дары
Она искусством украшала;
Она домашние пиры
Волшебной арфой оживляла;
Толпы вельмож и богачей
Руки Марииной искали,
И много юношей по ней
В страданье тайном изнывали.
Но в тишине души своей
Она любви еще не знала
И независимый досуг
В отцовском зàмке меж подруг
Одним забавам посвящала.

Давно ль? И что же! Тьмы татар
На Польшу хлынули рекою:
Не с столь ужасной быстротою
По жатве стелется пожар.
Обезображенный войною,
Цветущий край осиротел;

Исчезли мирные забавы;
Уныли села и дубравы,
И пышный за̀мок опустел.
Тиха Мариина светлица...
В домовой церкви, где кругом
Почиют мощи хладным сном,
С короной, с княжеским гербом
Воздвиглась новая гробница...
Отец в могиле, дочь в плену,
Скупой наследник в за̀мке правит
И тягостным ярмом бесславит
Опустошенную страну.

Увы! Дворец Бахчисарая
Скрывает юную княжну.
В неволе тихой увядая,
Мария плачет и грустит.
Гирей несчастную щадит:
Ее унынье, слезы, стоны
Тревожат хана краткий сон,
И для нее смягчает он
Гарема строгие законы.
Угрюмый сторож ханских жен
Ни днем, ни ночью к ней не входит,
Рукой заботливой не он
На ложе сна ее возводит;
Не смеет устремиться к ней
Обидный взор его очей;
Она в купальне потаенной
Одна с невольницей своей;
Сам хан боится девы пленной
Печальный возмущать покой;
Гарема в дальнем отделенье
Позволено ей жить одной:
И, мнится, в том уединенье
Сокрылся некто неземной.
Там день и ночь горит лампада
Пред ликом девы пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Там упованье в тишине

С смиренной верой обитает,
И сердцу всё напоминает
О близкой, лучшей стороне...
Там дева слезы проливает
Вдали завистливых подруг;
И между тем, как всё вокруг
В безумной неге утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасенный чудом уголок.
Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений,
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство...
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля;
Вдали под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья;
За хором звезд луна восходит;
Она с безоблачных небес
На долы, на холмы, на лес
Сиянье томное наводит.
Покрыты белой пеленой,
Как тени легкие мелькая,
По улицам Бахчисарая,
Из дома в дом, одна к другой,
Простых татар спешат супруги
Делить вечерние досуги.
Дворец утих; уснул гарем,
Объятый негой безмятежной;
Не прерывается ничем
Спокойство ночи. Страж надежный,
Дозором обошел эвнух.
Теперь он спит; но страх прилежный
Тревожит в нем и спящий дух.
Измен всечасных ожиданье
Покоя не дает ему.
То чей-то шорох, то шептанье,

«Бахчисарайский фонтан». С автолитографии *Г. А. Васильева*

То крики чудятся ему;
Обманутый неверным слухом,
Он пробуждается, дрожит,
Напуганным приникнув ухом...
Но всё кругом его молчит;
Одни фонтаны сладкозвучны
Из мраморной темницы бьют,
И с милой розой неразлучны
Во мраке соловьи поют;
Эвнух еще им долго внемлет,
И снова сон его объемлет.

Как милы темные красы
Ночей роскошного востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей пророка!
Какая нега в их домах,
В очаровательных садах,
В тиши гаремов безопасных,
Где под влиянием луны
Всё полно тайн и тишины
И вдохновений сладострастных!

Все жены спят. Не спит одна.
Едва дыша, встает она;
Идет; рукою торопливой
Открыла дверь; во тьме ночной
Ступает легкою ногой...
В дремоте чуткой и пугливой
Пред ней лежит эвнух седой.
Ах, сердце в нем неумолимо:
Обманчив сна его покой!..
Как дух, она проходит мимо.
. . . . . . . . . . . . . .

Пред нею дверь; с недоуменьем
Ее дрожащая рука
Коснулась верного замка...
Вошла, взирает с изумленьем...
И тайный страх ее проник.
Лампады свет уединенный,

Кивот, печально озаренный,
Пречистой девы кроткий лик
И крест, любви символ священный,
Грузинка, всё в душе твоей
Родное что-то пробудило,
Всё звуками забытых дней
Невнятно вдруг заговорило.
Пред ней покоилась княжна,
И жаром девственного сна
Ее ланиты оживлялись
И, слез являя свежий след,
Улыбкой томной озарялись:
Так озаряет лунный свет
Дождем отягощенный цвет.
Спорхнувший с неба, сын эдема,
Казалось, ангел почивал
И сонный слезы проливал
О бедной пленнице гарема...
Увы, Зарема, что с тобой!
Стеснилась грудь ее тоской,
Невольно клонятся колени,
И молит: „Сжалься надо мной,
Не отвергай моих молений!..“
Ее слова, движенье, стон
Прервали девы тихий сон.
Княжна со страхом пред собою
Младую незнакомку зрит;
В смятенье, трепетной рукою
Ее подъемля, говорит:
„Кто ты?.. Одна, порой ночною,
Зачем ты здесь?“ — „Я шла к тебе:
Спаси меня; в моей судьбе
Одна надежда мне осталась...
Я долго счастьем наслаждалась,
Была беспечней день от дня...
И тень блаженства миновалась,
Я гибну. Выслушай меня.

Родилась я не здесь, далеко,
Далеко... но минувших дней

Предметы в памяти моей
Доныне врезаны глубоко.
Я помню горы в небесах,
Потоки жаркие в горах,
Непроходимые дубравы,
Другой закон, другие нравы,
Но почему, какой судьбой
Я край оставила родной,
Не знаю; помню только море
И человека в вышине
Над парусами...
Страх и горе
Доныне чужды были мне;
Я в безмятежной тишине
В тени гарема расцветала
И первых опытов любви
Послушным сердцем ожидала.
Желанья тайные мои
Сбылись. Гирей для мирной неги
Войну кровавую презрел,
Пресек ужасные набеги
И свой гарем опять узрел.
Пред хана в смутном ожиданье
Предстали мы. Он светлый взор
Остановил на мне в молчанье,
Позвал меня... и с этих пор
Мы в беспрерывном упоенье
Дышали счастьем; и ни раз
Ни клевета, ни подозренье,
Ни злобной ревности мученье,
Ни скука не смущала нас.
Мария, ты пред ним явилась...
Увы, с тех пор его душа
Преступной думой омрачилась!
Гирей, изменою дыша,
Моих не слушает укоров,
Ему докучен сердца стон;
Ни прежних чувств, ни разговоров
Со мною не находит он.
Ты преступленью не причастна,

Я знаю, не твоя вина...
Итак, послушай: я прекрасна;
Во всем гареме ты одна
Могла б еще мне быть опасна;
Но я для страсти рождена,
Но ты любить, как я, не можешь;
Зачем же хладной красотой
Ты сердце слабое тревожишь?
Оставь Гирея мне: он мой;
На мне горят его лобзанья,
Он клятвы страшные мне дал,
Давно все думы, все желанья
Гирей с моими сочетал;
Меня убьет его измена...
Я плачу! видишь, я колена
Теперь склоняю пред тобой,
Молю, винить тебя не смея,
Отдай мне радость и покой,
Отдай мне прежнего Гирея...
Не возражай мне ничего;
Он мой! он ослеплен тобою.
Презреньем, просьбою, тоскою,
Чем хочешь, отврати его;
Клянись... (хоть я для Алкорана,
Между невольницами хана,
Забыла веру прежних дней;
Но вера матери моей
Была твоя) клянись мне ею
Зарему возвратить Гирею.
Но слушай: если я должна
Тебе... кинжалом я владею,
Я близ Кавказа рождена".

Сказав, исчезла вдруг. За нею
Не смеет следовать княжна.
Невинной деве непонятен
Язык мучительных страстей:
Но голос их ей смутно внятен;
Он странен, он ужасен ей.
Какие слезы и моленья

Ее спасут от посрамленья?
Что ждет ее? Ужели ей
Остаток горьких юных дней
Провесть наложницей презренной?
О боже! если бы Гирей
В ее темнице отдаленной
Забыл несчастную навек,
Или кончиной ускоренной
Унылы дни ее пресек;
С какою б радостью Мария
Оставила печальный свет!
Мгновенья жизни дорогие
Давно прошли, давно их нет!
Что делать ей в пустыне мира?
Уж ей пора, Марию ждут,
И в небеса на лоно мира
Родной улыбкою зовут.

. . . . . . . . . . . . . . .

Промчались дни; Марии нет.
Мгновенно сирота почила.
Она давно-желанный свет,
Как новый ангел, озарила.
Но что же в гроб ее свело?
Тоска ль неволи безнадежной,
Болезнь, или другое зло?..
Кто знает? Нет Марии нежной!..
Дворец угрюмый опустел;
Его Гирей опять оставил;
С толпой татар в чужой предел
Он злой набег опять направил;
Он снова в бурях боевых
Несется мрачный, кровожадный:
Но в сердце хана чувств иных
Таится пламень безотрадный.
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю, и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,

И что-то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой.

Забытый, преданный презренью,
Гарем не зрит его лица;
Там, обреченные мученью,
Под стражей хладного скопца
Стареют жены. Между ними
Давно грузинки нет; она
Гарема стражами немыми
В пучину вод опущена.
В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и ее страданье.
Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье!

Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И села мирные России,
В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан,
В углу дворца уединенный.
Над ним крестом осенена
Магометанская луна
(Символ конечно дерзновенный,
Незнанья жалкая вина).
Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, падшем на войне.
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали
И мрачный памятник оне
*Фонтаном слез* именовали.

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвенье дремлющий дворец.
Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где бич народов,
Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал.
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.
Я видел ветхие решетки,
За коими, в своей весне,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены в тишине.
Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою.
Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом всё тихо, всё уныло,
Всё изменилось... но не тем
В то время сердце полно было.
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!..
. . . . . . . . . . . . .

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня
Неотразимый, неизбежный?

Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную...
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...
Безумец! Полно, перестань,
Не оживляй тоски напрасной!
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань. —
Опомнись, долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край! очей отрада!
Всё живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада;
Всё чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага...

I

## Выписка из путешествия по Тавриде

*И. М. Муравьева-Апостола*

Вчера ввечеру, подъехав к Бахчисараю и спустившись в ущелину, в которой он лежит, я засветло успел только проехать длинную улицу, ведущую к Хан-сараю (т. е. к ханскому дворцу), на восточном конце города находящемуся. Солнце давно уже не видно было за горами, и сумрак начинал сгущаться, когда я вступил на первый двор *сарая*. Это не помешало мне пробежать по теремам и дворам таврической *Аламбры*; и чем менее видимы становилися предметы, тем живее делалась игра воображения моего, наполнившегося радужными цветами восточной поэзии.

Я поведу тебя, мой друг, не из покоев, но так, как должно, от внешних ворот, в которые проезд с улицы, по мосту, через узкую *Грязную речку* Сурук-су. Прошед в ворота, ты на первом дворе, на пространном параллелограме, коего противоположный входу, малый бок граничит с садовыми террасами; оба же большие заняты на левой стороне мечетью и службами, а с правой дворцом, состоящим из смежных неодинаковой высоты зданий. На этой правой стороне, чрез ворота, под строением находящиеся, ты проходишь во внутренний двор, где тотчас на левой руке представляются тебе железные двери, пестро в аравском вкусе украшенные, с двуглавым над ними орлом, занявшим место оттоманской луны.

Переступив за порог, ты в пространных сенях на марморном помосте и на правой руке видишь широкое крыльцо, ведущее на верхние палаты. Но сперва остановимся в сенях и посмотрим на два прекрасные фонтана, беспрестанно лиющие воду из стены в белые марморные чаши, один насупротив дверей, другой тотчас налево.

Дабы не оставить ничего недосказанным о сем нижнем помосте, заметим широкий коридор от левого угла противуположной входу стены, ведущий прямо в домовую ханскую божницу, над дверью коей начертано:

Селамид-Гирей хан, сын Гаджи-Селим-Гирея хана. *

* Селамид владел от 1587 по 1610.

Другая дверь того же коридора налево дает вход в большую комнату, где диван вокруг стен до половины покоя, с марморным посреди оного водметом. Это убежище прелестно прохладою в знойные часы, когда раскаляются от жару окружающие Бахчисарай горы. Третья дверь ведет в ханский диван, т. е. в комнату, где собирался государственный совет; в нее есть вход и через переднюю, снаружи от большого двора.

Когда я опишу тебе одну из зал верхнего жилья, ты будешь иметь понятие о всех прочих, разнствующих между собою одним только большим или меньшим украшением на стенах. Как фасад строения не по прямой черте, а городками, то первое должно заметить, что главные залы освещены с трех сторон, т. е. все из фасада выступающие оных стены всплошь окончатые. Другого входа в залу нет, кроме одной двери боковой, неприметной, между пиластрами аравского вкуса, между коими и шкафы, также не приметные, находятся по всей темной этой стене. Над оными стекла (в лучших залах) снутри и снаружи покоя, до потолка, между коими стоят украшения лепной работы, как то: чаши с плодами, с цветами, или деревца, с чучелами разных птиц. Потолки так же, как и темная стена, столярной работы и весьма красивы: это тоненькая вызолоченная решетка, лежащая на лаковом грунте, густого красного цвета; на полу я увидел знакомые мне по Испании *эстеры*, т. е. рогожки, весьма искусно сплетенные из тростника, род *гениста*, и употребляемые вместо ковров на полах кирпичных или каменных. Для защиты от яркости лучей в комнате, с трех сторон освещенной, кроме ставней, служат еще и цветные, узорчатые стекла в окнах, любимое рыцарских замков украшение, без сомнения, занятое европейцами от восточных народов, во время крестовых походов. Если в заключение сего общего описания ты представишь себе диван, т. е. подушки, некогда из шелковых тканей, на полу лежащие вокруг всех стен, исключая темной, ты будешь иметь понятие о лучших залах дворца, кроме трех или четырех, переделанных для императрицы Екатерины II, в европейском вкусе, с высокими диванами, креслами и столами. Сия последняя утварь особливо драгоценна для нас *крещеных*, ибо во всех странах, где проповедуется Коран, правоверные вместо столов употребляют низкие круглые скамьи, на которые ставят подносы, и едят на них сидя, поджав под себя ноги, на полу.

Ты легко догадаться можешь, что в стороне от сего строения находился гарем, неприступный для всех, кроме хана, и для него одного имеющий сообщение чрез коридор с дворцом. Эта часть более всех в упадке. Разные домики, в коих некогда жертвы любви, или,

лучше сказать, любострастия томилися в неволе, представляют теперь печальную картину разрушения: обвалившиеся потолки, изломанные полы. Время сокрушило узилище; но что в том пользы, когда то же время, роком узницам определенное, протекло для них безотрадно, в рабских угождениях *одному*, не по сердцу избранному другу, но жестокому властелину! На краю сего гарема стоит на большом дворе высокая шестиугольная беседка, с решетками вместо окон, из которой, как сказывают, ханские жены, невидимые, смотрели на игры, въезды послов и другие позорища. Иные говорят, будто бы тут хан любовался фазанами и показывал их любимицам своим. Это последнее потому только вероятно, что петух с семейством своим есть единственная картина, которую супруг-мусульманин может представлять невольницам своим в оправдание многоженства. Между сею полусогнившею беседкою и комнатою, о которой я говорил, на нижнем помосте с марморным фонтаном, есть прекрасный цветничек, где мирт и розы могли некогда внушать песни татарскому Анакреону.

Но пора оставить сии грудь теснящие памятники невольничества и выйти подышать на чистом воздухе. Вот насупротив больших ворот, на конце двора, к горе примыкающегося, террасы в четыре уступа, на коих плодоносные деревья, виноград на решетках и прозрачные источники, с уступа на другой лиющиеся, в каменные бассейны. Может быть, некогда мурзы-царедворцы, уподобляя Гиреев владыкам Вавилона, сравнивали и террасы их с висящими садами Семирамиды: но теперь крымское чудо сие представляет вид опустения, так как и все памятники в Тавриде. Более всего жаль драгоценнейшего здесь сокровища, воды: многие трубы уже засорились, а некоторые источники и совсем исчезли.

За мечетью, вне двора, кладбище ханов и султанов владетельного дома Гиреев. Прах их покоится под белыми, марморными гробницами, осененными высокими тополями, ореховыми и шелковичными деревьями. Тут лежат Менгли и отец его, основатель могущества царства крымского. Все памятники покрыты надписями.

Прежде, нежели оставим сию юдоль сна непробудного, я укажу тебе отсюда на холм, влево от верхней садовой террасы, на коем стоит красивое здание с круглым куполом: это мавзолей прекрасной грузинки, жены хана Керим-Гирея. Новая Заира, силою прелестей своих, она повелевала тому, кому всё здесь повиновалось; но не долго: увял райский цвет в самое утро жизни своей, и безотрадный Керим соорудил *любезной* памятник сей, дабы ежедневно входить в оный и утешаться слезами над прахом незабвенной. Я сам хотел поклониться

гробу красавицы, но нет уже более входа к нему; дверь наглухо заложена. Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем. Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания, и что во второй половине XVIII века не так легко было татарам похищать полячек, все доводы мои остались бесполезными: они стоят в одном: красавица была Потоцкая; и я другой причины упорству сему не нахожу, как разве принятое и справедливое мнение, что красота женская есть, так сказать, принадлежность рода Потоцких.

II

## Отрывок из письма

Из Азии переехали мы в Европу* на корабле. Я тотчас отправился на так названную *Митридатову гробницу* (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи и только. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал; луны не было; звезды блистали; передо мною в тумане тянулись полуденные горы... „Вот Четырдаг", сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам, тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аю-даг... и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...

В Юрзуфе жил я *сиднем*, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностию неаполитанского lazzaroni. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я посещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот всё, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти.

Я объехал полуденный берег, и путешествие М. оживило во мне много воспоминаний, но страшный переход его по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно, и казалось каким-то таинственным восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжалось: я начал уж тосковать о милом полудне, хотя всё еще находился в Тавриде, всё еще видел и тополи и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же

* Из Тамани в Керчь.

видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических, по крайней мере тут посетили меня рифмы.

В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes.* * Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище:

Но не тем
В то время сердце полно было:

лихорадка меня мучила.

Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М., я о нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался.

* <Фонтаном слез.>

## Цыганы

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность весел их ночлег
И мирный сон под небесами.
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле.
Всё живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недальний,
И песни жен, и крик детей,
И звон походной наковальни.
Но вот на табор кочевой
Нисходит сонное молчанье,
И слышно в тишине степной
Лишь лай собак да коней ржанье.
Огни везде погашены,
Спокойно всё, луна сияет
Одна с небесной вышины
И тихий табор озаряет.

В шатре одном старик не спит;
Он перед углями сидит,
Согретый их последним жаром,
И в поле дальное глядит,
Ночным подернутое паром.
Его молоденькая дочь
Пошла гулять в пустынном поле.
Она привыкла к резвой воле,
Она придет; но вот уж ночь,
И скоро месяц уж покинет
Небес далеких облака;
Земфиры нет как нет, и стынет
Убогий ужин старика.

Но вот она. За нею следом
По степи юноша спешит;
Цыгану вовсе он неведом.
„Отец мой, — дева говорит, —
Веду я гостя: за курганом
Его в пустыне я нашла
И в табор нà ночь зазвала.
Он хочет быть как мы цыганом;
Его преследует закон,
Но я ему подругой буду.
Его зовут Алеко; он
Готов идти за мною всюду“.

Старик

Я рад. Останься до утра
Под сенью нашего шатра
Или пробудь у нас и доле,
Как ты захочешь. Я готов
С тобой делить и хлеб и кров.
Будь наш, привыкни к нашей доле,
Бродящей бедности и воле;
А завтра с утренней зарей
В одной телеге мы поедем;
Примись за промысел любой:
Железо куй, иль песни пой
И села обходи с медведем.

**„Цыганы“. С рис.** *Л. Ф. Майделя*

Алеко

Я остаюсь.

Земфира

Он будет мой:
Кто ж от меня его отгонит?
Но поздно... месяц молодой
Зашел, поля покрыты мглой,
И сон меня невольно клонит...

---

Светло. Старик тихонько бродит
Вокруг безмолвного шатра.
„Вставай, Земфира, солнце всходит,
Проснись, мой гость, пора, пора!
Оставьте, дети, ложе неги“.
И с шумом высыпал народ,
Шатры разобраны, телеги
Готовы двинуться в поход;
Всё вместе тронулось: и вот
Толпа валит в пустых равнинах.
Ослы в перекидных корзинах
Детей играющих несут;
Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрып телег,
Всё скудно, дико, всё нестройно;
Но всё так живо-непокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной.

---

Уныло юноша глядел
На опустелую равнину

И грусти тайную причину
Истолковать себе не смел.
С ним черноская Земфира,
Теперь он вольный житель мира,
И солнце весело над ним
Полуденной красою блещет;
Что ж сердце юноши трепещет?
Какой заботой он томим?
Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда,
В долгу ночь на ветке дремлет;
Солнце красное взойдет,
Птичка гласу бога внемлет,
Встрепенется и поет.
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдет —
И туман и непогоды
Осень поздняя несет:
Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальние страны,
В теплый край, за сине море
Улетает до весны.
Подобно птичке беззаботной
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю бога,
И жизни не могла тревога
Смутить его сердечну лень.
Его порой волшебной славы
Манила дальняя звезда,
Нежданно роскошь и забавы
К нему являлись иногда;
Над одинокой головою
И гром нередко грохотал;

Но он беспечно под грозою
И в вёдро ясное дремал.
И жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой;
Но, боже, как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирели?
Они проснутся: погоди.

---

Земфира

Скажи, мой друг, ты не жалеешь
О том, что бросил навсегда?

Алеко

Что ж бросил я?

Земфира

Ты разумеешь:
Людей отчизны, города.

Алеко

О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди в кучах, за оградой
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
Что бросил я? Измен волненье,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор.

Земфира

Но там огромные палаты,
Там разноцветные ковры.
Там игры, шумные пиры,
Уборы дев там так богаты!

Алеко

Что шум веселий городских?
Где нет любви, там нет веселий;
А девы... Как ты лучше их
И без нарядов дорогих,
Без жемчугов, без ожерелий!
Не изменись, мой нежный друг!
А я... одно мое желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье.

Старик

Ты любишь нас, хоть и рожден
Среди богатого народа;
Но не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен.
Меж нами есть одно преданье:
Царем когда-то сослан был
Полудня житель к нам в изгнанье
(Я прежде знал, но позабыл
Его мудреное прозванье).
Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной:
Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный.
И полюбили все его,
И жил он на брегах Дуная,
Не обижая никого,
Людей рассказами пленяя.
Не разумел он ничего,
И слаб и робок был как дети;
Чужие люди за него

Зверей и рыб ловили в сети;
Как мерзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей покрывали
Они святого старика;
Но он к заботам жизни бедной
Привыкнуть никогда не мог;
Скитался он, иссохший, бледный,
Он говорил, что гневный бог
Его карал за преступленье,
Он ждал: придет ли избавленье.
И всё несчастный тосковал,
Бродя по берегам Дуная,
Да горьки слезы проливал,
Свой дальный град воспоминая,
И завещал он умирая,
Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости,
И смертью — чуждой сей земли
Не успокоенные гости.

Алеко

Так вот судьба твоих сынов,
О Рим, о громкая держава!
Певец любви, певец богов,
Скажи мне: что такое слава?
Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий,
Или под сенью дымной кущи
Цыгана дикого рассказ?

---

Прошло два лета. Так же бродят
Цыганы мирною толпой;
Везде, попрежнему, находят
Гостеприимство и покой.
Презрев оковы просвещенья,
Алеко волен как они;
Он без забот и сожаленья
Ведет кочующие дни.

Всё тот же он, семья всё та же;
Он, прежних лет не помня даже,
К бытью цыганскому привык.
Он любит их ночлегов сени
И упоенье вечной лени
И бедный, звучный их язык.
Медведь, беглец родной берлоги,
Косматый гость его шатра,
В селеньях, вдоль степной дороги,
Близ молдаванского двора
Перед толпою осторожной
И тяжко пляшет и ревет,
И цепь докучную грызет.
На посох опершись дорожный,
Старик лениво в бубны бьет,
Алеко с пеньем зверя водит,
Земфира поселян обходит
И дань их вольную берет;
Настанет ночь; они все трое
Варят нежатое пшено;
Старик уснул — и всё в покое...
В шатре и тихо и темно.

---

Старик на вешнем солнце греет
Уж остывающую кровь;
У люльки дочь поет любовь.
Алеко внемлет и бледнеет.

Земфира

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня.

Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя.

Алеко

Молчи. Мне пенье надоело,
Я диких песен не люблю.

Земфира

Не любишь? мне какое дело!
Я песню для себя пою.

Режь меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый муж, грозный муж,
Не узнаешь его.

Он свежее весны,
Жарче летнего дня;
Как он молод и смел!
Как он любит меня!

Как ласкала его
Я в ночной тишине!
Как смеялись тогда
Мы твоей седине!

Алеко

Молчи, Земфира, я доволен...

Земфира

Так понял песню ты мою?

Алеко

Земфира!..

Земфира

Ты сердиться волен,
Я песню про тебя пою.

*(Уходит и поет:*

Старый муж и проч.)

Старик

Так, помню, помню: песня эта
Во время наше сложена,
Уже давно в забаву света
Поется меж людей она.
Кочуя на степях Кагула,
Ее бывало в зимню ночь
Моя певала Мариула,
Перед огнем качая дочь.
В уме моем минувши лета
Час от часу темней, темней;
Но заронилась песня эта
Глубоко в памяти моей.

---

Всё тихо; ночь; луной украшен
Лазурный юга небосклон,
Старик Земфирой пробужден.
„О мой отец, Алеко страшен:
Послушай, сквозь тяжелый сон
И стонет и рыдает он“.

Старик

Не тронь его, храни молчанье.
Слыхал я русское преданье:
Теперь полуночной порой
У спящего теснит дыханье
Домашний дух; перед зарей
Уходит он. Сиди со мной.

Земфира

Отец мой! шепчет он: Земфира!

Старик

Тебя он ищет и во сне:
Ты для него дороже мира.

Земфира

Его любовь постыла мне,
Мне скучно, сердце воли просит,
Уж я... но тише! слышишь? он
Другое имя произносит.

Старик

Чье имя?

Земфира

Слышишь? хриплый стон
И скрежет ярый!.. Как ужасно;
Я разбужу его.

Старик

Напрасно,
Ночного духа не гони;
Уйдет и сам.

Земфира

Он повернулся;
Привстал; зовет меня; проснулся.
Иду к нему. — Прощай, усни.

Алеко

Где ты была?

Земфира

С отцом сидела.
Какой-то дух тебя томил,
Во сне душа твоя терпела
Мученья. Ты меня страшил:
Ты сонный скрежетал зубами
И звал меня.

Алеко

Мне снилась ты.
Я видел, будто между нами...
Я видел страшные мечты.

Земфира

Не верь лукавым сновиденьям.

Алеко

Ах, я не верю ничему:
Ни снам, ни сладким увереньям,
Ни даже сердцу твоему.

---

Старик

О чем, безумец молодой,
О чем вздыхаешь ты всечасно?
Здесь люди вольны, небо ясно,
И жены славятся красой.
Не плачь, тоска тебя погубит.

Алеко

Отец! она меня не любит.

Старик

Утешься, друг; она дитя,
Твое уныньe безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит,
И вот, уж перешла в другое
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
Утешься!

Алеко

Как она любила!
Как нежно преклонясь ко мне,
Она в пустынной тишине
Часы ночные проводила!
Веселья детского полна,
Как часто милым лепетаньем
Иль упоительным лобзаньем
Мою задумчивость она
В минуту разогнать умела!
И что ж? Земфира не верна!
Моя Земфира охладела.

Старик

Послушай, расскажу тебе
Я повесть о самом себе.
Давно, давно, когда Дунаю
Не угрожал еще москаль —
(Вот видишь: я припоминаю,
Алеко, старую печаль.)
Тогда боялись мы султана;
А правил Буджаком паша
С высоких башен Акермана —
Я молод был; моя душа
В то время радостно кипела,
И ни одна в кудрях моих
Еще сединка не белела;
Между красавиц молодых
Одна была... и долго ею
Как солнцем любовался я,
И наконец назвал моею.

Ах, быстро молодость моя
Звездой падучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула
Еще быстрее: только год
Меня любила Мариула.

Однажды близ кагульских вод
Мы чуждый табор повстречали;

Цыганы те, свои шатры
Разбив близ наших у горы,
Две ночи вместе ночевали.
Они ушли на третью ночь,
И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Мариула.
Я мирно спал; заря блеснула;
Проснулся я: подруги нет!
Ищу, зову — пропал и след.
Тоскуя, плакала Земфира,
И я заплакал!.. с этих пор
Постыли мне все девы мира;
Меж ними никогда мой взор
Не выбирал себе подруги,
И одинокие досуги
Уже ни с кем я не делил.

Алеко

Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед неблагодарной
И хищникам и ей, коварной,
Кинжала в сердце не вонзил?

Старик

К чему? вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

Алеко

Я не таков. Нет, я не споря
От прав моих не откажусь;
Или хоть мщеньем наслажусь.
О нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,

И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.

---

Молодой цыган

Еще одно, одно лобзанье!

Земфира

Пора: мой муж ревнив и зол.

Цыган

Одно... но доле! на прощанье.

Земфира

Прощай, покамест не пришел.

Цыган

Скажи — когда ж опять свиданье?

Земфира

Сегодня; как зайдет луна,
Там, за курганом над могилой...

Цыган

Обманет! не придет она.

Земфира

Беги — вот он. Приду, мой милый.

---

Алеко спит. В его уме
Виденье смутное играет;

Он, с криком пробудясь во тьме,
Ревниво руку простирает;
Но обробелая рука
Покровы хладные хватает —
Его подруга далека...
Он с трепетом привстал и внемлет...
Всё тихо: страх его объемлет,
По нем текут и жар и хлад;
Встает он, из шатра выходит,
Вокруг телег, ужасен, бродит;
Спокойно всё; поля молчат;
Темно; луна зашла в туманы,
Чуть брезжит звезд неверный свет,
Чуть по росе приметный след
Ведет за дальные курганы:
Нетерпеливо он идет,
Куда зловещий след ведет.

Могила на краю дороги
Вдали белеет перед ним,
Туда слабеющие ноги
Влачит, предчувствием томим,
Дрожат уста, дрожат колени,
Идет... и вдруг... иль это сон?
Вдруг видит близкие две тени,
И близкий шопот слышит он
Над обесславленной могилой.

1-й голос

Пора —

2-й голос

Постой!

1-й голос

Пора, мой милый.

2-й голос

Нет, нет! постой, дождемся дня.

1-й голос

Уж поздно.

2-й голос

Как ты робко любишь.
Минуту!

1-й голос

Ты меня погубишь.

2-й голос

Минуту!

1-й голос

Если без меня
Проснется муж...

Алеко

Проснулся я.
Куда вы? не спешите оба;
Вам хорошо и здесь у гроба.

Земфира

Мой друг, беги, беги!

Алеко

Постой!
Куда, красавец молодой?
Лежи!

*(Вонзает в него нож.)*

Земфира

Алеко!

Цыган

Умираю!

Земфира

Алеко! ты убьешь его!
Взгляни: ты весь обрызган кровью!
О, что ты сделал?

Алеко

Ничего.
Теперь дыши его любовью.

Земфира

Нет, полно, не боюсь тебя,
Твои угрозы презираю,
Твое убийство проклинаю.

Алеко

Умри ж и ты!

*(Поражает ее.)*

Земфира

Умру любя.

---

Восток, денницей озаренный,
Сиял. Алеко за холмом,
С ножом в руках, окровавленный
Сидел на камне гробовом.
Два трупа перед ним лежали;
Убийца страшен был лицом;
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой;
Могилу в стороне копали,
Шли жены скорбной чередой
И в очи мертвых целовали.
Старик отец один сидел
И на погибшую глядел
В немом бездействии печали;
Подняли трупы, понесли
И в лоно хладное земли
Чету младую положили.
Алеко издали смотрел
На всё. Когда же их закрыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился,
И с камня на траву свалился.

**„Цыганы“. С рис. *Л. Ф. Майделя***

Тогда старик, приближась, рек:
„Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов.
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов;
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел; — оставь же нас,
Прости! да будет мир с тобою“.

Сказал, и шумною толпою
Поднялся табор кочевой
С долины страшного ночлега,
И скоро всё в дали степной
Сокрылось. Лишь одна телега,
Убогим крытая ковром,
Стояла в поле роковом.
Так иногда перед зимою,
Туманной утренней порою,
Когда подъемлется с полей
Станица поздних журавлей
И с криком вдаль на юг несется,
Пронзенный гибельным свинцом,
Один печально остается,
Повиснув раненым крылом.
Настала ночь; в телеге темной
Огня никто не разложил,
Никто под крышею подъемной
До утра сном не опочил.

## Эпилог

Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
То светлых, то печальных дней.
В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу русский указал,
Где старый наш орел двуглавый
Еще шумит минувшей славой,
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.

За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
Их песней радостные гулы
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

# Граф Нулин

Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо,
Всё, подбочась, обозревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Чекмень затянутый на нем,
Турецкий нож за кушаком,
За пазухой во фляжке ром,
И рог на бронзовой цепочке.
В ночном чепце, в одном платочке,
Глазами сонными жена
Сердито смотрит из окна
На сбор, на псарную тревогу.
Вот мужу подвели коня;
Он холку хвать и в стремя ногу,
Кричит жене: не жди меня!
И выезжает на дорогу.

В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно, грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкий снег,
Да вой волков. Но то-то счастье
Охотнику! не зная нег,

В отъезжем поле он гарцует,
Везде находит свой ночлег,
Бранится, мокнет и пирует
Опустошительный набег.

А что же делает супруга,
Одна в отсутствии супруга?
Занятий мало ль есть у ней?
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обед и ужин,
В анбар и в погреб заглянуть.
Хозяйки глаз повсюду нужен:
Он вмиг заметит что-нибудь.

К несчастью героиня наша
(Ах, я забыл ей имя дать!
Муж просто звал ее Наташа,
Но мы — мы будем называть
Наталья Павловна), к несчастью,
Наталья Павловна совсем
Своей хозяйственною частью
Не занималася затем,
Что не в отеческом законе
Она воспитана была,
А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала.

Она сидит перед окном;
Пред ней открыт четвертый том
Сентиментального романа:
*Любовь Элизы и Армана,*
*Иль переписка двух семей* —
Роман классической, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.

Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой

Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали;
Меж тем печально под окном
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже:
Казалось, снег идти хотел...
Вдруг колокольчик зазвенел.

Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?..
Уж не она ли?.. Боже мой!
Вот ближе, ближе. Сердце бьется.
Но мимо, мимо звук несется,
Слабей... и смолкнул за горой.

Наталья Павловна к балкону
Бежит, обрадована звону,
Глядит и видит: за рекой
У мельницы коляска скачет,
Вот на мосту — к нам точно... нет,
Поворотила влево. Вслед
Она глядит и чуть не плачет.

Но вдруг... о радость! косогор;
Коляска на бок. — Филька! Васька!
Кто там? скорей! Вон там коляска:
Сейчас везти ее на двор
И барина просить обедать!
Да жив ли он?.. беги проведать!
Скорей, скорей!
Слуга бежит.

Наталья Павловна спешит
Взбить пышный локон, шаль накинуть,
Задернуть завес, стул подвинуть,
И ждет: да скоро ль, мой творец!
Вот едут, едут наконец.
Забрызганный в дороге дальной,
Опасно раненый, печальный
Кой-как тащится экипаж;
Вслед барин молодой хромает;
Слуга-француз не унывает
И говорит: allons, courage! *
Вот у крыльца; вот в сени входят.
Покамест барину теперь
Покой особенный отводят
И настежь отворяют дверь,
Пока Picard шумит, хлопочет,
И барин одеваться хочет,
Сказать ли вам, кто он таков?
Граф Нулин, из чужих краев,
Где промотал он в вихре моды
Свои грядущие доходы.
Себя казать, как чудный зверь,
В Петрополь едет он теперь
С запасом фраков и жилетов,
Шляп, вееров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, лорнетов,
Цветных платков, чулков à jour, **
С ужасной книжкою Гизота,
С тетрадью злых карикатур,
С романом новым Вальтер-Скотта,
С bons-mots *** парижского двора,
С последней песней Беранжера,
С мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et cetera. ****

* ⟨Ну, смелей!⟩
** ⟨Прозрачные (ажурные).⟩
*** ⟨Остроты.⟩
**** ⟨И так далее и так далее.⟩

Уж стол накрыт; давно пора;
Хозяйка ждет нетерпеливо;
Дверь отворилась, входит граф;
Наталья Павловна, привстав,
Осведомляется учтиво,
Каков он? что нога его?
Граф отвечает: ничего.
Идут за стол; вот он садится,
К ней подвигает свой прибор
И начинает разговор:
Святую Русь бранит, дивится,
Как можно жить в ее снегах,
Жалеет о Париже страх.
„А что театр?“ — „О! сиротеет.
C'est bien mauvais, ça fait pitié. *
Тальма совсем оглох, слабеет,
И мамзель Марс, увы! стареет.
Зато Потье, le grand Potier!
Он славу прежнюю в народе
Доныне поддержал один“. —
„Какой писатель нынче в моде?“ —
„Всё d'Arlincourt и Ламартин“. —
„У нас им также подражают“. —
„Нет! право? так у нас умы
Уж развиваться начинают.
Дай бог, чтоб просветились мы!“ —
„Как тальи носят?“ — „Очень низко,
Почти до... вот по этих пор.
Позвольте видеть ваш убор;
Так... рюши, банты, здесь узор;
Всё это к моде очень близко“. —
„Мы получаем Телеграф“. —
„Ага! хотите ли послушать
Прелестный водевиль?“ — И граф
Поет. „Да, граф, извольте ж кушать“. —
„Я сыт и так“.
Из-за стола
Встают. Хозяйка молодая

* ⟨Очень плохо, просто жалость.⟩

Черезвычайно весела;
Граф, о Париже забывая,
Дивится, как она мила.
Проходит вечер неприметно;
Граф сам не свой; хозяйки взор
То выражается приветно,
То вдруг потуплен безответно.
Глядишь — и полночь вдруг на двор.
Давно храпит слуга в передней,
Давно поет петух соседний,
В чугунну доску сторож бьет;
В гостиной свечки догорели.
Наталья Павловна встает:
„Пора, прощайте! ждут постели.
Приятный сон!..“ С досадой встав,
Полувлюбленный нежный граф
Целует руку ей. И что же?
Куда кокетство не ведет?
Проказница — прости ей, боже! —
Тихонько графу руку жмет.

Наталья Павловна раздета;
Стоит Параша перед ней.
Друзья мои! Параша эта
Наперсница ее затей:
Шьет, моет, вести переносит,
Изношенных капотов просит,
Порою с барином шалит,
Порой на барина кричит,
И лжет пред барыней отважно.
Теперь она толкует важно
О графе, о делах его,
Не пропускает ничего —
Бог весть, разведать как успела.
Но госпожа ей наконец
Сказала: „Полно, надоела!“
Спросила кофту и чепец,
Легла и выдти вон велела.

Своим французом между тем
И граф раздет уже совсем.

**„Граф Нулин". С акварели *В. Г. Бехтеева***

Ложится он, сигару просит,
Monsieur Picard ему приносит
Графин, серебряный стакан,
Сигару, бронзовый светильник,
Щипцы с пружиною, будильник
И неразрезанный роман.

В постеле лежа, Вальтер-Скотта
Глазами пробегает он.
Но граф душевно развлечен:
Неугомонная забота
Его тревожит; мыслит он:
Неужто вправду я влюблен?
Что если можно?.. вот забавно;
Однако ж это было б славно;
Я, кажется, хозяйке мил —
И Нулин свечку погасил.

Несносный жар его объемлет,
Не спится графу — бес не дремлет
И дразнит грешною мечтой
В нем чувства. Пылкой наш герой
Воображает очень живо
Хозяйки взор красноречивый,
Довольно круглый, полный стан,
Приятный голос, прямо женский,
Лица румянец деревенский —
Здоровье краше всех румян.
Он помнит кончик ножки нежной,
Он помнит, точно, точно так,
Она ему рукой небрежной
Пожала руку; он дурак,
Он должен бы остаться с нею,
Ловить минутную затею.
Но время не ушло: теперь
Отворена конечно дверь —
И тотчас, на плеча накинув
Свой пестрый шелковый халат
И стул в потемках опрокинув,
В надежде сладостных наград

К Лукреции Тарквиний новый
Отправился на всё готовый.

Так иногда лукавый кот,
Жеманный баловень служанки,
За мышью крадется с лежанки:
Украдкой медленно идет,
Полузажмурясь подступает,
Свернется в ком, хвостом играет,
Разинет когти хитрых лап
И вдруг бедняжку цап-царап.

Влюбленный граф в потемках бродит,
Дорогу ощупью находит,
Желаньем пламенным томим,
Едва дыханье переводит,
Трепещет, если пол под ним
Вдруг заскрипит. Вот он подходит
К заветной двери и слегка
Жмет ручку медную замка;
Дверь тихо, тихо уступает;
Он смотрит: лампа чуть горит
И бледно спальню освещает;
Хозяйка мирно почивает,
Иль притворяется, что спит.

Он входит, ищет, отступает —
И вдруг упал к ее ногам.
Она... Теперь с их позволенья
Прошу я петербургских дам
Представить ужас пробужденья
Натальи Павловны моей
И разрешить, что делать ей.

Она, открыв глаза большие,
Глядит на графа — наш герой
Ей сыплет чувства выписные
И дерзновенною рукой
Коснуться хочет одеяла,
Совсем смутив ее сначала...

Но вдруг опомнилась она,
И гнева гордого полна,
А впрочем, может быть, и страха,
Она Тарквинию с размаха
Дает пощечину, да, да!
Пощечину, да ведь какую!

Сгорел граф Нулин от стыда,
Обиду проглотив такую;
Не знаю, чем бы кончил он,
Досадой страшною пылая,
Но шпиц косматый, вдруг залая,
Прервал Параши крепкий сон.
Услышав граф ее походку
И проклиная свой ночлег
И своенравную красотку,
В постыдный обратился бег.

Как он, хозяйка и Параша
Проводят остальную ночь,
Воображайте, воля ваша!
Я не намерен вам помочь.

Восстав поутру молчаливо,
Граф одевается лениво,
Отделкой розовых ногтей
Зевая занялся небрежно,
И галстук вяжет неприлежно,
И мокрой щеткою своей
Не гладит стриженых кудрей.
О чем он думает, не знаю;
Но вот его позвали к чаю.
Что делать? Граф, преодолев
Неловкой стыд и тайный гнев,
Идет.
Проказница младая,
Насмешливый потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромно разговор
О том, о сем. Сперва смущенный,

Но постепенно ободренный,
С улыбкой отвечает он.
Получаса не проходило,
Уж он и шутит очень мило
И чуть ли снова не влюблен.
Вдруг шум в передней. Входят. Кто же?
„Наташа, здравствуй“.
—„Ах, мой боже!
Граф, вот мой муж. Душа моя,
Граф Нулин“.—
„Рад сердечно я.
Какая скверная погода!
У кузницы я видел ваш
Совсем готовый экипаж.
Наташа! там у огорода
Мы затравили русака.
Эй, водки! Граф, прошу отведать:
Прислали нам издалека.
Вы с нами будете обедать?“ —
„Не знаю, право, я спешу“.—
„И, полно, граф, я вас прошу.
Жена и я, гостям мы рады.
Нет, граф, останьтесь!“
Но с досады
И все надежды потеряв,
Упрямится печальный граф.
Уж подкрепив себя стаканом,
Пикар кряхтит за чемоданом.
Уже к коляске двое слуг
Несут привинчивать сундук.
К крыльцу подвезена коляска,
Пикар всё скоро уложил,
И граф уехал... Тем и сказка
Могла бы кончиться, друзья;
Но слова два прибавлю я.

Когда коляска ускакала,
Жена всё мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.

Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам. — Почему ж?
Муж? — Как не так. Совсем не муж.
Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит.
Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет.

Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.

# Полтава

The power and glory of the war
Faithless as their vain votaries, men,
Had pass'd to the triumphant Czar.

*Byron.*

## Посвящение

*Тебе — но голос музы темной*
*Коснется ль уха твоего?*
*Поймешь ли ты душою скромной*
*Стремленье сердца моего?*
*Иль посвящение поэта,*
*Как некогда его любовь,*
*Перед тобою без ответа*
*Пройдет, не признанное вновь?*

*Узнай, по крайней мере, звуки,*
*Бывало, милые тебе —*
*И думай, что во дни разлуки,*
*В моей изменчивой судьбе,*
*Твоя печальная пустыня,*
*Последний звук твоих речей*
*Одно сокровище, святыня,*
*Одна любовь души моей.*

## Песнь первая

Богат и славен Кочубей.[1]
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Кругом Полтавы хутора[2]
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду и под замками.
Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами,
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.[3]

И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа, как вешний цвет,
Взлелеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.
Как пена, грудь ее бела.
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блестят ее глаза;
Ее уста, как роза, рдеют.
Но не единая краса
(Мгновенный цвет!) молвою шумной
В младой Марии почтена:
Везде прославилась она
Девицей скромной и разумной.
За то завидных женихов
Ей шлет Украйна и Россия;

Но от венца, как от оков,
Бежит пугливая Мария.
Всем женихам отказ — и вот
За ней сам гетман сватов шлет. [4]

Он стар. Он удручен годами,
Войной, заботами, трудами;
Но чувства в нем кипят, и вновь
Мазепа ведает любовь.

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно, медленно оно
В огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет.

Не серна под утес уходит,
Орла послыша тяжкий лёт;
Одна в сенях невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

И вся полна негодованьем
К ней мать идет и, с содроганьем
Схватив ей руку, говорит:
„Бестыдный! старец нечестивый!
Возможно ль?.. нет, пока мы живы,
Нет! он греха не совершит.
Он, должный быть отцом и другом
Невинной крестницы своей...
Безумец! на закате дней
Он вздумал быть ее супругом“.
Мария вздрогнула. Лицо
Покрыла бледность гробовая,

И охладев как неживая
Упала дева на крыльцо.

Она опомнилась, но снова
Закрыла очи — и ни слова
Не говорит. Отец и мать
Ей сердце ищут успокоить,
Боязнь и горесть разогнать,
Тревогу смутных дум устроить...
Напрасно. Целые два дня,
То молча плача, то стеня,
Мария не пила, не ела,
Шатаясь, бледная как тень,
Не зная сна. На третий день
Ее светлица опустела.

Никто не знал, когда и как
Она сокрылась. Лишь рыбак
Той ночью слышал конский топот,
Казачью речь и женский шопот,
И утром след осьми подков
Был виден на росе лугов.

Не только первый пух ланит,
Да русы кудри молодые,
Порой и старца строгий вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображанье красоты
Влагают страстные мечты.

И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она в объятиях злодея!
Какой позор! Отец и мать
Молву не смеют понимать.
Тогда лишь истина явилась
С своей ужасной наготой.
Тогда лишь только объяснилась
Душа преступницы младой.

Тогда лишь только стало явно,
Зачем бежала своенравно
Она семейственных оков,
Томилась тайно, воздыхала
И на приветы женихов
Молчаньем гордым отвечала;
Зачем так тихо за столом
Она лишь гетману внимала,
Когда беседа ликовала
И чаша пенилась вином;
Зачем она всегда певала
Те песни, кои он слагал, [5]
Когда он беден был и мал,
Когда молва его не знала;
Зачем с неженскою душой
Она любила конный строй,
И бранный звон литавр и клики
Пред бунчуком и булавой
Малороссийского владыки... [6]

Богат и знатен Кочубей.
Довольно у него друзей.
Свою омыть он может славу.
Он может возмутить Полтаву;
Внезапно средь его дворца
Он может мщением отца
Постигнуть гордого злодея;
Он может верною рукой
Вонзить... но замысел иной
Волнует сердце Кочубея.

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданый и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары

Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Венчанный славой бесполезной,
Отважный Карл скользил над бездной.
Он шел на древнюю Москву,
Взметая русские дружины,
Как вихорь гонит прах долины
И клонит пыльную траву.
Он шел путем, где след оставил
В дни наши новый, сильный враг,
Когда падением ославил
Муж рока свой попятный шаг. [7]

Украйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: пора, пора!
Но старый гетман оставался
Послушным подданным Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно ведал он Украйну,
Молве, казалось, не внимал
И равнодушно пировал.

„Что ж гетман? — юноши твердили, —
Он изнемог; он слишком стар;
Труды и годы угасили
В нем прежний, деятельный жар.
Зачем дрожащею рукою
Еще он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!

Когда бы старый Дорошенко,[8]
Иль Самойлович молодой,[9]
Иль наш Палей,[10] иль Гордеенко[11]
Владели силой войсковой;
Тогда б в снегах чужбины дальной
Не погибали казаки,
И Малороссии печальной
Освобождались уж полки".[12]

Так, своеволием пылая,
Роптала юность удалая,
Опасных алча перемен,
Забыв отчизны давний плен,
Богдана счастливые споры,
Святые брани, договоры
И славу дедовских времен.
Но старость ходит осторожно
И подозрительно глядит.
Чего нельзя и что возможно,
Еще не вдруг она решит.
Кто снидет в глубину морскую,
Покрытую недвижно льдом?
Кто испытующим умом
Проникнет бездну роковую
Души коварной? Думы в ней,
Плоды подавленных страстей,
Лежат погружены глубоко,
И замысел давнишних дней,
Быть может, зреет одиноко.
Как знать? Но чем Мазепа злей,
Чем сердце в нем хитрей и ложней,
Тем с виду он неосторожней
И в обхождении простей.
Как он умеет самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужие тайны разрешать!
С какой доверчивостью лживой,
Как добродушно на пирах
Со старцами старик болтливый

Жалеет он о прошлых днях,
Свободу славит с своевольным,
Поносит власти с недовольным,
С ожесточенным слезы льет,
С глупцом разумну речь ведет!
Не многим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор как жив не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

Издавна умысел ужасный
Взлелеял тайно злой старик
В душе своей. Но взор опасный,
Враждебный взор его проник.

„Нет, дерзкий хищник, нет, губитель! —
Скрежеща мыслит Кочубей, —
Я пощажу твою обитель,
Темницу дочери моей;
Ты не истлеешь средь пожара,
Ты не издохнешь от удара
Казачьей сабли. Нет, злодей,
В руках московских палачей,
В крови, при тщетных отрицаньях,
На дыбе, корчась в истязаньях,
Ты проклянешь и день и час,
Когда ты дочь крестил у нас,
И пир, на коем чести чашу
Тебе я полну наливал,
И ночь, когда голубку нашу
Ты, старый коршун, заклевал!..“

Так! было время: с Кочубеем
Был друг Мазепа; в оны дни
Как солью, хлебом и елеем
Делились чувствами они.
Их кони по полям победы
Скакали рядом сквозь огни;
Нередко долгие беседы
Наедине вели они —
Пред Кочубеем гетман скрытный
Души мятежной, ненасытной
Отчасти бездну открывал
И о грядущих измененьях,
Переговорах, возмущеньях
В речах неясных намекал.
Так, было сердце Кочубея
В то время предано ему.
Но в горькой злобе свирепея,
Теперь позыву одному
Оно послушно; он голубит
Едину мысль и день и ночь:
Иль сам погибнет, иль погубит —
Отмстит поруганную дочь.

Но предприимчивую злобу
Он крепко в сердце затаил.
„В бессильной горести, ко гробу
Теперь он мысли устремил.
Он зла Мазепе не желает;
Всему виновна дочь одна.
Но он и дочери прощает:
Пусть богу даст ответ она,
Покрыв семью свою позором,
Забыв и небо и закон...“

А между тем орлиным взором
В кругу домашнем ищет он
Себе товарищей отважных,
Неколебимых, непродажных.
Во всем открылся он жене:[13]
Давно в глубокой тишине

Уже донос он грозный копит,
И гнева женского полна,
Нетерпеливая жена
Супруга злобного торопит.
В тиши ночной, на ложе сна,
Как некий дух, ему она
О мщеньи шепчет, укоряет,
И слезы льет, и ободряет,
И клятвы требует — и ей
Клянется мрачный Кочубей.

Удар обдуман. С Кочубеем
Бесстрашный Искра [14] заодно.
И оба мыслят: „Одолеем;
Врага паденье решено.
Но кто ж, усердьем пламенея,
Ревнуя к общему добру,
Донос на мощного злодея
Предубежденному Петру
К ногам положит не робея?“

Между полтавских казаков,
Презренных девою несчастной,
Один с младенческих годов
Ее любил любовью страстной.
Вечерней, утренней порой,
На берегу реки родной,
В тени украинских черешен,
Бывало он Марию ждал,
И ожиданием страдал,
И краткой встречей был утешен.
Он без надежд ее любил,
Не докучал он ей мольбою:
Отказа б он не пережил.
Когда наехали толпою
К ней женихи, из их рядов
Уныл и сир он удалился.
Когда же вдруг меж казаков
Позор Мариин огласился,
И беспощадная молва

Ее со смехом поразила,
И тут Мария сохранила
Над ним привычные права.
Но если кто хотя случайно
Пред ним Мазепу называл,
То он бледнел, терзаясь тайно,
И взоры в землю опускал.

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?
Чей это конь неутомимый
Бежит в степи необозримой?

Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе.

Как стекло булат его блестит,
Мешок за пазухой звенит,
Не спотыкаясь конь ретивый
Бежит, размахивая гривой.

Червонцы нужны для гонца,
Булат потеха молодца,
Ретивый конь потеха тоже —
Но шапка для него дороже.

За шапку он оставить рад
Коня, червонцы и булат,
Но выдаст шапку только с бою,
И то лишь с буйной головою.

Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана злодея
Царю Петру от Кочубея.

Грозы не чуя между тем,
Не ужасаемый ничем,

Мазепа козни продолжает.
С ним полномощный езуит [15]
Мятеж народный учреждает
И шаткий трон ему сулит.
Во тьме ночной они как воры
Ведут свои переговоры,
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр Универсалов, [16]
Торгуют царской головой,
Торгуют клятвами вассалов.
Какой-то нищий во дворец
Неведомо отколе ходит,
И Орлик, [17] гетманов делец,
Его приводит и выводит.
Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги:
Там на Дону казачьи круги
Они с Булавиным [18] мутят;
Там будят диких орд отвагу;
Там за порогами Днепра
Стращают буйную ватагу
Самодержавием Петра.
Мазепа всюду взор кидает,
И письма шлет из края в край:
Угрозой хитрой подымает
Он на Москву Бахчисарай.
Король ему в Варшаве внемлет,
В стенах Очакова паша,
Во стане Карл и царь. Не дремлет
Его коварная душа;
Он, думой думу развивая,
Верней готовит свой удар;
В нем не слабеет воля злая,
Неутомим преступный жар.

Но как он вздрогнул, как воспрянул,
Когда пред ним незапно грянул
Упадший гром! когда ему,
Врагу России самому,
Вельможи русские [19] послали

В Полтаве писанный донос,
И вместо праведных угроз,
Как жертве, ласки расточали;
И озабоченный войной,
Гнушаясь мнимой клеветой,
Донос оставя без вниманья,
Сам царь Иуду утешал
И злобу шумом наказанья
Смирить надолго обещал!

Мазепа, в горести притворной,
К царю возносит глас покорный.
„И знает бог, и видит свет:
Он, бедный гетман, двадцать лет
Царю служил душою верной;
Его щедротою безмерной
Осыпан, дивно вознесен...
О, как слепа, безумна злоба!..
Ему ль теперь у двери гроба
Начать учение измен
И потемнять благую славу?
Не он ли помощь Станиславу [20]
С негодованьем отказал,
Стыдясь, отверг венец Украйны,
И договор, и письма тайны
К царю, по долгу, отослал?
Не он ли наущеньям хана [21]
И цареградского салтана
Был глух? Усердием горя,
С врагами белого царя
Умом и саблей рад был спорить,
Трудов и жизни не жалел,
И ныне злобный недруг смел
Его седины опозорить!
И кто же? Искра, Кочубей!
Так долго быв его друзьями!..“
И с кровожадными слезами,
В холодной дерзости своей,
Их казни требует злодей... [22]

Чьей казни?.. старец непреклонный!
Чья дочь в объятиях его?
Но хладно сердца своего
Он заглушает ропот сонный.
Он говорит: „В неравный спор
Зачем вступает сей безумец?
Он сам, надменный вольнодумец,
Сам точит на себя топор.
Куда бежит, зажавши вежды?
На чем он основал надежды?
Или... но дочери любовь
Главы отцовской не искупит.
Любовник гетману уступит,
Не то моя прольется кровь".

Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей!
Не знаешь ты, какого змия
Ласкаешь на груди своей.
Какой же властью непонятной
К душе свирепой и развратной
Так сильно ты привлечена?
Кому ты в жертву отдана?
Его кудрявые седины,
Его глубокие морщины,
Его блестящий, впалый взор,
Его лукавый разговор
Тебе всего, всего дороже:
Ты мать забыть для них могла,
Соблазном постланное ложе
Ты отчей сени предпочла.
Своими чудными очами
Тебя старик заворожил,
Своими тихими речами
В тебе он совесть усыпил;
Ты на него с благоговеньем
Возводишь ослепленный взор,
Его лелеешь с умиленьем —
Тебе приятен твой позор,
Ты им, в безумном упоеньи,

Как целомудрием горда —
Ты прелесть нежную стыда
В своем утратила паденьи...

Что стыд Марии? что молва?
Что для нее мирские пени,
Когда склоняется в колени
К ней старца гордая глава,
Когда с ней гетман забывает
Судьбы своей и труд и шум,
Иль тайны смелых, грозных дум
Ей, деве робкой, открывает?
И дней невинных ей не жаль,
И душу ей одна печаль
Порой, как туча, затмевает:
Она унылых пред собой
Отца и мать воображает;
Она, сквозь слезы, видит их
В бездетной старости, одних,
И, мнится, пеням их внимает...
О, если б ведала она,
Что уж узнала вся Украйна!
Но от нее сохранена
Еще убийственная тайна.

## Песнь вторая

Мазепа мрачен. Ум его
Смущен жестокими мечтами.
Мария нежными очами
Глядит на старца своего.
Она, обняв его колени,
Слова любви ему твердит.
Напрасно: черных помышлений
Ее любовь не удалит.
Пред бедной девой с невниманьем
Он хладно потупляет взор
И ей на ласковый укор
Одним ответствует молчаньем.
Удивлена, оскорблена,
Едва дыша, встает она
И говорит с негодованием:

„Послушай, гетман: для тебя
Я позабыла всё на свете.
Навек однажды полюбя,
Одно имела я в предмете:
Твою любовь. Я для нее
Сгубила счастие мое,
Но ни о чем я не жалею —
Ты помнишь: в страшной тишине,
В ту ночь, как стала я твоею,
Меня любить ты клялся мне.
Зачем же ты меня не любишь?“

Мазепа

Мой друг, несправедлива ты.
Оставь безумные мечты;
Ты подозреньем сердце губишь:
Нет, душу пылкую твою
Волнуют, ослепляют страсти.
Мария, верь: тебя люблю
Я больше славы, больше власти,

Мария

Неправда: ты со мной хитришь.
Давно ль мы были неразлучны?
Теперь ты ласк моих бежишь;
Теперь они тебе докучны;
Ты целый день в кругу старшин,
В пирах, разъездах — я забыта;
Ты долгой ночью иль один,
Иль с нищим, иль у езуита,
Любовь смиренная моя
Встречает хладную суровость.
Ты пил недавно, знаю я,
Здоровье Дульской. Это новость;
Кто эта Дульская?

Мазепа

И ты
Ревнива? Мне ль, в мои ли лета
Искать надменного привета
Самолюбивой красоты?
И стану ль я, старик суровый,
Как праздный юноша, вздыхать,
Влачить позорные оковы
И жен притворством искушать?

Мария

Нет, объяснись без отговорок
И просто, прямо отвечай.

Мазепа

Покой души твоей мне дорог,
Мария; так и быть: узнай.

Давно замыслили мы дело;
Теперь оно кипит у нас.
Благое время нам приспело;
Борьбы великой близок час.
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы

Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украйне быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра.
Готово всё: в переговорах
Со мною оба короля;
И скоро в смутах, в бранных спорах,
Быть может, трон воздвигну я.
Друзей надежных я имею:
Княгиня Дульская и с нею
Мой езуит да нищий сей
К концу мой замысел приводят.
Чрез руки их ко мне доходят
Наказы, письма королей.
Вот важные тебе признанья.
Довольна ль ты? Твои мечтанья
Рассеяны ль?

Мария

О милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоим railroadсединам как пристанет
Корона царская!

Мазепа

Постой,
Не всё свершилось. Буря грянет;
Кто может знать, что ждет меня?

Мария

Я близ тебя не знаю страха —
Ты так могущ! О, знаю я:
Трон ждет тебя.

Мазепа

А если плаха?..

Мария

С тобой на плаху, если так,
Ах, пережить тебя могу ли?
Но нет: ты носишь власти знак.

Мазепа

Меня ты любишь?

Мария

Я! люблю ли?

Мазепа

Скажи; отец или супруг
Тебе дороже?

Мария

Милый друг,
К чему вопрос такой? тревожит
Меня напрасно он. Семью
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей в позор; быть может
(Какая страшная мечта!),
Моим отцом я проклята,
А за кого?

Мазепа

Так я дороже
Тебе отца? Молчишь...

Мария

О боже!

Мазепа

Что ж? отвечай.

Мария

Реши ты сам,

Мазепа

Послушай: если было б нам,
Ему иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?

Мария

Ах, полно! Сердце не смущай!
Ты искуситель.

Мазепа

Отвечай!

Мария

Ты бледен; речь твоя сурова...
О, не сердись! Всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь;
Но страшны мне слова такие.
Довольно.

Мазепа

Помни же, Мария,
Что ты сказала мне теперь.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой-Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый зāмок озаряет.
И тихо, тихо всё кругом;
Но в зāмке шопот и смятенье.
В одной из башен, под окном,
В глубоком, тяжком размышленье,

Окован, Кочубей сидит
И мрачно на небо глядит.

Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый.
Дрема долит. Но, боже правый!
К ногам злодея молча пасть
Как бессловесное созданье,
Царем быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье,
Утратить жизнь — и с нею честь,
Друзей с собой на плаху весть,
Над гробом слышать их проклятья,
Ложась безвинным под топор,
Врага веселый встретить взор
И смерти кинуться в объятья,
Не завещая никому
Вражды к злодею своему!..

И вспомнил он свою Полтаву,
Обычный круг семьи, друзей,
Минувших дней богатство, славу,
И песни дочери своей,
И старый дом, где он родился,
Где знал и труд и мирный сон,
И всё, чем в жизни насладился,
Что добровольно бросил он,
И для чего? —
Но ключ в заржавом
Замке гремит — и пробужден
Несчастный думает: вот он!
Вот на пути моем кровавом
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могущий разрешитель,
Духовной скорби врач, служитель
За нас распятого Христа,
Его святую кровь и тело

Принесший мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело
И жизни вечной приобщусь!

И с сокрушением сердечным
Готов несчастный Кочубей
Перед всесильным, бесконечным
Излить тоску мольбы своей
Но не отшельника святого,
Он гостя узнает иного:
Свирепый Орлик перед ним.
И отвращением томим,
Страдалец горько вопрошает:
„Ты здесь, жестокий человек?
Зачем последний мой ночлег
Еще Мазепа возмущает?“

Орлик

Допрос не кончен: отвечай.

Кочубей

Я отвечал уже: ступай,
Оставь меня.

Орлик

Еще признанья
Пан гетман требует.

Кочубей

Но в чем?
Давно сознался я во всем,
Что вы хотели. Показанья
Мои все ложны. Я лукав,
Я строю козни. Гетман прав.
Чего вам более?

Орлик

Мы знаем,
Что ты несчетно был богат;

Мы знаем: не единый клад
Тобой в Диканьке[23] укрываем.
Свершиться казнь твоя должна;
Твое имение сполна
В казну поступит войсковую —
Таков закон. Я указую
Тебе последний долг: открой,
Где клады, скрытые тобой?

Кочубей

Так, не ошиблись вы: три клада
В сей жизни были мне отрада.
И первый клад мой честь была,
Клад этот пытка отняла;
Другой был клад невозвратимый
Честь дочери моей любимой.
Я день и ночь над ним дрожал:
Мазепа этот клад украл.
Но сохранил я клад последний,
Мой третий клад: святую месть.
Ее готовлюсь богу снесть.

Орлик

Старик, оставь пустые бредни:
Сегодня покидая свет,
Питайся мыслию суровой.
Шутить не время. Дай ответ,
Когда не хочешь пытки новой:
Где спрятал деньги?

Кочубей

Злой холоп!
Окончишь ли допрос нелепый?
Повремени: дай лечь мне в гроб,
Тогда ступай себе с Мазепой
Мое наследие считать
Окровавленными перстами,
Мои подвалы разрывать,

Рубить и жечь сады с домами.
С собой возьмите дочь мою;
Она сама вам всё расскажет,
Сама все клады вам укажет;
Но ради господа молю,
Теперь оставь меня в покое.

Орлик

Где спрятал деньги? укажи.
Не хочешь? — Деньги где? скажи,
Иль выйдет следствие плохое.
Подумай: место нам назначь.
Молчишь? — Ну, в пытку. Гей, палач! [24]

Палач вошел...
О ночь мучений!
Но где же гетман? где злодей?
Куда бежал от угрызений
Змеиной совести своей?
В светлице девы усыпленной,
Еще незнанием блаженной,
Близ ложа крестницы младой
Сидит с поникшею главой
Мазепа тихий и угрюмый.
В его душе проходят думы,
Одна другой мрачней, мрачней.
„Умрет безумный Кочубей;
Спасти нельзя его. Чем ближе
Цель гетмана, тем тверже он
Быть должен властью облечен,
Тем перед ним склоняться ниже
Должна вражда. Спасенья нет:
Доносчик и его клеврет
Умрут“. Но, брося взор на ложе,
Мазепа думает: „О боже!
Что будет с ней, когда она
Услышит слово роковое?
Досель она еще в покое —
Но тайна быть сохранена
Не может долее. Секира,

Упав поутру, загремит
По всей Украйне. Голос мира
Вокруг нее заговорит!..
Ах, вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тот стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.
В одну телегу впрячь неможно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань...
Всё, что цены себе не знает,
Всё, всё, чем жизнь мила бывает,
Бедняжка принесла мне в дар,
Мне старцу мрачному — и что же?
Какой готовлю ей удар!"
И он глядит: на тихом ложе
Как сладок юности покой!
Как сон ее лелеет нежно!
Уста раскрылись; безмятежно
Дыханье груди молодой;
А завтра, завтра... содрогаясь
Мазепа отвращает взгляд,
Встает и, тихо пробираясь,
В уединенный сходит сад.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Но мрачны странные мечты
В душе Мазепы: звезды ночи,
Как обвинительные очи,
За ним насмешливо глядят.
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
И летней, теплой ночи тьма
Душна, как черная тюрьма.

Вдруг... слабый крик... невнятный стон
Как бы из за̀мка слышит он.
То был ли сон воображенья,
Иль плач совы, иль зверя вой,
Иль пытки стон, иль звук иной —
Но только своего волненья
Преодолеть не мог старик
И на протяжный слабый крик
Другим ответствовал — тем криком,
Которым он в весельи диком
Поля сраженья оглашал,
Когда с Забелой, с Гамалеем,
И — с ним... и с этим Кочубеем
Он в бранном пламени скакал.

Зари багряной полоса
Объемлет ярко небеса.
Блеснули долы, холмы, нивы,
Вершины рощ и волны рек.
Раздался утра шум игривый,
И пробудился человек.

Еще Мария сладко дышит,
Дремой объятая, и слышит
Сквозь легкий сон, что кто-то к ней
Вошел и ног ее коснулся.
Она проснулась — но скорей
С улыбкой взор ее сомкнулся
От блеска утренних лучей.
Мария руки протянула
И с негой томною шепнула:
„Мазепа, ты?..“ Но голос ей
Иной ответствует... о боже!
Вздрогнув, она глядит... и что же?
Пред нею мать...

Мать

Молчи, молчи;
Не погуби нас: я в ночи
Сюда прокралась осторожно

С единой, слезною мольбой.
Сегодня казнь. Тебе одной
Свирепство их смягчить возможно.
Спаси отца.

Дочь, *в ужасе*

Какой отец?
Какая казнь?

Мать

Иль ты доныне
Не знаешь?.. нет! ты не в пустыне,
Ты во дворце; ты знать должна,
Как сила гетмана грозна,
Как он врагов своих карает,
Как государь ему внимает —
Но вижу: скорбную семью
Ты отвергаешь для Мазепы;
Тебя я сонну застаю,
Когда свершают суд свирепый,
Когда читают приговор,
Когда готов отцу топор —
Друг другу, вижу, мы чужие...
Опомнись, дочь моя! Мария,
Беги, пади к его ногам,
Спаси отца, будь ангел нам:
Твой взгляд злодеям руки свяжет,
Ты можешь их топор отвесть.
Рвись, требуй — гетман не откажет:
Ты для него забыла честь,
Родных и бога.

Дочь

Что со мною?
Отец... Мазепа... казнь — с мольбою
Здесь, в этом замке мать моя —
Нет, иль ума лишилась я,
Иль это грезы.

Мать

Бог с тобою,
Нет, нет — не грезы, не мечты.
Ужель еще не знаешь ты,
Что твой отец ожесточенный
Бесчестья дочери не снес
И, жаждой мести увлеченный,
Царю на гетмана донес —
Что в истязаниях кровавых
Сознался в умыслах лукавых,
В стыде безумной клеветы,
Что, жертва смелой правоты,
Врагу он выдан головою,
Что пред Громадой войсковою,
Когда его не осенит
Десница вышняя господня,
Он должен быть казнен сегодня,
Что здесь покамест он сидит
В тюремной башне.

Дочь

Боже, боже!..
Сегодня! — бедный мой отец!

И дева падает на ложе,
Как хладный падает мертвец.

Пестреют шапки. Копья блещут.
Бьют бубны. Скачут сердюки. [25]
В строях ровняются полки.
Толпы кипят. Сердца трепещут.
Дорога, как змеиный хвост,
Полна народу, шевелится.
Средь поля роковой помост.
На нем гуляет, веселится
Палач и алчно жертвы ждет:
То в руки белые берет,
Играючи, топор тяжелый,
То шутит с чернию веселой.
В гремучий говор всё слилось:

Крик женский, брань, и смех, и ропот.
Вдруг восклицанье раздалось,
И смолкло всё. Лишь конский топот
Был слышен в грозной тишине.
Там, окруженный сердюками,
Вельможный гетман с старшинами
Скакал на вороном коне.
А там по киевской дороге
Телега ехала. В тревоге
Все взоры обратили к ней.
В ней, с миром, с небом примиренный,
Могущей верой укрепленный,
Сидел безвинный Кочубей,
С ним Искра тихий, равнодушный,
Как агнец, жребию послушный.
Телега стала. Раздалось
Моленье ликов громогласных.
С кадил куренье поднялось.
За упокой души несчастных
Безмолвно молится народ,
Страдальцы за врагов. И вот
Идут они, взошли. На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Как будто в гробе, тьмы людей
Молчат. Топор блеснул с размаху,
И отскочила голова.
Всё поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.
Зарделась кровию трава —
И, сердцем радуясь во злобе,
Палач за чуб поймал их обе
И напряженною рукой
Потряс их обе над толпой.

Свершилась казнь. Народ беспечный
Идет, рассыпавшись, домой,
И про свои работы вечны
Уже толкует меж собой.
Пустеет поле понемногу.
Тогда чрез пеструю дорогу

Перебежали две жены.
Утомлены, запылены,
Они, казалось, к месту казни
Спешили полные боязни.
*Уж поздно*, кто-то им сказал
И в поле перстом указал.
Там роковой намост ломали,
Молился в черных ризах поп,
И на телегу подымали
Два казака дубовый гроб.

Один пред конною толпой
Мазепа, грозен, удалялся
От места казни. Он терзался
Какой-то страшной пустотой.
Никто к нему не приближался,
Не говорил он ничего;
Весь в пене мчался конь его.
Домой приехав, „что Мария?“
Спросил Мазепа. Слышит он
Ответы робкие, глухие...
Невольным страхом поражен,
Идет он к ней; в светлицу входит:
Светлица тихая пуста —
Он в сад, и там смятенный бродит;
Но вкруг широкого пруда,
В кустах, вдоль сеней безмятежных
Всё пусто, нет нигде следов —
Ушла! — Зовет он слуг надежных,
Своих проворных сердюков.
Они бегут. Храпят их кони —
Раздался дикий клик погони
Верхом — и скачут молодцы
Во весь опор, во все концы.

Бегут мгновенья дорогие.
Не возвращается Мария.
Никто не ведал, не слыхал,
Зачем и как она бежала —
Мазепа молча скрежетал.

Затихнув, челядь трепетала.
В груди кипучий яд нося,
В светлице гетман заперся.
Близ ложа там во мраке ночи
Сидел он, не смыкая очи,
Нездешней мукою томим.
Поутру посланные слуги
Один явились за другим.
Чуть кони двигались. Подпруги,
Подковы, узды, чепраки,
Всё было пеною покрыто,
В крови, растеряно, избито —
Но не один ему принесть
Не мог о бедной деве весть.
И след ее существованья
Пропал как будто звук пустой,
И мать одна во мрак изгнанья
Умчала горе с нищетой.

## Песнь третия

Души глубокая печаль
Стремиться дерзновенно в даль
Вождю Украйны не мешает.
Твердея в умысле своем,
Он с гордым шведским королем
Свои сношенья продолжает.
Меж тем, чтоб обмануть верней
Глаза враждебного сомненья,
Он, окружась толпой врачей,
На ложе мнимого мученья
Стоная молит исцеленья.
Плоды страстей, войны, трудов,
Болезни, дряхлость и печали,
Предтечи смерти, приковали
Его к одру. Уже готов
Он скоро бренный мир оставить;
Святой обряд он хочет править,
Он архипастыря зовет
К одру сомнительной кончины:
И на коварные седины
Елей таинственный течет.

Но время шло. Москва напрасно
К себе гостей ждала всечасно,
Средь старых, вражеских могил
Готовя шведам тризну тайну.
Незапно Карл поворотил
И перенес войну в Украйну.

И день настал. Встает с одра
Мазепа, сей страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой.
Теперь он мощный враг Петра.
Теперь он, бодрый, пред полками
Сверкает гордыми очами
И саблей машет — и к Десне

Проворно мчится на коне.
Согбенный тяжко жизнью старой,
Так оный хитрый кардинал,
Венчавшись римскою тиарой,
И прям, и здрав, и молод стал.

И весть на крыльях полетела.
Украйна смутно зашумела.
„Он перешел, он изменил,
К ногам он Карлу положил
Бунчук покорный“. Пламя пышет,
Встает кровавая заря
Войны народной.
Кто опишет
Негодованье, гнев царя? [26]
Гремит анафема в соборах;
Мазепы лик терзает кат. [27]
На шумной Раде, в вольных спорах
Другого гетмана творят.
С брегов пустынных Енисея
Семейства Искры, Кочубея
Поспешно призваны Петром.
Он с ними слезы проливает.
Он их, лаская, осыпает
И новой честью и добром.
Мазепы враг, наездник пылкий,
Старик Палей из мрака ссылки
В Украйну едет в царский стан.
Трепещет бунт осиротелый.
На плахе гибнет Чечель [28] смелый
И запорожский атаман.
И ты, любовник бранной славы,
Для шлема кинувший венец,
Твой близок день, ты вал Полтавы
Вдали завидел наконец.

И царь туда ж помчал дружины.
Они как буря притекли —
И оба стана средь равнины
Друг друга хитро облегли:

Не раз избитый в схватке смелой,
Заране кровью опьянелый,
С бойцом желанным наконец
Так грозный сходится боец.
И злобясь видит Карл могучий
Уж не расстроенные тучи
Несчастных нарвских беглецов,
А нить полков блестящих, стройных,
Послушных, быстрых и спокойных,
И ряд незыблемый штыков.

Но он решил: заутра бой.
Глубокий сон во стане шведа.
Лишь под палаткою одной
Ведется шопотом беседа.

„Нет, вижу я, нет, Орлик мой,
Поторопились мы некстати:
Расчет и дерзкий и плохой,
И в нем не будет благодати.
Пропала, видно, цель моя.
Что делать? дал я промах важный:
Ошибся в этом Карле я.
Он мальчик бойкий и отважный;
Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом,
К врагу на ужин прискакать, [29]
Ответствовать на бомбу смехом; [30]
Не хуже русского стрелка
Прокрасться в ночь ко вражью стану;
Свалить как нынче казака
И обменять на рану рану; [31]
Но не ему вести борьбу
С самодержавным великаном:
Как полк вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном;
Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,
Бог весть какому счастью верит;
Он силы новые врага

Успехом прошлым только мерит —
Сломить ему свои рога.
Стыжусь: воинственным бродягой
Увлекся я на старость лет;
Был ослеплен его отвагой
И беглым счастием побед
Как дева робкая".

Орлик

Сраженья
Дождемся. Время не ушло
С Петром опять войти в сношенья:
Еще поправить можно зло.
Разбитый нами, нет сомненья,
Царь не отвергнет примиренья.

Мазепа

Нет, поздно. Русскому царю
Со мной мириться невозможно.
Давно решилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стесненной злобой. Под Азовым
Однажды я с царем суровым
Во ставке ночью пировал:
Полны вином кипели чаши,
Кипели с ними речи наши.
Я слово смелое сказал.
Смутились гости молодые —
Царь, вспыхнув, чашу уронил
И за усы мои седые
Меня с угрозой ухватил.
Тогда, смирясь в бессильном гневе,
Отмстить себе я клятву дал;
Носил ее — как мать во чреве
Младенца носит. Срок настал.
Так, обо мне воспоминанье
Хранить он будет до конца.
Петру я послан в наказанье;
Я терн в листах его венца:

Он дал бы грады родовые
И жизни лучшие часы,
Чтоб снова как во дни былые
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще для нас надежды:
Кому бежать, решит заря.

Умолк и закрывает вежды
Изменник русского царя.

Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.
В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огнь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжкой твердостью своею
Ее стремления крепит.
И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там:
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдается пылкий Шлипенбах.
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:

„За дело, с богом!“ Из шатра
Толпой любимцев окруженный
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.

Уж близок полдень. Жар пылает.
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Ровняясь строятся полки.
Молчит музыка боевая.
На холмах пушки присмирев
Прервали свой голодный рев.
И се — равнину оглашая
Далече грянуло *ура*:
Полки увидели Петра.

И он промчался пред полками,
Могущ и радостен как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,

В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился.
Смущенный взор изобразил
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье...
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.

И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча,
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет.
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

Среди тревоги и волненья,
На битву взором вдохновенья
Вожди спокойные глядят,
Движенья ратные следят,
Предвидят гибель и победу
И в тишине ведут беседу.
Но близ московского царя
Кто воин сей под сединами?
Двумя поддержан казаками,
Сердечной ревностью горя,

Он оком опытным героя
Взирает на волненье боя.
Уж на коня не вскочит он,
Одрях в изгнанье сиротея,
И казаки на клич Палея
Не налетят со всех сторон!
Но что ж его сверкнули очи,
И гневом, будто мглою ночи,
Покрылось старое чело?
Что возмутить его могло?
Иль он сквозь бранный дым увидел
Врага Мазепу, и в сей миг
Свои лета возненавидел
Обезоруженный старик?

Мазепа, в думу погруженный,
Взирал на битву, окруженный
Толпой мятежных казаков,
Родных, старшин и сердюков.
Вдруг выстрел. Старец обратился.
У Войнаровского в руках
Мушкетный ствол еще дымился.
Сраженный в нескольких шагах,
Младой казак в крови валялся,
А конь, весь в пене и пыли,
Почуя волю, дико мчался,
Скрываясь в огненной дали.
Казак на гетмана стремился
Сквозь битву с саблею в руках,
С безумной яростью в очах.
Старик, подъехав, обратился
К нему с вопросом. Но казак
Уж умирал. Потухший зрак
Еще грозил врагу России;
Был мрачен помертвелый лик,
И имя нежное Марии
Чуть лепетал еще язык.
Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!

Еще напор — и враг бежит:[32]
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась
Как роем черной саранчи.

Пирует Петр. И горд и ясен
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок поднимает.

Но где же первый, званый гость?
Где первый, грозный наш учитель,
Чью долговременную злость
Смирил Полтавский победитель?
И где ж Мазепа? где злодей?
Куда бежал Иуда в страхе?
Зачем король не меж гостей?
Зачем изменник не на плахе?[33]

Верхом, в глуши степей нагих,
Король и гетман мчатся оба.
Бегут. Судьба связала их.
Опасность близкая и злоба
Даруют силу королю.
Он рану тяжкую свою
Забыл. Поникнув головою,
Он скачет, русскими гоним,
И слуги верные толпою
Чуть могут следовать за ним.

Обозревая зорким взглядом
Степей широкий полукруг,
С ним старый гетман скачет рядом.
Пред ними хутор... Что же вдруг
Мазепа будто испугался?
Что мимо хутора помчался

Он стороной во весь опор?
Иль этот запустелый двор,
И дом, и сад уединенный,
И в поле отпертая дверь
Какой-нибудь рассказ забвенный
Ему напомнили теперь?
Святой невинности губитель!
Узнал ли ты сию обитель,
Сей дом, веселый прежде дом,
Где ты, вином разгоряченный,
Семьей счастливой окруженный,
Шутил бывало за столом?
Узнал ли ты приют укромный,
Где мирный ангел обитал,
И сад, откуда ночью темной
Ты вывел в степь... Узнал, узнал!

Ночные тени степь объемлют.
На бреге синего Днепра
Между скалами чутко дремлют
Враги России и Петра.
Щадят мечты покой героя,
Урон Полтавы он забыл.
Но сон Мазепы смутен был.
В нем мрачный дух не знал покоя.
И вдруг в безмолвии ночном
Его зовут. Он пробудился.
Глядит: над ним, грозя перстом,
Тихонько кто-то наклонился.
Он вздрогнул как под топором...
Пред ним с развитыми власами,
Сверкая впалыми глазами,
Вся в рубище, худа, бледна,
Стоит, луной освещена...
„Или это сон?.. Мария... ты ли?“

Мария

Ах, тише, тише, друг!.. Сейчас
Отец и мать глаза закрыли...
Постой... услышать могут нас.

Мазепа

Мария, бедная Мария!
Опомнись! Боже!.. Что с тобой?

Мария

Послушай: хитрости какие!
Что за рассказ у них смешной?
Она за тайну мне сказала,
Что умер бедный мой отец
И мне тихонько показала
Седую голову — творец!
Куда бежать нам от злоречья?
Подумай: эта голова
Была совсем не человечья,
А волчья — видишь: какова!
Чем обмануть меня хотела!
Не стыдно ль ей меня терзать?
И для чего? чтоб я не смела
С тобой сегодня убежать!
Возможно ль?
С горестью глубокой
Любовник ей внимал жестокой.
Но, вихрю мыслей предана,
„Однако ж, — говорит она, —
Я помню поле... праздник шумный...
И чернь... и мертвые тела...
На праздник мать меня вела...
Но где ж ты был?.. С тобою розно
Зачем в ночи скитаюсь я?
Пойдем домой. Скорей... уж поздно.
Ах, вижу, голова моя
Полна волнения пустого:
Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!

Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь".

И с диким смехом завизжала,
И легче серны молодой
Она вспрыгнула, побежала
И скрылась в темноте ночной.

Редела тень. Восток алел.
Огонь казачий пламенел.
Пшеницу казаки варили;
Драбанты у брегу Днепра
Коней расседланных поили.
Проснулся Карл. „Ого! пора!
Вставай, Мазепа. Рассветает".
Но гетман уж не спит давно.
Тоска, тоска его снедает;
В груди дыханье стеснено.
И молча он коня седлает,
И скачет с беглым королем,
И страшно взор его сверкает,
С родным прощаясь рубежом.

Прошло сто лет — и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалось —
И с ним исчез кровавый след
Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.
В стране — где мельниц ряд крылатый
Оградой мирной обступил
Бендер пустынные раскаты,
Где бродят буйволы рогаты
Вокруг воинственных могил —
Останки разоренной сени,
Три углубленные в земле

„Полтава“. С автолитографии *М. С. Родионова*

И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.
С них отражал герой безумный,
Один в толпе домашних слуг,
Турецкой рати приступ шумный,
И бросил шпагу под бунчук;
И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы:
Забыт Мазепа с давних пор;
Лишь в торжествующей святыне
Раз в год анафемой доныне,
Грозя, гремит о нем собор.
Но сохранилася могила,
Где двух страдальцев прах почил:
Меж древних праведных могил
Их мирно церковь приютила. [34]
Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят.
Но дочь преступница... преданья
Об ней молчат. Ее страданья,
Ее судьба, ее конец
Непроницаемою тьмою
От нас закрыты. Лишь порою
Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бренчит,
О грешной деве мимоходом
Казачкам юным говорит.

## Примечания

[1] Василий Леонтьевич Кочубей, генеральный судия, один из предков нынешних графов.

[2] *Хутор* — загородный дом.

[3] У Кочубея было несколько дочерей; одна из них была замужем за Обидовским, племянником Мазепы. Та, о которой здесь упоминается, называлась Матреной.

[4] Мазепа в самом деле сватал свою крестницу, но ему отказали.

[5] Предание приписывает Мазепе несколько песен, доныне сохранившихся в памяти народной. Кочубей в своем доносе также упоминает о патриотической думе, будто бы сочиненной Мазепою. Она замечательна не в одном историческом отношении.

[6] Бунчук и булава — знаки гетманского достоинства.

[7] Смотр. *Мазепу* Байрона.

[8] Дорошенко, один из героев древней Малороссии, непримиримый враг русского владычества.

[9] Григорий Самойлович, сын гетмана, сосланного в Сибирь в начале царствования Петра I.

[10] Симеон Палей, хвастовский полковник, славный наездник. За своевольные набеги сослан был в Енисейск по жалобам Мазепы. Когда сей последний оказался изменником, то и Палей, как закоренелый враг его, был возвращен из ссылки и находился в Полтавском сражении.

[11] Костя Гордеенко, кошевой атаман запорожских казаков. Впоследствии передался Карлу XII. Взят в плен и казнен в 1708 г.

[12] 20 000 казаков было послано в Лифляндию.

[13] Мазепа в одном письме упрекает Кочубея в том, что им управляет жена его *гордая и высокоумная*.

[14] Искра, полтавский полковник, товарищ Кочубея, разделивший с ним его умысел и участь.

[15] Езуит Заленский, княгиня Дульская и какой-то болгарский архиепископ, изгнанный из своего отечества, были главными агентами Мазепиной измены. Последний в виде нищего ходил из Польши в Украйну и обратно.

[16] Так назывались манифесты гетманов.

[17] Филипп Орлик, генеральный писарь, наперсник Мазепы, после смерти (в 1710) сего последнего получил от Карла XII пустой титул малороссийского гетмана. Впоследствии принял магометанскую веру и умер в Бендерах около 1736 года.

[18] *Булавин*, донской казак, бунтовавший около того времени.

[19] Тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них по справедливости должен лежать ужас суда и казни доносителей.

[20] В 1705 году. Смотр. примечания к Истории Малороссии Б. Каменского.

[21] Во время неудачного похода в Крым Казы-Гирей предлагал ему соединиться с ним и вместе напасть на русское войско.

[22] В своих письмах он жаловался, что доносителей пытали слишком легко, и неотступно требовал их казни, сравнивая себя с Сусанною, неповинно склеветанною беззаконными старцами, а графа Головкина с пророком Даниилом.

[23] Деревня Кочубея.

24 Уже осужденный на смерть, Кочубей был пытан в войске гетмана. По ответам несчастного видно, что его допрашивали о сокровищах, им утаенных.

25 Войско, состоящее на собственном иждивении гетманов.

26 Сильные меры, принятые Петром с обыкновенной его быстротой и энергией, удержали Украйну в повиновении.

„1708 ноября 7-го числа, по Указу Государеву, казаки по обычаю своему вольными голосами выбрали в гетманы полковника стародубского Ив. Скоропадского.

„8-го числа приехали в Глухов киевской, черниговской и переяславской архиепископы.

„А 9-го дня предали клятве Мазепу оные архиереи публично; того же дня и персону (куклу) оного изменника Мазепы вынесли и, сняв кавалерию (которая на ту персону была надета с бантом), оную персону бросили в палачевские руки, которую палач, взяв и прицепя за веревку, тащил по улице и по площади даже до виселицы, и потом повесили.

„В Глухове же 10-го дня казнили Чечеля и прочих изменников...“ (*Журнал Петра Великого.*)

27 Малороссийское слово. По-русски палач.

28 Чечель отчаянно защищал Батурин против войск кн. Меншикова.

29 В Дрезден к королю Августу. Смотр. Voltaire. Hist. de Charles XII.

30 Ах, В. В.! бомба!.. — „Что есть общего между бомбою и письмом, которое тебе диктую? пиши“. Это случилось гораздо после.

31 Ночью Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал на казаков, сидевших у огня. Он поскакал прямо к ним и одного из них застрелил из собственных рук. Казаки дали по нем три выстрела и жестоко ранили его в ногу.

32 Благодаря прекрасным распоряжениям и действиям кн. Меншикова, участь главного сражения была решена заранее. Дело не продолжалось и двух часов. *Ибо* (сказано в Журн. Петра Вел.) *непобедимые господа шведы скоро хребет свой показали, и от наших войск вся неприятельская армия весьма опрокинута.* Петр впоследствии времени многое прощал Данилычу за услуги, оказанные в сей день генералом кн. Меншиковым.

33 L'Empereur Moscovite, pénetré d'une joie qu'il ne se mettait pas en peine de dissimuler (было о чем и радоваться) recevait sur le champ de bataille les prisonniers qu'on lui amenait en foule et demandait à tout moment: où est donc mon frére Charles?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . Alors prenant un verre de vin: A la santé, dit-il, de mes maîtres dans l'art de la guerre! — Renschild lui demanda: qui étaient ceux qu'il honorait d'un si beau titre? — Vous, Messieurs les généraux Suédois, reprit le Czar. — Votre Majesté est donc bien ingrate, reprit le Comte, d'avoir tant maltraité ses maîtres.

34 Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской лавре; над их гробом высечена следующая надпись:

Кто еси мимо грядый о нас неведущий,
Елицы зде естесмо положены сущи,
Понеже нам страсть и смерть повеле молчати,
Сей камень возопиет о нас ти вещати,
И за правду и верность к Монарсе нашу,
Страдания и смерти испыймо чашу,

Злуданьем Мазепы, всевечно правы,
Посеченны заставше топором во главы;
Почиваем в сем месте Матери Владычне,
Подающия всем своим рабом живот вечный.

Року 1708, месяца июля 15 дня, посечены средь обозу войскового, за Белою Церковию на Борщаговце и Ковшевом, благородный Василий Кочубей, Судия генеральный; Иоанн Искра, Полковник Полтавский. Привезены же тела их июля 17 в Киев и того ж дня в обители святой Печерской на сем месте погребены".

# < Тазит >

Не для бесед и ликований,
Не для кровавых совещаний,
Не для расспросов кунака,
Не для разбойничьей потехи
Так рано съехались адехи
На двор Гасуба старика.
В нежданой встрече сын Гасуба
Рукой завистника убит
Вблизи развалин Татартуба.
В родимой сакле он лежит.
Обряд творится погребальный.
Звучит уныло песнь муллы.
В арбу впряженные волы
Стоят пред саклею печальной.
Двор полон тесною толпой.
[Подъемлют гости скорбный вой
И с плачем бьют нагрудны брони,
И, внемля шум небоевой,
Мятутся спутанные кони.]
Все ждут. Из сакли наконец
Выходит между жен отец.
Два узденя за ним выносят
На бурке хладный труп. Толпу
По сторонам раздаться просят.
Слагают тело на арбу

И с ним кладут снаряд воинской:
Неразряженную пищаль,
Колчан и лук, кинжал грузинской
И шашки крестовую сталь,
Чтобы крепка была могила,
Где храбрый ляжет почивать,
Чтоб мог на зов он Азраила
Исправным воином восстать.

В дорогу шествие готово,
И тронулась арба. За ней
Адехи следуют сурово,
Смиряя молча пыл коней...
Уж потухал закат огнистый,
Златя нагорные скалы,
Когда долины каменистой
Достигли тихие волы.
В долине той враждою жадной
Сражен наездник молодой,
Там ныне тень могилы хладной
Воспримет труп его немой...

Уж труп землею взят. Могила
Завалена. Толпа вокруг
Мольбы последние творила.
Из-за горы явились вдруг
Старик [седой, с ним] отрок стройный.
Дают дорогу пришлецу —
И скорбному старик отцу
Так молвил, важный и спокойный:
„Прошло тому тринадцать лет,
Как ты, в аул чужой пришед,
Вручил мне слабого младенца,
Чтоб воспитаньем из него
Я сделал храброго чеченца.
Сегодня сына одного
Ты преждевременно хоронишь.
Гасуб, покорен будь судьбе.
Другого я привел тебе.
Вот он. Ты голову преклонишь

К его могучему плечу.
Твою потерю им заменишь —
Труды мои ты сам оценишь,
Хвалиться ими не хочу".

Умолкнул. Смотрит торопливо
Гасуб на отрока. Тазит,
Главу потупя молчаливо,
Ему недвижим предстоит.
И в горе им Гасуб любуясь,
Влеченью сердца повинуясь,
Объемлет ласково его.
Потом наставника ласкает,
Благодарит и приглашает
Под кровлю дома своего.
Три дня, три ночи с кунаками
Его он хочет угощать
И после честно провожать
С благословеньем и дарами.
Ему ж, отец печальный мнит,
Обязан благом я бесценным:
Слугой и другом неизменным,
Могучим мстителем обид.

---

Проходят дни. Печаль заснула
В душе Гасуба. Но Тазит
Всё дикость прежнюю хранит.
Среди родимого аула
Он как чужой; он целый день
В горах один; молчит и бродит.
Так в сакле кормленый олень
Всё в лес глядит, всё в глушь уходит.
Он любит по крутым скалам
Скользить, ползти тропой кремнистой,
Внимая буре голосистой
И в бездне воющим волнам.
Он иногда до поздней ночи
Сидит, печален, над горой,
Недвижно в даль уставя очи,
Опершись нà руку главой.

Какие мысли в нем проходят?
Чего желает он тогда?
Из мира дольного куда
Младые сны его уводят?..
Как знать? Незрима глубь сердец.
В мечтаньях отрок своеволен,
Как ветер в небе...
Но отец
Уже Тазитом недоволен.
„Где ж, — мыслит он, — в нем плод наук,
Отважность, хитрость и проворство,
Лукавый ум и сила рук?
В нем только лень и непокорство.
Иль сына взор мой не проник,
Иль обманул меня старик".

---

Тазит из табуна выводит
Коня, любимца своего.
Два дни в ауле нет его,
На третий он домой приходит.

Отец

Где был ты, сын?

Сын

В ущельи скал,
Где прорван каменистый берег
И путь открыт на Дариял.

Отец

Что делал там?

Сын

Я слушал Терек.

Отец

А не видал ли ты грузин
Иль русских?

Сын

Видел я, с товаром
Тифлисский ехал армянин.

Отец

Он был со стражей?

Сын

Нет, один.

Отец

Зачем нечаянным ударом
Не вздумал ты сразить его,
И не прыгнул к нему с утеса?—
Потупил очи сын черкеса,
Не отвечая ничего.

---

Тазит опять коня седлает.
Два дня, две ночи пропадает,
Потом является домой.

Отец

Где был?

Сын

За белою горой.

Отец

Кого ты встретил?

Сын

На кургане
От нас бежавшего раба.

Отец

[О, милосердая судьба!]
Где ж он? ужели на аркане
Ты беглеца не притащил?
— Тазит опять главу склонил.

Гасуб нахмурился в молчанье,
Но скрыл свое негодованье.
„Нет, — мыслит он, — не заменит
Он никогда другого брата.
Не научился мой Тазит,
Как шашкой добывают злата.
Ни стад моих, ни табунов
Не наделят его разъезды.
Он только знает без трудов
Внимать волнам, глядеть на звезды,
А не в набегах отбивать
Коней с ногайскими быками
И с боя взятыми рабами
Суда в Анапе нагружать“.

---

Тазит опять коня седлает.
Два дня, две ночи пропадает.
На третий, бледен как мертвец,
Приходит он домой. Отец,
Его увидя, вопрошает:
„Где был ты?“

Сын

Около станиц
Кубани, близ лесных границ.
. . . . . . . . . . . . . . .

Отец

Кого ты видел?

Сын

Супостата.

Отец

Кого? кого?

Сын

Убийцу брата.

Отец

Убийцу сына моего!..
Приди!.. где голова его?
Тазит!.. мне череп этот нужен.
Дай нагляжусь!

Сын

Убийца был
Один, изранен, безоружен...

Отец

Ты долга [крови] не забыл!..
Врага ты навзничь опрокинул,
Не правда ли? ты шашку вынул,
Ты в горло сталь ему воткнул
И трижды тихо повернул,
Упился ты его стенаньем,
Его змеиным издыханьем...
[Где ж голова?.. подай...] нет сил...
— Но сын молчит, потупя очи.
И стал Гасуб чернее ночи
И сыну грозно возопил:
„Поди ты прочь — ты мне не сын.
Ты не чеченец — ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин.
Будь проклят мной. Поди — чтоб слуха
[Никто о робком не имел,]
Чтоб вечно ждал ты грозной встречи,
Чтоб мертвый брат тебе на плечи
Окровавленной кошкой сел
И к бездне гнал тебя нещадно,
Чтоб ты, как раненый олень,
Бежал, тоскуя безотрадно,
Чтоб дети русских деревень
Тебя веревкою поймали
И как волченка затерзали,
Чтоб ты... беги... беги скорей,
Не оскверняй моих очей!“
— Сказал и на земь лег — и очи

Закрыл. И так лежал до ночи.
Когда же приподнялся он,
Был темен синий небосклон.
[Луна, блистая, восходила
И скал вершины серебрила.]
Тазита трижды он позвал.
Никто ему не отвечал...

---

Ущелий горных поселенцы
В долине шумно собрались.
Привычны игры начались.
Верхами юные чеченцы
В пыли несясь во весь опор,
Стрелою шапку пробивают,
Иль трижды сложенный ковер
Булатом сразу рассекают.
То скользкой тешатся борьбой,
То пляской быстрой. Жены, девы
Меж тем поют — и гул лесной
Далече вторит их напевы.
[Но между юношей один
Забав наездничьих не делит,
Верхом не мчится вдоль стремнин,
Из лука звонкого не целит.]
И между девами одна
Молчит, уныла и бледна.
Они в толпе четою странной
Стоят, не видя ничего.
И горе им: он сын изгнанный,
Она любовница его...

О, было время!.. с ней украдкой
Видался юноша в горах.
Он пил огонь отравы сладкой
В ее смятеньи, в речи краткой,
В ее потупленных очах,
Когда с домашнего порогу
Она смотрела на дорогу,
С подружкой резвой говоря,
И вдруг садилась и бледнела

И, отвечая, не глядела,
И разгоралась как заря;
Или у вод когда стояла,
Текущих с каменных вершин,
И долго кованый кувшин
Волною звонкой наполняла.

И он, не властный превозмочь
Волнений сердца, раз приходит
К ее отцу, его отводит
И говорит: „Твоя мне дочь
Давно мила. По ней тоскуя,
[Один] и сир, давно живу я.
Благослови любовь мою.
Я беден — но могуч и молод.
Мне труд легок. Я удалю
От нашей сакли тощий голод.
Тебе я буду сын и друг
Послушный, преданный и нежный,
Твоим сынам кунак надежный,
А ей приверженный супруг“.

# Домик в Коломне

I

Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякой. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь на славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.

II

А чтоб им путь открыть широкий, вольный,
Глаголы тотчас им я разрешу...
Вы знаете, что рифмой наглагольной
Гнушаемся мы. Почему? спрошу.
Так писывал <Шихматов> богомольный,
По большей части так и я пишу.
К чему? скажите; уж и так мы голы.
Отныне в рифмы буду брать глаголы.

### III

Не стану их надменно браковать,
Как рекрутов, добившихся увечья,
Иль как коней за их плохую стать, –
А подбирать союзы да наречья;
Из мелкой сволочи вербую рать.
Мне рифмы нужны; все готов сберечь я,
Хоть весь словарь; что слог, то и солдат —
Все годны в строй: у нас ведь не парад.

### IV

Ну, женские и мужеские слоги!
Благословясь, попробуем: слушай!
Равняйтеся, вытягивайте ноги
И по три в ряд в октаву заезжай!
Не бойтесь, мы не будем слишком строги;
Держись вольней и только не плошай,
А там уже привыкнем, слава богу,
И выедем на ровную дорогу.

### V

Как весело стихи свои вести
Под цыфрами, в порядке, строй за строем,
Не позволять им в сторону брести,
Как войску, в пух рассыпанному боем!
Тут каждый слог замечен и в чести,
Тут каждый стих глядит себе героем,
А стихотворец... с кем же равен он?
Он Тамерлан, иль сам Наполеон.

### VI

Немного отдохнем на этой точке.
Что? перестать или *пустить на пе?*..
Признаться вам, я в пятистопной строчке
Люблю цезуру на второй стопе.
Иначе стих то в яме, то на кочке,
И хоть лежу теперь на канапе,
Всё кажется мне, будто в тряском беге
По мерзлой пашне мчусь я на телеге.

### VII

Что за беда? не всё ж гулять пешком
По невскому граниту, иль на бале
Лощить паркет, или скакать верхом
В степи киргизской. Поплетусь-ка дале,
Со станции на станцию шажком,
Как говорят о том оригинале,
Который, не кормя, на рысаке
Приехал из Москвы к Неве-реке.

### VIII

Скажу, рысак! Парнасский иноходец
Его не обогнал бы. Но Пегас
Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец
Иссох. Порос крапивою Парнас;
В отставке Феб живет, а хороводец
Старушек муз уж не прельщает нас.
И табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок.

### IX

Усядься, муза; ручки в рукава,
Под лавку ножки! не вертись, резвушка!
Теперь начнем.— Жила была вдова,
Тому лет восемь, бедная старушка,
С одною дочерью. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка
За самой будкой. Вижу ка́к теперь
Светелку, три окна, крыльцо и дверь.

### X

Дни три тому, туда ходил я вместе
С одним знакомым перед вечерком.
Лачужки этой нет уж там. На месте
Ее построен трехэтажный дом.
Я вспомнил о старушке, о невесте,
Бывало, тут сидевших под окном,
О той поре, когда я был моложе,
Я думал: живы ли они? — И что же?

### XI

Мне стало грустно: на высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы обхватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя. Странным сном
Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум, когда бредем
Одни или с товарищем вдвоем.

### XII

Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змию;
Но кто болтлив, того молва прославит
Вмиг извергом... Я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость:
Оставим это, — сделайте мне милость!

### XIII

Старушка (я сто крат видал точь-в-точь
В картинах Рембрандта такие лица)
Носила чепчик и очки. Но дочь
Была, ей-ей, прекрасная девица:
Глаза и брови — темные как ночь,
Сама бела, нежна — как голубица;
В ней вкус был образованный. Она
Читала сочиненья Эмина.

### XIV

Играть умела также на гитаре
И пела: *Стонет сизый голубок,*
И *Выду ль я,* и то, что уж постаре,
Всё, что у печки в зимний вечерок
Иль скучной осенью при самоваре
Или весною, обходя лесок,

Поет уныло русская девица,
Как музы наши, грустная певица.

### XV

Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
Начав за здравие, за упокой
Сведем как раз. Печалию согрета
Гармония и наших муз и дев.
Но нравится их жалобный напев.

### XVI

Параша (так звалась красотка наша)
Умела мыть и гладить, шить и плесть;
Всем домом правила одна Параша,
Поручено ей было счеты весть,
При ней варилась гречневая каша
(Сей важный труд ей помогала несть
Стряпуха Фекла, добрая старуха,
Давно лишенная чутья и слуха).

### XVII

Старушка мать, бывало, под окном
Сидела; днем она чулок вязала,
А вечером за маленьким столом
Раскладывала карты и гадала.
Дочь, между тем, весь обегала дом,
То у окна, то на дворе мелькала,
И кто бы ни проехал иль ни шел,
Всех успевала видеть (зоркий пол!).

### XVIII

Зимою ставни закрывались рано,
Но летом до-ночи растворено
Всё было в доме. Бледная Диана
Глядела долго девушке в окно.

(Без этого ни одного романа
Не обойдется; так заведено!)
Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка — на луну еще смотрела

XIX

И слушала мяуканье котов
По чердакам, свиданий знак нескромный,
Да стражи дальный крик, да бой часов —
И только. Ночь над мирною Коломной
Тиха отменно. Редко из домов
Мелькнут две тени. Сердце девы томной
Ей слышать было можно, как оно
В упругое толкалось полотно.

XX

По воскресеньям, летом и зимою,
Вдова ходила с нею к Покрову,
И становилася перед толпою
У клироса налево. Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

XXI

Туда, я помню, ездила всегда
Графиня... (звали как, не помню, право)
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен! всё гляжу направо,
Всё на нее. Параша перед ней
Казалась, бедная, еще бедней.

XXII

Порой графиня на нее небрежно
Бросала важный взор свой. Но она

Молилась богу тихо и прилежно
И не казалась им развлечена.
Смиренье в ней изображалось нежно;
Графиня же была погружена
В самой себе, в волшебстве моды новой,
В своей красе надменной и суровой.

### XXIII

Она казалась хладный идеал
Тщеславия. Его б вы в ней узнали;
Но сквозь надменность эту я читал
Иную повесть: долгие печали,
Смиренье жалоб... В них-то я вникал,
Невольный взор они-то привлекали...
Но это знать графиня не могла,
И, верно, в список жертв меня внесла.

### XXIV

Она страдала, хоть была прекрасна
И молода, хоть жизнь ее текла
В роскошной неге; хоть была подвластна
Фортуна ей; хоть мода ей несла
Свой фимиам,— она была несчастна.
Блаженнее стократ ее была,
Читатель, новая знакомка ваша,
Простая, добрая моя Параша.

### XXV

Коса змией на гребне роговом,
Из-за ушей змиею кудри русы,
Косыночка крест-на-крест иль узлом,
На тонкой шее восковые бусы —
Наряд простой; но пред ее окном
Всё ж ездили гвардейцы черноусы,
И девушка прельщать умела их
Без помощи нарядов дорогих.

### XXVI

Меж ними кто ее был сердцу ближе,
Или равно для всех она была

Душою холодна? увидим ниже.
Покамест мирно жизнь она вела,
Не думая о балах, о Париже,
Ни о дворе (хоть при дворе жила
Ее сестра двоюродная, Вера
Ивановна, супруга гоф-фурьера).

**XXVII**

Но горе вдруг их посетило дом:
Стряпуха, возвратясь из бани жаркой,
Слегла. Напрасно чаем и вином,
И уксусом, и мятною припаркой
Ее лечили. В ночь пред Рождеством
Она скончалась. С бедною кухаркой
Они простились. В тот же день пришли
За ней, и гроб на Охту отвезли.

**XXVIII**

Об ней жалели в доме, всех же боле
Кот Васька. После вдовушка моя
Подумала, что два, три дня — не доле —
Жить можно без кухарки; что нельзя
Предать свою трапезу божьей воле.
Старушка кличет дочь: „Параша!“— „Я!“
— „Где взять кухарку? сведай у соседки,
Не знает ли. Дешевые так редки“.

**XXIX**

„Узнаю, маменька“. И вышла вон,
Закутавшись. (Зима стояла грозно,
И снег скрыпел, и синий небосклон,
Безоблачен, в звездах, сиял морозно.)
Вдова ждала Парашу долго; сон
Ее клонил тихонько; было поздно,
Когда Параша тихо к ней вошла,
Сказав: „Вот я кухарку привела“.

**XXX**

За нею следом, робко выступая,
Короткой юбочкой принарядясь,

Высокая, собою недурная,
Шла девушка, и, низко поклонясь,
Прижалась в угол, фартук разбирая.
„А что возьмешь?“ спросила, обратясь,
Старуха.— „Всё, что будет вам угодно“,
Сказала та смиренно и свободно.

### XXXI

Вдове понравился ее ответ.
„А как зовут?“ — „А Маврой“.— „Ну,
Мавруша,
Живи у нас; ты молода, мой свет;
Гоняй мужчин. Покойница Феклуша
Служила мне в кухарках десять лет,
Ни разу долга чести не наруша.
Ходи за мной, за дочерью моей,
Усердна будь; присчитывать не смей“.

### XXXII

Проходит день, другой. В кухарке толку
Довольно мало: то переварит,
То пережарит, то с посудой полку
Уронит; вечно всё пересолит,
Шить сядет — не умеет взять иголку;
Ее бранят — она себе молчит;
Везде, во всем уж как-нибудь подгадит.
Параша бьется, а никак не сладит.

### XXXIII

Поутру, в воскресенье, мать и дочь
Пошли к обедне. Дома лишь осталась
Мавруша; видите ль: у ней всю ночь
Болели зубы; чуть жива таскалась;
Корицы нужно было натолочь,—
Пирожное испечь она сбиралась.
Ее оставили; но в церкви вдруг
На старую вдову нашел испуг.

### XXXIV

Она подумала: „В Мавруше ловкой
Зачем к пирожному припала страсть?
Пирожница, ей-ей, глядит плутовкой!
Не вздумала ль она нас обокрасть,
Да улизнуть? Вот будем мы с обновкой
Для праздника! Ахти, какая страсть!“
Так думая, старушка обмирала
И наконец, не вытерпев, сказала:

### XXXV

„Стой тут, Параша. Я схожу домой,
Мне что-то страшно“. Дочь не разумела,
Чего ей страшно. С паперти долой
Чуть-чуть моя старушка не слетела;
В ней сердце билось, как перед бедой.
Пришла в лачужку, в кухню посмотрела,—
Мавруши нет. Вдова к себе в покой
Вошла — и что ж? о боже! страх какой!

### XXXVI

Перед зеркальцем Параши, чинно сидя,
Кухарка брилась. Что с моей вдовой?
„Ах, ах!“ и шлепнулась. Ее увидя,
Та, второпях, с намыленной щекой
Через старуху (вдовью честь обидя),
Прыгнула в сени, прямо на крыльцо,
Да ну бежать, закрыв себе лицо.

### XXXVII

Обедня кончилась; пришла Параша.
„Что, маменька?“ — „Ах, Пашинька моя!
Маврушка...“ — „Что, что с ней?“ — „Кухарка наша...
Опомниться досель не в силах я...
За зеркальцем... вся в мыле...“ — „Воля ваша,
Мне право ничего понять нельзя;
Да где ж Мавруша?“ — „Ах, она разбойник!
Она здесь брилась!.. точно мой покойник!“

### XXXVIII

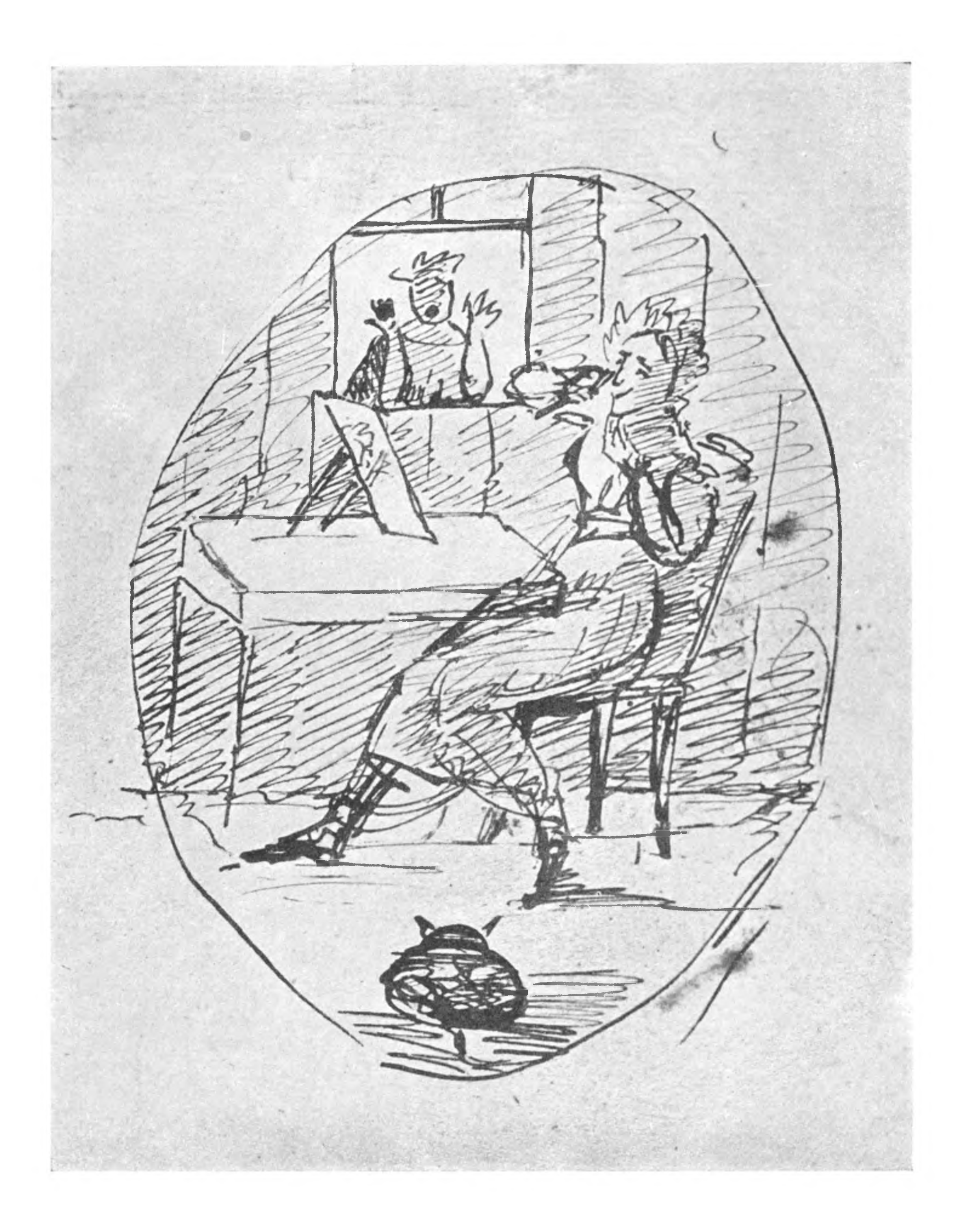
Параша закраснелась или нет,
Сказать вам не умею; но Маврушки
С тех пор как не было, — простыл и след;
Ушла, не взяв в уплату ни полушки
И не успев наделать важных бед.
У красной девушки и у старушки
Кто заступил Маврушу? признаюсь,
Не ведаю, и кончить тороплюсь.

### XXXIX

„Как! разве всё тут? шутите!“ — „Ей-богу“.
Так вот куда октавы нас вели!
К чему ж такую подняли тревогу,
Скликали рать и с похвальбою шли?
Завидную ж вы избрали дорогу!
Ужель иных предметов не нашли?
Да нет ли хоть у вас нравоученья?“
— „Нет... или есть: минуточку терпенья...

### XL

Вот вам мораль: по мненью моему,
Кухарку даром нанимать опасно;
Кто ж родился мужчиною, тому
Рядиться в юбку странно и напрасно:
Когда-нибудь придется же ему
Брить бороду себе, что̀ несогласно
С природой дамской... Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего“.



„Домик в Коломне“. С рис. пером *А. С. Пушкина*
(Всесоюзная Публичная библиотека им. Ленина)

# Анджело

## Часть первая

### I

В одном из городов Италии счастливой
Когда-то властвовал предобрый, старый Дук,
Народа своего отец чадолюбивый,
Друг мира, истины, художеств и наук.
Но власть верховная не терпит слабых рук,
А доброте своей он слишком предавался.
Народ любил его и вовсе не боялся.
В суде его дремал карающий закон,
Как дряхлый зверь, уже к ловитве неспособный.
Дук это чувствовал в душе своей незлобной
И часто сетовал. Сам ясно видел он,
Что хуже дедушек с дня на день были внуки,
Что грудь кормилицы ребенок уж кусал,
Что правосудие сидело сложа руки,
И по носу его ленивый не щелкал.

### II

Нередко добрый Дук, раскаяньем смущенный,
Хотел восстановить порядок упущенный;
Но как? Зло явное, терпимое давно,
Молчанием суда уже дозволено,

И вдруг его казнить совсем несправедливо
И странно было бы, тому же особливо,
Кто первый сам его потворством ободрял.
Что делать? Долго Дук терпел и размышлял,
Размыслив наконец, решился он на время
Предать иным рукам верховной власти бремя,
Чтоб новый властелин расправой новой мог
Порядок вдруг завесть и был бы крут и строг.

### III

Был некто Анджело, муж опытный, не новый
В искусстве властвовать, обычаем суровый,
Бледнеющий в трудах, ученье и посте,
За нравы строгие прославленный везде,
Стеснивший весь себя оградою законной,
С нахмуренным лицом и с волей непреклонной;
Его-то старый Дук наместником нарек,
И в ужас ополчил и милостью облек,
Неограниченны права ему вручая.
А сам, докучного вниманья избегая,
С народом не простясь, incognito, один
Пустился странствовать как древний паладин.

### IV

Лишь только Анджело вступил во управленье,
И всё тотчас другим порядком потекло,
Пружины ржавые опять пришли в движенье,
Законы поднялись, хватая в когти зло,
На полных площадях, безмолвных от боязни,
По пятницам пошли разыгрываться казни,
И ухо стал себе почесывать народ
И говорить: „Эхе! да этот уж не тот“.

### V

Между законами забытыми в ту пору
Жестокий был один: закон сей изрекал
Прелюбодею смерть. Такого приговору
В том городе никто не помнил, не слыхал.

Угрюмый Анджело в громаде уложенья
Отрыл его — и в страх повесам городским
Опять его на свет пустил для исполненья,
Сурово говоря помощникам своим:
„Пора нам зло пугнуть. В балованном народе
Преобратилися привычки уж в права,
И шмыгают кругом закона на свободе,
Как мыши около зевающего льва.
Закон не должен быть пужало из тряпицы,
На коем наконец уже садятся птицы".

## VI

Так Анджело на всех навел невольно дрожь,
Роптали вообще, смеялась молодежь,
И в шутках строгого вельможи не щадила,
Меж тем как ветрено над бездною скользила,
И первый под топор беспечной головой
Попался Клавдио, патриций молодой;
В надежде всю беду современем исправить
И не любовницу, супругу в свет представить,
Джюльету нежную успел он обольстить
И к таинствам любви безбрачной преклонить.
Но их последствия к несчастью явны стали;
Младых любовников свидетели застали,
Ославили в суде взаимный их позор,
И юноше прочли законный приговор.

## VII

Несчастный, выслушав жестокое решенье,
С поникшей головой обратно шел в тюрьму,
Невольно каждому внушая сожаленье
И горько сетуя. Навстречу вдруг ему
Попался Луцио, гуляка беззаботный,
Повеса, вздорный враль, но малый доброхотный.
„Друг, — молвил Клавдио,—молю, не откажи:
Сходи ты в монастырь к сестре моей. Скажи,
Что должен я на смерть идти; чтоб поспешила
Она спасти меня, друзей бы упросила,
Иль даже бы пошла к наместнику сама.

В ней много, Луцио, искусства и ума,
Бог дал ее речам уверчивость и сладость,
К тому ж и без речей рыдающая младость
Мягчит сердца людей“.—„Изволь! поговорю“,—
Гуляка отвечал, и сам к монастырю
Тотчас отправился.

## VIII

Младая Изабела
В то время с важною монахиней сидела.
Постричься через день она должна была
И разговор о том со старицей вела.
Вдруг Луцио звонит и входит. У решетки
Его приветствует, перебирая четки,
Полузатворница: „Кого угодно вам?“—
„Девица (и судя по розовым щекам,
Уверен я, что вы девица в самом деле),
Нельзя ли доложить прекрасной Изабеле,
Что к ней меня прислал ее несчастный брат?“—
„Несчастный?.. почему? что с ним? скажите смело:
Я Клавдио сестра“.—„Нет, право? очень рад.
Он кланяется вам сердечно. Вот в чем дело:
Ваш брат в тюрьме“.—„За что?“—„За то, за что бы я
Благодарил его, красавица моя,
И не было б ему иного наказанья“.
(Тут он в подробные пустился описанья,
Немного жесткие своею наготой
Для девственных ушей отшельницы младой,
Но со вниманием всё выслушала дева
Без приторных причуд стыдливости и гнева.
Она чиста была душою как Эфир.
Ее смутить не мог неведомый ей мир
Своею суетой и праздными речами.)
„Теперь,—промолвил он,—осталось лишь мольбами
Вам тронуть Анджело, и вот о чем просил
Вас братец“.—„Боже мой,—девица отвечала,—
Когда б от слов моих я пользы ожидала!..
Но сомневаюся; во мне не станет сил...“—
„Сомненья нам враги,—тот с жаром возразил,—

Нас неудачею предатели стращают,
И благо верное достать не допущают.
Ступайте к Анджело и знайте от меня,
Что если девица, колена преклоня,
Перед мужчиною и просит и рыдает,
Как бог он всё дает, чего ни пожелает".

## IX

Девица, отпросясь у матери честной,
С усердным Луцио к вельможе поспешила
И, на колена став, смиренною мольбой
За брата своего наместника молила.
„Девица,— отвечал суровый человек,—
Спасти его нельзя; твой брат свой отжил век;
Он должен умереть". Заплакав, Изабела
Склонилась перед ним и прочь идти хотела,
Но добрый Луцио девицу удержал;
„Не отступайтесь так, — он тихо ей сказал, —
Просите вновь его, бросайтесь на колени,
Хватайтеся за плащ, рыдайте; слезы, пени,
Все средства женского искусства вы должны
Теперь употребить. Вы слишком холодны.
Как будто речь идет меж вами про иголку.
Конечно, если так, не будет верно толку.
Не отставайте же! еще!"

## X

Она опять
Усердною мольбой стыдливо умолять
Жестокосердого блюстителя закона.
„Поверь мне,— говорит,— ни царская корона,
Ни меч наместника, ни бархат судии,
Ни полководца жезл — все почести сии —
Земных властителей ничто не украшает,
Как милосердие; оно их возвышает.
Когда б во власть твою мой брат был облечен,
А ты был Клавдио, ты мог бы пасть как он,
Но брат бы не был строг как ты".

XI

Ее укором
Смущен был Анджело. Сверкая мрачным взором
„Оставь меня, прошу“, — сказал он тихо ей;
Но дева скромная и жарче и смелей
Была час от часу. „Подумай, — говорила, —
Подумай: если тот, чья праведная сила
Прощает и целит, судил бы грешных нас
Без милосердия, скажи: что было б с нами?
Подумай — и любви услышишь в сердце глас,
И милость нежная твоими дхнет устами,
И новый человек ты будешь“.

XII

Он в ответ:
„Поди; твои мольбы пустая слов утрата.
Не я, закон казнит. Спасти нельзя мне брата,
И завтра он умрет“.

Изабела

Как, завтра! что? нет, нет.
Он не готов еще, казнить его не можно...
Ужели господу пошлем неосторожно
Мы жертву наскоро? Мы даже и цыплят
Не бьем до времени. Так скоро не казнят.
Спаси, спаси его; подумай, в самом деле:
Ты знаешь, государь, несчастный осужден
За преступление, которое доселе
Прощалось каждому; постраждет первый он.

Анджело

Закон не умирал, но был лишь в усыпленье,
Теперь проснулся он.

Изабела

Будь милостив!

Анджело

Нельзя.
Потворствовать греху есть то же преступленье,
Карая одного, спасаю многих я.

Изабела

Ты ль первый изречешь сей приговор ужасный?
И первой жертвою мой будет брат несчастный.
Нет, нет! будь милостив. Ужель душа твоя
Совсем безвинная? спросись у ней: ужели
И мысли грешные в ней отроду не тлели?

### XIII

Невольно он вздрогнул, поникнул головой
И прочь идти хотел. Она: „Постой, постой!
Послушай, воротись. Великими дарами
Я задарю тебя... прими мои дары,
Они не суетны, но честны и добры,
И будешь ими ты делиться с небесами:
Я одарю тебя молитвами души
Пред утренней зарей, в полунощной тиши,
Молитвами любви, смирения и мира,
Молитвами святых, угодных небу дев,
В уединении умерших уж для мира,
Живых для господа".
Смущен и присмирев,
Он ей свидание на завтра назначает
И в отдаленные покои поспешает.

## Часть вторая

### I

День целый Анджело безмолвный и угрюмый
Сидел уединясь, объят одною думой,
Одним желанием; всю ночь не тронул сон
Усталых вежд его. „Что ж это? — мыслит он, —
Ужель ее люблю, когда хочу так сильно
Услышать вновь ее и взор мой усладить
Девичьей прелестью? По ней грустит умильно
Душа... или когда святого уловить
Захочет бес, тогда приманкою святою
И манит он на крюк? Нескромной красотою
Я не был от роду к соблазнам увлечен,
И чистой девою теперь я побежден.
Влюбленный человек доселе мне казался
Смешным, и я его безумству удивлялся.
А ныне!..“

### II

Размышлять, молиться хочет он,
Но мыслит, молится рассеянно. Словами
Он небу говорит, а волей и мечтами
Стремится к ней одной. В унынье погружен,
Устами праздными жевал он имя бога,
А в сердце грех кипел. Душевная тревога
Его осилила. Правленье для него,
Как дельная, давно затверженная книга,
Несносным сделалось. Скучал он; как от ига
Отречься был готов от сана своего;
А важность мудрую, которой столь гордился,
Которой весь народ бессмысленно дивился,
Ценил он ни во что и сравнивал с пером,
Носимым в воздухе летучим ветерком...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поутру к Анджело явилась Изабела
И странный разговор с наместником имела...

## III

Анджело

Что скажешь?

Изабела

Волю я твою пришла узнать.

Анджело

Ах, если бы ее могла ты угадать!..
Твой брат не должен жить... а мог бы.

Изабела

Почему же
Простить нельзя его?

Анджело

Простить? что в мире хуже
Столь гнусного греха? Убийство легче.

Изабела

Да,
Так судят в небесах, но на земле когда?

Анджело

Ты думаешь? так вот тебе предположенье:
Что если б отдали тебе на разрешенье —
Оставить брата влечь ко плахе на убой,
Иль искупить его, пожертвовав собой
И плоть предав греху?

Изабела

Скорее, чем душою,
Я плотью жертвовать готова.

Анджело

Я с тобою
Теперь не о душе толкую... дело в том:
Брат осужден на казнь; его спасти грехом
Не милосердие ль?

Изабела

Пред богом я готова
Душою отвечать: греха в том никакого,
Поверь, и нет. Спаси ты брата моего!
Тут милость, а не грех.

Анджело

Спасешь ли ты его,
Коль милость на весах равно с грехом потянет?

Изабела

О пусть моим грехом спасенье брата станет!
(Коль это только грех.) О том готова я
Молиться день и ночь.

Анджело

Нет, выслушай меня,
Или ты слов моих совсем не понимаешь,
Или понять меня нарочно избегаешь,
Я проще изъяснюсь: твой брат приговорен.

Изабела

Так.

Анджело

Смерть изрек ему решительно закон.

Изабела

Так точно.

Анджело

Средство есть одно к его спасенью.
(Всё это клонится к тому предположенью,
И только есть вопрос и больше ничего.)
Положим: тот, кто б мог один спасти его
(Наперсник судии, иль сам по сану властный
Законы толковать, мягчить их смысл ужасный),
К тебе желаньем был преступным воспален,
И требовал, чтоб ты казнь брата искупила

Своим падением; не то — решит закон.
Что скажешь? как бы ты в уме своем решила?

Изабела

Для брата, для себя решилась бы скорей,
Поверь, как яхонты носить рубцы бичей
И лечь в кровавый гроб спокойно как на ложе,
Чем осквернить себя.

Анджело

Твой брат умрет.

Изабела

Так что же?
Он лучший путь себе, конечно, изберет.
Бесчестием сестры души он не спасет.
Брат лучше раз умри, чем гибнуть мне навечно.

Анджело

За что ж казалося тебе бесчеловечно
Решение суда? Ты обвиняла нас
В жестокосердии. Давно ль еще? Сейчас
Ты праведный закон тираном называла,
А братний грех едва ль не шуткой почитала.

Изабела

Прости, прости меня. Невольно я душой
Тогда лукавила. Увы! себе самой
Противуречила я, милое спасая,
И ненавистное притворно извиняя.
Мы слабы.

Анджело

Я твоим признаньем ободрен.
Так, женщина слаба, я в этом убежден
И говорю тебе: будь женщина, не боле —
Иль будешь ничего. Так покорися воле
Судьбы своей.

Изабела

Тебя я не могу понять.

Анджело

Поймешь: люблю тебя.

Изабела

Увы! что мне сказать?
Джюльету брат любил, и он умрет, несчастный.

Анджело

Люби меня, и жив он будет.

Изабела

Знаю: властный
Испытывать других, ты хочешь...

Анджело

Нет, клянусь.
От слова моего теперь не отопрусь;
Клянуся честию.

Изабела

О много, много чести!
И дело честное!.. Обманщик! демон лести!
Сейчас мне Клавдио свободу подпиши,
Или поступок твой и черноту души
Я всюду разглашу — и полно лицемерить
Тебе перед людьми.

Анджело

И кто же станет верить?
По строгости моей известен свету я;
Молва всеобщая, мой сан, вся жизнь моя
И самый приговор над братней головою
Представят твой донос безумной клеветою.
Теперь я волю дал стремлению страстей.
Подумай и смирись пред волею моей;
Брось эти глупости: и слезы, и моленья,
И краску робкую. От смерти, от мученья
Тем брата не спасешь. Покорностью одной
Искупишь ты его от плахи роковой.

До завтра от тебя я стану ждать ответа.
И знай, что твоего я не боюсь извета.
Что хочешь, говори, не пошатнуся я.
Всю истину твою низвергнет ложь моя.

## IV

Сказал, и вышел вон, невинную девицу
Оставя в ужасе. Поднявши к небесам
Молящий, ясный взор и чистую десницу,
От мерзостных палат спешит она в темницу.
Дверь отворилась ей; и брат ее глазам
Представился.

## V

В цепях, в унынии глубоком,
О светских радостях стараясь не жалеть,
Еще надеясь жить, готовясь умереть,
Безмолвен он сидел, и с ним, в плаще широком,
Под черным куколем, с распятием в руках,
Согбенный старостью беседовал монах.
Старик доказывал страдальцу молодому,
Что смерть и бытие равны одна другому,
Что здесь и там одна бессмертная душа
И что подлунный мир не стоит ни гроша.
С ним бедный Клавдио печально соглашался,
А в сердце милою Джюльетой занимался.
Отшельница вошла: „Мир вам!“ — очнулся он
И смотрит на сестру, мгновенно оживлен.
„Отец мой, — говорит монаху Изабела, —
Я с братом говорить одна бы здесь хотела“.
Монах оставил их.

## VI

Клавдио

Что ж, милая сестра,
Что скажешь?

Изабела

Милый брат, пришла тебе пора.

Клавдио

Так нет спасенья?

Изабела

Нет, иль разве поплатиться
Душой за голову?

Клавдио

Так средство есть одно?

Изабела

Так, есть. Ты мог бы жить. Судья готов смягчиться.
В нем милосердие бесовское: оно
Тебе дарует жизнь за узы муки вечной.

Клавдио

Что? вечная тюрьма?

Изабела

Тюрьма — хоть без оград,
Без цепи.

Клавдио

Изъяснись, что ж это?

Изабела

Друг сердечный,
Брат милый! Я боюсь... послушай, милый брат,
Семь, восемь лишних лет ужель тебе дороже
Всегдашней чести? Брат, боишься ль умереть?
Что чувство смерти? миг. И много ли терпеть?
Раздавленный червяк при смерти терпит то же,
Что терпит великан.

Клавдио

Сестра! или я трус?
Или идти на смерть во мне не станет силы?
Поверь, без трепета от мира отрешусь,
Коль должен умереть; и встречу ночь могилы
Как деву милую.

Изабела

Вот брат мой! узнаю:
Из гроба слышу я отцовский голос. Точно:
Ты должен умереть; умри же беспорочно.
Послушай, ничего тебе не утаю:
Тот грозный судия, святоша тот жестокой,
Чьи взоры строгие во всех родят боязнь,
Чья избранная речь шлет отроков на казнь,
Сам демон; сердце в нем черно как ад глубокой
И полно мерзостью.

Клавдио

Наместник?

Изабела

Ад облек
Его в свою броню. Лукавый человек!..
Знай: если б я его бесстыдное желанье
Решилась утолить, тогда бы мог ты жить.

Клавдио

О нет, не надобно.

Изабела

На гнусное свиданье,
Сказал он, нынче в ночь должна я поспешить,
Иль завтра ты умрешь.

Клавдио

Нейди, сестра.

Изабела

Брат милый!
Бог видит: ежели одной моей могилой
Могла бы я тебя от казни искупить,
Не стала б более иголки дорожить
Я жизнию моей.

Клавдио

Благодарю, друг милый!

Изабела

Так завтра, Клавдио, ты к смерти будь готов.

Клавдио

Да, так... и страсти в нем кипят с такою силой!
Иль в этом нет греха; иль из семи грехов
Грех этот меньший?

Изабела

Как?

Клавдио

Такого прегрешенья
Там верно не казнят. Для одного мгновенья
Ужель себя сгубить решился б он навек?
Нет, я не думаю. Он умный человек.
Ах, Изабела!

Изабела

Что? что скажешь?

Клавдио

Смерть ужасна!

Изабела

И стыд ужасен.

Клавдио

Так — однако ж... умереть,
Идти неведомо куда, во гробе тлеть
В холодной тесноте... Увы! земля прекрасна,
И жизнь мила. А тут: войти в немую мглу,
Стремглав низвергнуться в кипящую смолу,
Или во льду застыть, иль с ветром быстротечным
Носиться в пустоте, пространством бесконечным,
И всё, что грезится отчаянной мечте...
Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете,
В печалях, в старости, в неволе... будет раем
В сравненьи с тем, чего за гробом ожидаем!

Изабела

О боже!

Клавдио

Друг ты мой! Сестра! позволь мне жить.
Уж если будет грех спасти от смерти брата,
Природа извинит.

Изабела

Что смеешь говорить?
Трус! тварь бездушная! от сестрина разврата
Себе ты жизни ждешь!.. Кровосмеситель! нет,
Я думать не могу, нельзя, чтоб жизнь и свет
Моим отцом тебе даны. Прости мне, боже!
Нет, осквернила мать отеческое ложе,
Коль понесла тебя. Умри. Когда бы я
Спасти тебя могла лишь волею моею,
То все-таки б теперь свершилась казнь твоя.
Я тысячу молитв за смерть твою имею,
За жизнь — уж ни одной.

Клавдио

Сестра, постой, постой!
Сестра, прости меня!

## VII

И узник молодой
Удерживал ее за платье. Изабела
От гнева своего насилу охладела,
И брата бедного простила, и опять,
Лаская, начала страдальца утешать.

## Часть третия

### I

Монах стоял меж тем за дверью отпертою
И слышал разговор меж братом и сестрою.
Пора мне вам сказать, что старый сей монах
Не что иное был, как Дук переодетый.
Пока народ считал его в чужих краях
И сравнивал шутя с бродящею кометой,
Скрывался он в толпе, всё видел, наблюдал
И соглядатаем незримым посещал
Палаты, площади, монастыри, больницы,
Развратные дома, театры и темницы.
Воображение живое Дук имел;
Романы он любил и, может быть, хотел
Халифу подражать Гаруну Аль-Рашиду.
Младой отшельницы подслушав весь рассказ,
В растроганном уме решил он тот же час
Не только наказать жестокость и обиду,
Но сладить кое-что... Он тихо в дверь вошел,
Девицу отозвал и в уголок отвел.
„Я слышал всё, — сказал, — ты похвалы достойна,
Свой долг исполнила ты свято; но теперь
Предайся ж ты моим советам. Будь покойна,
Всё к лучшему придет; послушна будь и верь“.
Тут он ей объяснил свое предположенье
И дал прощальное свое благословенье.

### II

Друзья! поверите ль, чтоб мрачное чело,
Угрюмой, злой души печальное зерцало,
Желанья женские навеки привязало
И нежной красоте понравиться могло?
Не чудно ли? Но так. Сей Анджело надменный,
Сей злобный человек, сей грешник — был любим
Душою нежною, печальной и смиренной,
Душой отверженной мучителем своим.
Он был давно женат. Летунья легкокрила

Младой его жены молва не пощадила,
Без доказательства насмешливо коря;
И он ее прогнал, надменно говоря:
„Пускай себе молвы неправо обвиненье,
Нет нужды. Не должно коснуться подозренье
К супруге Кесаря“. С тех пор она жила
Одна в предместии, печально изнывая.
Об ней-то вспомнил Дук, и дева молодая
По наставлению монаха к ней пошла.

## III

Марьяна под окном за пряжею сидела
И тихо плакала. Как ангел, Изабела
Пред ней нечаянно явилась у дверей.
Отшельница была давно знакома с ней
И часто утешать несчастную ходила.
Монаха мысль она ей тотчас объяснила
Марьяна, только лишь настанет ночи мгла,
К палатам Анджело идти должна была,
В саду с ним встретиться под каменной оградой
И, наградив его условленной наградой,
Чуть внятным шопотом, прощаяся, шепнуть
Лишь только то: *теперь о брате не забудь.*
Марьяна бедная сквозь слезы улыбалась,
Готовилась дрожа — и дева с ней рассталась.

## IV

Всю ночь в темнице Дук последствий ожидал
И, сидя с Клавдио, страдальца утешал.
Пред светом снова к ним явилась Изабела.
Всё шло как надобно: сейчас у ней сидела
Марьяна бледная, с успехом возвратясь
И мужа обманув. Денница занялась —
Вдруг запечатанный приказ приносит вестник
Начальнику тюрьмы. Читают: что ж? Наместник
Немедля узника приказывал казнить
И голову его в палаты предъявить.

## V

Замыслив новую затею, Дук представил
Начальнику тюрьмы свой перстень и печать
И казнь остановил, а к Анджело отправил
Другую голову, велев обрить и снять
Ее с широких плеч разбойника морского,
Горячкой в ту же ночь умершего в тюрьме,
А сам отправился, дабы вельможу злого,
Столь гнусные дела творящего во тьме,
Пред светом обличить.

## VI

Едва молва невнятно
О казни Клавдио успела пробежать,
Пришла другая весть. Узнали, что обратно
Ко граду едет Дук. Народ его встречать
Толпами кинулся. И Анджело смущенный,
Грызомый совестью, предчувствием стесненный,
Туда же поспешил. Улыбкой добрый Дук
Приветствует народ, теснящийся вокруг,
И дружно к Анджело протягивает руку.
И вдруг раздался крик — и прямо в ноги Дуку
Девица падает. „Помилуй, государь!
Ты щит невинности, ты милости алтарь,
Помилуй!..“ — Анджело бледнеет и трепещет
И взоры дикие на Изабелу мещет...
Но победил себя. Оправиться успев,
„Она помешана, — сказал он, — видев брата
Приговоренного на смерть. Сия утрата
В ней разум потрясла...“
Но обнаружа гнев
И долго скрытое в душе негодованье,
„Всё знаю, — молвил Дук, — всё знаю! наконец
Злодейство на земле получит воздаянье.
Девица, Анджело! за мною, во дворец!“

## VII

У трона во дворце стояла Мариана
И бедный Клавдио. Злодей, увидя их,

Затрепетал, челом поникнул и утих;
Всё объяснилося, и правда из тумана
Возникла; Дук тогда: „Что, Анджело, скажи,
Чего достоин ты?“ Без слез и без боязни
С угрюмой твердостью тот отвечает: „Казни.
И об одном молю: скорее прикажи
Вести меня на смерть“.
„Иди, — сказал властитель, —
Да гибнет судия — торгаш и обольститель“ —
Но бедная жена, к ногам его упав,
„Помилуй, — молвила, — ты, мужа мне отдав,
Не отымай опять; не смейся надо мною“.
„Не я, но Анджело смеялся над тобою, —
Ей Дук ответствует, — но о твоей судьбе
Сам буду я пещись. Останутся тебе
Его сокровища, и будешь ты награда
Супругу лучшему“. — „Мне лучшего не надо.
Помилуй, государь! не будь неумолим,
Твоя рука меня соединила с ним!
Ужели для того так долго я вдовела?
Он человечеству свою принес лишь дань.
Сестра! спаси меня! друг милый, Изабела!
Проси ты за него, хоть на колени стань,
Хоть руки подыми ты молча“.
Изабела
Душой о грешнике, как ангел, пожалела
И, пред властителем колена преклоня,
„Помилуй, государь, — сказала, — за меня
Не осуждай его. Он (сколько мне известно,
И как я думаю) жил праведно и честно,
Покамест на меня очей не устремил.
Прости же ты его!“
И Дук его простил.

# Медный всадник

Петербургская повесть

## Предисловие

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным *В. Н. Берхом.*

## Вступление

На берегу пустынных волн
Стоял *Он*, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно;[1]
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;

Мосты повисли над водами;
Темнозелеными садами
Ее покрылись острова;
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,[2]
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,

И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.

Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет,
И, чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия.
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой

„Медный всадник". С рисунка пером *А. И. Кравченко*

Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора...
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

## Часть первая

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.[3]
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась как больной
В своей постеле беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало,
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне, где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине.

Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег.
Но долго он заснуть не мог
В волненьи разных размышлений.
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег; что ведь есть

Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Всё прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли,
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло,
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...
Сонны очи
Он наконец закрыл. И вот
Редеет мгла ненастной ночи,
И бледный день уж настает...
Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей не в мочь...
Поутру над ее брегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова.
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало. Всё вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг

Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь как Тритон,
По пояс в воду погружен...

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! всё гибнет: кров и пища!
Где будет взять?
В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон
Печален, смутен, вышел он
И молвил: „С божией стихией
Царям не совладеть". Он сел
И в думе, скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил — из конца в конец
По ближним улицам и дальным
В опасный путь, средь бурных вод
Его пустились генералы [4]
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ.

Тогда на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,

Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился бедный
Не за себя. Он не слыхал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки... Боже, боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашеный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

И он как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!
И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою,
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

## Часть вторая

Но вот, насытясь разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу на пути роняя.

Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгений мой
Спешит, душою замирая,
В надежде, страхе и тоске
К едва смирившейся реке.
Но торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит как на находку;
Он перевозчика зовет —
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.

И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться в глубь меж их рядами
Всечасно с дерзкими пловцами

Готов был челн — и наконец
Достиг он берега.
Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,
Узнать не может. Вид ужасный!
Всё перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики, другие
Совсем обрушились, иные
Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений
Стремглав, не помня ничего,
Изнемогая от мучений,
Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем
Как с запечатанным письмом.
И вот бежит уж он предместьем,
И вот залив, и близок дом...
Что ж это?..
Он остановился.
Пошел назад и воротился.
Глядит... идет... еще глядит.
Вот место, где их дом стоит;
Вот ива; были здесь вороты,
Снесло их, видно. Где же дом?
И полон сумрачной заботы,
Всё ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал.
Ночная мгла
На город трепетный сошла,
Но долго жители не спали
И меж собою толковали
О дне минувшем.
Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей

И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багряницей
Уже прикрыто было зло.
В порядок прежний всё вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дворов
Свозили лодки.
Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон.
Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил. Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему.

Вскипѣла кровь. онъ мраченъ сталъ
Предъ горделивымъ истуканомъ
И зубы стиснувъ, пальцы сжавъ
Какъ обуянный силой черной,
„Добро, строитель чудотворный!
Шепнулъ онъ злобно задрожавъ.
„Ужо тебѣ!...“ И вдругъ стремглавъ
Бѣжать пустился. Показалось
Ему что грознаго царя
Мгновенно гнѣвомъ возгоря
Лицо тихонько обращалось...
И онъ по площади пустой
Бѣжитъ и слышитъ за собой —
Какъ будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой,
И озаренъ луною блѣдной
Простерши руку въ вышинѣ
За нимъ несется Всадникъ Мѣдный

Страница рукописи „Медного всадника“ с пометками Николая I
(Всесоюзная публичная библиотека им. Ленина)

Нередко кучерские плети
Его стегали, потому
Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось — он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни се, ни житель света
Ни призрак мертвый...
Раз он спал
У невской пристани. Дни лета
Клонились к осени. Дышал
Ненастный ветер. Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бьясь об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.
Бедняк проснулся. Мрачно было
Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали во тьме ночной
Перекликался часовой...
Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить, и вдруг
Остановился, и вокруг
Тихонько стал водить очами
С боязнью дикой на лице:
Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С подъятой лапой как живые
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.
Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,

Бунтуя злобно вкруг него,
И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?[5]

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
„Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он злобно задрожав. —
Ужо тебе!..“ И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье

По потрясенной мостовой.
И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко скачущем коне;
И во всю ночь, безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

И с той поры, когда случалось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.
Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.

## Примечания

[1] Альгаротти где-то сказал: Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe.

[2] Смотри стихи кн. Вяземского графине З**.

[3] Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению.* Жаль только, что описание его неточно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта.

[4] Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф.

[5] Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана — как замечает сам Мицкевич.

* В одном из лучших своих стихотворений *Oleszkiewicz*.

# ПРОГРАММЫ И ПЛАНЫ

## Поэма о Мстиславе

1

Владимир разделив на уделы Россию, остается в Киеве; молодые богатыри со скуки разъезжаются; с ними Илья Муромец и Добрыня — печенеги нападают на Киев — Владимир посылает гонцов к сыновьям — дети его собираются — кроме *Мстислава,* Илья едет за ним, встречает своего сына — сражается с ним — Мстислав — при нем молодые богатыри — идут на *косогов.* Мстислав в горах [влюбляется в их] [царицу] [царевну] [(Амазонку — Армиду)] остальные богатыри разъезжаются — Илья едет далее [узнав о любви Мстислава], находит его и ведет к отцу — [Царица] Царевна за ними едет — она пристает к печенегам. — Сражения — des grands combats et des combats encor:*

а) на Киев нападают соединенные народы — b) [Духи] [Боги языческие], изгнанные крещением, их одушевляют, c) [Хозарской князь колдун[ [(меч Еруслана об двух ударах)] [Колдун убит] [Борисом] [Мстиславом.]

2

Илья хочет представить сына Владимиру — вместе едут —

---

[Царица] Царевна косогов влюбляется в [сына Ильи] Мстислава — [она] Ее мать волшебница: старается заманить Мстислава — Мстислав упорствует ее прелестям — она в сражении его увлекает — под видом косога, убившего его друга; [кидается в ладью, борются]; [теряет] прев-

---

* ⟨Большие сражения и снова сражения.⟩

ращается вновь — Мстислав на острове наслаждений — Гонец приезжает к его дружине, не застает его — Владимир в отчаянии —

Царевна жалуется своей матери, та обещает соединить ее с Мстиславом.

Илия в молодости [имел] обрюхатил царевну татарскую — она вышла замуж, объявила сыну, сын едет отыскивать отца.

3

Илия находит пустынника, который пророчествует ему участь России.

Мстислав увлечен [чародейкою] чародейством в горы Кавказские —

На Россию нападают с разных сторон все враги ее —

Мстислав по вечерам видит *ладию* и деву —

## Вадим

### А. План трагедии

1

Вадим влюблен; Рогнеда дочь Гостомысла, она невеста [Буривоя] Громвала — славянина Рюрика.

Вадим и его шайка таятся близ могилы Гостомысла.

Вадим был во дворце и в городе [свиданье] и назначил свиданье Рогнеде. [она]

— Ты знаешь Громвала, зарежь его —

Рогнеда, раскаянье ее, воспоминанья, является Вадим.

[Рогнеда и Громвал, Рюрик] Рогнеда, Рюрик и Громвал.

Рюрик и Громвал — презрение к народу самовластия — Громвал его защищает*

Вадим в Новгороде на вече. Вестник — толпа — Рюрик! — Рогнеда открывает заговор — бунт — бой —

Вадим перед Рюриком —

Вадим и Громвал — свиданье — друзья детства...

2

Вадим в мрачную ночь [сидит] сокрытый у могилы Гостомысла.

### Б. План поэмы

Вечер — русский берег — ладья — рыбак — Вадим не спит — он ⟨?⟩ утром засыпает — рыбак хочет его убить — Вадим видит во сне набеги,

* ⟨Первоначально эта сцена в плане предшествовала сцене раскаяния Рогнеды.⟩

Гостомысла, Рюрика и Рогнеду — вновь на ладье идет — к Новгороду — (Нева)

---

Могила Гостомысла — он находит там друга: I сцена трагедии — Заговорщики собираются — клянутся умереть за свободу Новгорода. Тризна, обряды. Вадим назначает свиданье Рогнеде.

---

Свадебный пир. Рюрик выдает свою дочь за Стимида, искусного полководца — гости садятся за столы, скатерти — невеста видит — Вадим в числе гостей; пьют здоровье Рюрика, братьев, жениха и невесты, варягов; — Вадим не пьет — почему? — пьет здоровье верных граждан и новгородцев...

---

## Бова

### 1

[Бова в конюшне] Зензевей осажден Маркобруном — Бова слышит и едет ночью, дерется с воинами — с Лукопером и возвращается; раненый приезжает — рассказывает свою историю: смерть Гвидона — темницу — [ца<ревну>] любовницу — побег, взятие его разбойниками, продан [Маркобруну] Зензевею.

На другую ночь она его сажает на коня — он [ее] [любовник] разбивает войско.*

Зензевей по наущению посылает его к Маркобруну — он обокраден волшебником — [освобождает Булата-молодца] приезжает к Маркобруну — Мельчигрия влюбляется в него, предлагает руку — Бова в темнице — находит меч — к нему посылают палача, он его убивает [посылают] и выходит вон; за ним погоня — он [с Булатом] с Полканом разбивает ее — [находит коня] — Булат сказывает ему сказки — Маркобрун в отсутствии осаждает город и берет в плен Дружневну.

Бова на море разбойничает — находит [волшебника] пилигрима, который отдает ему коня и [*зелие*] три *зелия*.

Приезжает в царство Зензевея, оно разорено — едет к себе, убивает...

### 2

Осада — ночь. На башне — бой; жених убит — невеста влюбляется; Бова проводит ночь у нее, открывает свою историю. Царь узнает и высылает вон Бову [на смерть осуждает] — Бова едет вон из государ-

---

* Первоначально в плане этот эпизод находился выше: перед словами „раненый приезжает“.

ства — освобождает разбойника — три службы — старец пилигрим обкрадывает его спящего — на границах б<ывшего>ж<енихова>ц<арства>, воины его находят, приводят царю — Бова в темнице, царевна его обольщает — он ее презирает — (она чародейка, старец дух, ею подосланный). Бова осужден на смерть — *1* служба. Он видит корабль и едет к себе — буря, корабль разрушен. *2* служба — приезжает убивает Дадона — едет к *невесте*, находит пилигрима, берет у него три зелия. По ск<азке>

3

Бова на престоле отца своего.

4

Бова спасен Чернавкою — (как в сказке).
Дадон, услыша о его славе, посылает убить его своих витязей.
Описание двора Дадона и его витязей.
Милитриса.
Бова со всеми ими сражается.

## Актеон

1

Морфей влюблен в Диану — Его двор — он усыпляет Ендимиона — Диана (пр.) назначает ему свидание и находит его спящим —

...Актеон это [видит] узнает от Феоны, наяды — не спит — наконец видит Диану — в источнике.

2

Актеон, un fat, aprés avoir séduit Théone, Naiade, lui demande l'histoire scandaleuse de Diane — Théone médit Morphée etc. Актеон voit Diane, en devient amoureux, la trouve au bain, meurt dans la grotte de Théone.*

## (Русская девушка и черкес)

Станица — Терек (?) — за водой — невеста — черкес на том берегу — она назначает ему свидание [он хочет увезти ее] — тревога — бабы [убивают молод] берут его в плен — отсылают в крепость — обмен — побег девушки с черкесом.

---

* <Актеон, фат, соблазнив наяду Феону, расспрашивает ее о любовных приключениях Дианы. Тиона наговаривает на Морфея и т. д. Актеон видит Диану, влюбляется в нее, застает ее во время купания, умирает в пещере Феоны.>

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

# I

## Записи сказок

### 1

Некоторый царь задумал жениться, но не нашел по своему нраву никого. Подслушал он однажды разговор трех сестер. Старшая хвалилась, что государство одним зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья, что с первого года родит 33 сына. Царь женился на меньшой, и с первой ночи она понесла. Царь уехал воевать. Мачиха его, завидуя своей невестке, решилась ее погубить. После 3 месяцев царица благополучно разрешилась 33 мальчиками, а 34-й уродился чудом — ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые, во лбу звезда, в заволоке месяц; послали известить о том царя. Мачиха задержала гонца по дороге, напоила его пьяным, подменила письмо, в коем написала, что царица разрешилась не мышью, не лягушкой, неведомой зверюшкой. Царь весьма опечалился, но с тем же гонцом повелел дождаться приезда его для разрешения. Мачиха опять подменила приказ и написала повеление, чтоб заготовить две бочки; одну для 33 царевичей, а другую для царицы с чудесным сыном — и бросить их в море. Так и сделано.

Долго плавали царица с царевичем в засмоленной бочке — наконец, море выкинуло их на землю. Сын заметил это. „Матушка ты моя, благослови меня на то, чтоб рассыпались обручи, и вышли бы мы на свет“. — Господь благослови тебя, дитятко. — Обручи лопнули, они вышли на остров. Сын избрал место и с благословения матери выстроил город и стал в оном жить да править. Едет мимо корабль. Царевич

остановил корабельщиков, осмотрел их пропуск и, узнав, что едут они к Султану Султановичу, турецкому государю, обратился в муху и полетел вслед за ними. Мачиха хочет его поймать, он никак не дается. Гости корабельщики рассказывают царю о новом государстве и о чудесном отроке — ноги серебро и проч. „Ах, — говорит царь, — поеду посмотреть это чудо“.— Что за чудо,—говорит мачиха, — вот что чудо: у моря лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет. — Царевич прилетел домой и с благословения матери перенес перед дворец чудный дуб.

Новый корабль. То же опять. Тот же разговор у Султана. Царь опять хочет ехать. „Что это за чудо, — говорит опять мачиха, — вот что чудо: за морем стоит гора, и на горе два борова, боровы грызутся, а меж ими сыплет золото да серебро“ и проч. 3-й корабль и проч. Также: „что за чудо, а вот чудо: из моря выходят 30 отроков точь в точь ровны и голосом и волосом и лицом и ростом, а выходят они из моря только на один час“.

Тужит царевна об остальных своих детях. Царевич с ее благословения берется их отыскать. „Нацеди ты, матушка, своего молока, ты замеси 30 лепешечек“. — Он идет к морю, море всколыхалося, и вышли 30 юношей и с ними старик. — И царевич спрятался и оставил одну лепешечку, один из них и съел ее. „Ах, братцы, — говорит он,— до сих пор не знали мы материнского молока, а теперь узнали“. — Старик погнал их в море, на другой день вышли они опять, и все съели по лепешке, и познали брата своего. На третий вышли без старика, царевич привел всех братьев своих к своей матери. 4-й корабль. То же самое. Мачихе уже более делать нечего. Царь Султан едет на остров, узнает свою жену и детей и возвращается с ними домой, а мачиха умирает.

## 2

Некоторый царь ехал на войну; он оставил жену свою беременну; едучи домой, дорогою захотелось ему пить — видит он пролубь, и в пролубе плавает золотой ковшик, — но только хочет он испить воды, кто-то его хвать за бороду и не выпускает. Царь взмолился — нет. „Подари мне, чего ты не знаешь“. Задумался бедный царь: „Как, чего я не знаю? Я всё знаю. Ну, так и быть, дарю“. Приезжает домой, к нему выносят молода Ивана царевича, без него родившегося. Царь догадался, что его-то он и подарил, и весьма опечалился. Иван царе-

вич вырос. Прогуливаясь однажды верхом, встретил он старичка, который стал ему пенять за то, что он еще не явился, и что срок де его прошел. Иван царевич требует и получает объяснение от отца своего. 3 раза является ему старик и научает его, куда идти. Иван царевич приходит к морю, где 30 уток полощутся, а одна поодаль. Он берет ее платья. Все одеваются, она остается одна. Царевич выходит — друг со другом обручаются. Она научает его, как умягчить гнев сердитого старика, отца ее. Сходят они в подземельное царство. Старик, сидя на крыльце, взбесился, завидя царевича. Сей по совету Марьи царевны становится на колени, шапку возносит на мече выше головы и таким образом приближается. Царь посылает его в особую комнату и повелевает ему готовиться отвечать на его загадки, т. е. повелевает ему построить церковь в одну ночь. Царевич думал, думал и наконец сказал: „Мать его так, повесить так повесить, голова моя недорога". Царевна, обратясь в муху, является к нему. „Не печалься, Иван царевич, скинь портки, повесь на шесток да спи, а завтра возьми молоточек, ходи около церкви, где лишнее, отрежь, где неровно, приколоти". Царевич был безунывная головушка, лег и заснул. По утру церковь готова. „Ну, — сказал царь после обедни, — я хитер, а ты хитрее меня. Отдам за тебя старшую дочь. — Но сперва узнай ее между 30 прочими". „Это немудрено", думал Иван царевич. — Нет, мудрено, — сказала царевна муха. Мы завтра будем все с одинаковым лицом, с одинаковым убором. — Задумался царевич. „Мать его так, весить, так весить". — Но царевна его надоумила. На утро приходит он к царю, видит всех царевен. Одной муха садится на щеку; она гонит ее платком. „Вот старшая". — Правда, Иван царевич, но все эти хитрости не твои, а посмотрим завтра 3-ю загадку. — „Ну, Иван царевич, тут уж тебе не помогу — дело в том, чтоб ты сшил сапоги, покамест у него в руках соломинка будет гореть. Убежим". Она плюнула 3 слюнки на окно Ивана царевича да три слюнки к себе. Сели верхом и ускакали. По утру послал царь к Ивану царевичу. „Что ты, Иван царевич, спишь ли ты? али думу думаешь?" — Думу думаю, — отвечают слюнки. Наконец, царь видит обман и посылает за ними в погоню. „Послушай-ка, Иван царевич, — сказала Марья царевна, — не гонятся ли за нами". Тот прилег к земле — нет. Марья царевна послушала — близко, и тотчас обратила Ивана царевича в рожь, а себя в пшеницу. Погоня наскакала. Не видя дороги и не видя ни одного измятого колоса, они воротились. Новая погоня. Марья царевна превращает Ивана царевича в церковь, а сама в священника; и церковь так ветха, что мхом обросла, и священник так стар, что еле дышит. —

Погоня возвращается. Царь едет сам. Но Марья царевна разливает между им и собою реку, и царь возвращается со стыдом.

Иван царевич и Марья царевна вступают во свое государство. „Забудешь ты меня, Иван царевич, не цалуй ребенка, когда приедешь к отцу к матери, а то забудешь меня". Иван царевич приезжает к отцу и к матери, в восторге цалует ребенка и забывает Марью царевну. Между тем предлагают ему невесту. Он с нею обручается. Марья царевна просится у старушки, с которой живет, идти посмотреть на царскую свадьбу. Приходит в царские кухни, с трудом выпрашивает у повара позволение испечи пирог. Пирог подают на царской стол, разрезывают, оттуда вылетают голубь с голубкою, и голубка ходит за голубем и говорит: „Голубок ты мой, не забудь ты меня, как забыл Иван царевич свою Марью царевну", и проч.

3

Поп поехал искать работника. Навстречу ему Балда. Соглашается Балда идти ему в работники, платы требует только 3 щелка в лоб попу. Поп радехонек, попадья говорит: „Каков будет щелк". Балда дюж и работящ, но срок уж близок, а поп начинает беспокоиться. Жена советует отослать Балду в лес к медведю, будто бы за коровой. Балда идет и приводит медведя в хлев. Поп посылает Балду с чертей оброк сбирать. Балда берет пеньку, смолу да дубину, садится у реки, ударил дубиною в воду, и в воде охнуло. „Кого я там зашиб? старого или малого?" И вылез старый. — „Что тебе надо?" — „Оброк собираю". — „А вот внука я к тебе пришлю с переговорами". Сидит Балда да веревки плетет да смотрит. Бесенок выскочил. „Что ты, Балда?" — „Да вот стану море морщить, да вас чертей корчить". — Бесенок перепугался. „Тот заплатит попу оброк, кто вот эту лошадь не обнесет три раза вокруг моря". Бесенок не мог. Балда сел верхом и объехал. „Ах, дедушка, он не только что в охапку, а то между ног обнес лошадь вокруг". — Новая выдумка: „Кто прежде обежит около моря?" — „Куда тебе со мной, бесенок? да мой меньшой брат обгонит тебя, не только что я". „А где твой меньшой брат?" — У Балды были в мешке два зайца. Он одного пустил, бесенок запыхавшись обежал, а Балда гладит уже другого, приговаривая: „Устал ты, бедненький братец, 3 раза обежал около моря". — Бесенок в отчаяньи. Третий способ — дед дает ему трость — „Кто выше бросит?" Балда ждет облака, чтоб зашвырнуть ее туда и проч. Принимает оброк в бездонную шапку.

Поп, видя Балду, бежит — и берет его в мешке, вместо сухарей — утопляет ночью попадью, вместо его — и проч.

Балда у царя. Дочь одержима бесом. Балда под страхом виселицы берется вылечить царевну. С нею ночует — берет с собою орехи железные и старые карты да молоток — знакомого бесенка заставляет грызть железные орехи, играет с ним в щелчки и бьет бесенка молотком. На другую ночь тоже. На третью делает куколку на пружинах, у которой рот открывается. „Что такое, Балда"?— Пить хочет — — — Бесенок пойман и высечен и проч.

4

Царь Кащей Бессмертный не хотел дочери своей выдать замуж покамест сам будет жив. Дочь приступает к нему: „Где де твоя смерть?" — „В баране, — отвечает Кащей, — в козле, в венике". — Дочь велит вызолотить рога барану и козлу, вызолачивает и веник — напрасно, Кащей жив. Наконец, он объявляет, что смерть его на море, на океане, на острове Буяне, а на острове дуб, а в дубе дупло, а в дупле сундук, а в сундуке заяц, а в зайце утка, а в утке яйцо. Иван царевич идет за смертью Кащея. Голод. Попадается ему собака, ястреб, волк, баран, рак. — Иван царевич говорит им каждому: „Я тебя съем",— но оставляет им жизнь. Вот приходит к морю, *волк* его перевозит, *баран* рогами сваливает дуб, *собака* ловит зайца, *ястреб* ловит утку, *рак* лапами выносит из моря яйцо. — Кащей тотчас занемог, дочь его получает яйцо, отец просит от нее месяца, недели, дня и проч.

5

Слепой царь не веровал своей жене, не пускал ее в сад. „Вели,— сказала она, — повесить кровать мою на яблоню, я влезу туда, ты покамест обхватишь яблоню — да держи". Царь согласился. Любовник был уже там. Царица к нему лезет, царь пока держит яблоню.

Глядя на сие, муж с женою (царь да царица) поссорились и побранились. Жена была беременна, она родила и велела убить сына и принести себе его сердце. Младенец уговорил повара принести, вместо своего, собачье сердце, а подменить кузнецкого сына. Молодой царевич собирает маленькую шайку, ребяты признают его царем, ибо по его велению береза преклонилась, а лягушки замолкли. — Царенок делает виселицу, вешает, кнутом сечет и в ссылку ссылает. Доходит

слух о том до царя, который задает ему разные задачи и изумляется раннему понятию сына кузнеца.

Едет царь мимо кузницы. „Бог помочь, кузнец". — „Спасибо, ваше величество". — „Сколько *иверений* с тех пор, как ты куешь?" — „А сколько шагов ступит твой конь?" — „Приезжай же ко мне завтра ни верхом, ни пешком, покажи мне своего друга и недруга, и да принеси мне дар, которого я не взял". Кузнец приезжает на козле, приносит ястреба под блюдом и приводит жену (своего врага) и собаку (своего друга) — жену бьет — она его бранит и убегает, собаку бьет, та визжит и к нему ласкается. Царь догадывается, что кузнец умен умом сыновним — призывает его и едет с ним и с своим мнимым сыном прогуливаться. Подъезжают к сосновой роще. „Что б из нее сделать, мой сын?" — спрашивает царь. — „Да наковальню", — отвечает царский сын. „А ты, кузнец?" — Терема царские. Видят еловую и березовую — тот же вопрос. Ответы в том же духе. — Царь привозит кузнецова сына домой. Мать его в него влюбляется. Новый Иосиф, он убегает и притворяется дурачком. Погонщики его настигают, он ---, ест и вшей бьет. — „Что ты делаешь?" — „Убавляю и прибавляю и недругов побеждаю". — Не узнав его, оставляют.

Мать его скоро предается другому любовнику. Царевич приходит к ней под видом нищего. Хищник ввергает его в темницу и осуждает на смерть. Три виселицы: золотая, серебряная, шелковая. Царь и царица едут смотреть казнь королевича. Он хохочет. „Чему?" — да тому, что передние колесы едут за лошадью, а задние-то за чем? (allusion à la reine qui suit le roi) *. Приезжают. Царевич просит позволение играть на рожке. Рать его вооружается, ступает на ступень, на другую, на третью и все играет в рожок, наконец, опять хохочет. — „Чему, дурак?" — Сам ты дурак; взгляни, как мои голуби твою пшеницу клюют — и проч.

На *шелковой* виселице вешает он сводника, купца *Шелковникова*, вот куда каламбуры зашли!

**6**

⟨1⟩ О святках молодые люди играют игрища, идут в пустую избу. Один из них говорит: „Чорт, жени меня". Чорт выходит из-за печки, соглашаются женить. Невеста — дочь, проклятая отцом и матерью.

---

* ⟨Намек на царицу, которая следует за царем.⟩

Молодые едут в чужой город, заживают домком. Раз видят двух нищих, старика со старухою, и несут они младенца, что ни пьет, ни ест уж 30 лет. Молодые зовут их, жена топором разрубает младенца и вываливается оттуда осиновый чурбан. Она открывает им, что она их дочь.

⟨2⟩ В том же роде. Жених пропадает 3 года; невеста его узнает, что должно в лесу в пустой хижине 3 ночи ночевать, дабы достать его. Находит хижинку, около нее ходит; слышит голос его, но не видит входа — видит: хор чертей, между ими и он на гудке играет. Хижинка открывается (стукот), она видит там кучу змей, бросается туда — то был хворост, и проч.

⟨3⟩ Мать, рассердясь на сына, ему: „Лукавый тебя побери". Мальчик исчезает. Также слышит его голос в бане, читая воскресную молитву („Да воскреснет бог!"), она туда, а плачут в риге, у пруда. „Господи,— говорит она, — прости мое согрешение!" — Мальчик тут. — „Я был там и там... и огни, и много их" и проч.

## 7

Царевна заблудилася в лесу. Находит дом пустой — убирает его. 12 братьев приезжают. „Ах, — говорят, — тут был кто-то — али мужчина, али женщина; коли мужчина, будь нам отец родной, али брат названный; коли женщина, будь нам мать, али сестра..." Сии братья враждуют с другими 12 богатырями. Уезжая, они оставляют сестре платок, сапог и шапку. „Если кровью нальются, то не жди нас". — Приезжая назад, спят они сном богатырским. Первый раз 12 дней, второй 24, третий 31. Противники приезжают и пируют. Она подносит им сонных капель... и проч.

Мачиха ее приходит в лес под видом нищенки — собаки ходят на цепях и не подпускают ее. Она дарит царевне рубашку, которую та, надев, умирает. Братья хоронят ее в гробнице, натянутой золотыми цепями к двум соснам. Царевич влюбляется в ее труп, и проч.

# II

## Записи народных песен

### *1. Записи песен, сохранившиеся в автографах Пушкина*

1

### Песня о сыне Сеньки Разина

В городе-то было во Астрахане,
Появился детина, незнамый человек.
Он щеголем по городу похаживает,
Черный бархатный кафтан на размашечку надет,
Черна шапка пуховая на его русых кудрях,
Свой персидский кушачек во правой руке несет.
Он штабным офицерам * не кланяется,
К губернатору ** под суд нейдет.
Как увидел молодца губернатор *** со крыльца,
Закричал он, губернатор, *** громким голосом своим:
„Ой, есть ли у меня слуги верны молодцы?
Вы сходите, приведите удалого молодца“.
Как поймали молодца во цареве-кабаке,
Приводили удалого к губернатору **** на двор;
Стал губернатор ***** его спрашивати:
„Ты скажи, скажи, детина, незнамой человек,
Чьего рода, чьего племени, чей отеческой сын?
Иль из нашего городу, из Астрахани?
Или со Дону казак иль казацкий сын?“
— Я не с вашего городу, не с Астрахани,
Я не с Дону казак, не казацкий сын.

---

* ⟨*Исправлено на:*⟩ боярам государевым. ⟨Эта и все следующие поправки сделаны единовременно, другими чернилами, чем основной текст.⟩

** Астр⟨аханскому⟩ воеводе

*** воевода

**** воеводе

***** А как стал воевода

Я со Камы со реки, Сеньки Разина сынок.
Взялся батюшка у вас завтра в гости побывать,
Ты умей его приняти, умей подчивати.
Рассердился губернатор * на удалого молодца,
Закричал тут губернатор * <громким голосом своим:>
„Что есть ли у меня <слуги верны молодцы?>
Вы возьмите, отведите удалого молодца.
Посадите удалого в белу-каменну тюрьму“.

**2**

Как на утренней заре, вдоль по Каме по реке,
Вдоль по Каме по реке легка лодочка идет,
Во лодочке гребцов ровно 200 молодцов.
Посреди лодки хозяин Сенька Разин Атаман.
Закричал тут хозяин громким голосом своим:
„А мы счерпнемте воды изо Камы со реки“.
Мы исчерпнули воды изо Камы со реки,
Припечалился хозяин Сенька Разин Атаман:
„Знать-то знать, что мой сыночек во неволюшке сидит,
Во неволюшке <сидит>
В белокаменной тюрьме“.
— Не печалься, наш хозяин, Сенька Разин Атаман:
Белокаменну тюрьму по кирпичу разберем,
Твоего милого сына из неволи уведем,
Астраханского губернатора * под суд возьмем.

**3**

Во славном городе во <Киеве>
У славного царя у Владимира,
Жила была молода вдова.
У вдовушки было 9 сынов —
10-ая дочь любезная:

* <*Осталось не исправленным на:*> воевода.

Поили, кормили, *пелегали — лелеяли.*
9 сынов под разбой пошли,
10-ую дочь замуж выдали,
По край моря, за Морьянина.
Они прижили малого детища.
Она год живет и другой живет,
На третий год стосковалася.
Стала она Морьянина в гости звать:
„Пойдем, Морьянин-свет,
Ты к теще, а я к матери,
Ты к шурьям, а я к милым братьям“.
Они день идут и другой идут,
На третий день становилися.
Нарубили * огонечек малёшенек,
Пустили дымочек тонешенек;
Напали воры, разбойники,
Они Морьянина зарезали,
Морьянинка в воду бросили,
Морьянинку в полон взяли.
Как все-то разбойнички стали пить и есть,
Один-то разбойничек ни пьет, ни ест,
Ни пьет, ни ест, богу молится.
Все разбойнички спать легли,
Один-то разбойничек ни спит, ни лежит,
Господу богу молится.
И стал он у Морьянинки расспрашивать:
„С какого ты села-города?
И которого отца-матери?“
Стала ему Морьянинка рассказывать:
„У слав<ного царя у Владимира
Жила была молода вдова;
У вдовушки было 9 сынов —
10-ая дочь любезная:
Поили, кормили, пелегали,
9 сынов под разбой пошли,
10-ую дочь замуж выдали,>
По край моря за Морьянина“.

* <*Сбоку вариант:*> развели.

— Вставайте, братцы родимые!
Не морьянина мы зарезали,
Не морьянинка в воду бросили,
Не морьянинку во полон взяли:
<Мы зарезали> зятя любезного,
<В воду бросили> племянника,
Родну сестру взяли во полон. —
Вставали братцы родимые,
Просили у сестры прощеньица:
„Отчего ты нам не сказалася,
Что ты нам родна сестра?“
Пошли ... к родной матушке,
Становились на коленки все
И просили у нее прощеньица:
„Прости нас, родная матушка,
Не знавши, зарезали зятя любезного,
В воду бросили племянника,
Род<ну сестру взяли во полон>.“

**4**

Как за церковью, за немецкою,
Добрый молодец богу молится:
Как не дай боже хорошу жену,
Хорошу жену — в честный пир зовут,
Меня молодца не *примолвили; пригласитъ*
Мою жену — в новы саночки,
Меня молодца — на запяточки.
Мою жену — на широкий двор,
Меня молодца — за вороточки.

**5**

Из Гурьева городка
Протекла кровью река.
Из крепости из Зерной
На подмогу Рассыпной
Выслан капитан Сурин

Со командою один.
Он нечайно в крепость въехал,
Начальников перевешал,
Атаманов до пяти,
Рядовых сот до 6.

**6**

Ур<альски> казаки
Были дураки,
Генерала убили
Госуд.

**7**

Друг мой милый, красно солнышко мое,
Сокол ясный, сизокрылый мой орел,
Уж неделю не видалась я с тобой,
Ровно 7 дней как спозналась с горем я.
Мне не взмилились подруженьки мои,
Игры, пляски, хороводы и мячи,
Не по нраву, не по мысли мне пришли.
Я скиталася по темным лесам,
В темном лесе канареички поют,
Мне девчонке грусть разлуку придают.
Ты не пой, канареичка, в саду,
Не давай тоски сердечку моему.

**8**

Во лесах во дремучиих
Тут брала девка ягоды,
Брамши-то она в лесу заблудилася,
Заблудимши она приаукнулась:
„Ты ау, ау, мой любезный друг,
Мой любезный друг, жизнь душа моя“.
— Уж я рад бы тебе откликнулся,
За мной ходят трое сторожей:

Первый сторож — родной батюшка,
Второй сторож — мила матушка,
А третий сторож — молода жена!

9

Не беленька березанька к земле клонится,
Не камыш трава во чистом поле расшаталася, —
Зашатался, загулялся добрый молодец,
В одной тоненькой кармазиновой черкешучке.
У черкешучки рукавчики назад закинуты,
Камчатные его полочки назад загнуты,
За плечьми несет ружьецо знать турецкое,
Во правой руке он присошечек карновенькой,
Он присошечком добрый молодец подпирается,
Горючьми слезми разудаленький заливается.
Вдруг несчастьице над молодцом случилось,
Поднималася с гор *погорушка* всё хурта *вьюга,*
Всё хурта подымалась с гор, погорушка полуденная.
Собивала-то она добра молодца со дороженьки,
Прибивала-то она молодца ко городу,
Ко тому же то ко городу ко незнамому.

10

Один-то был у отца у матери единый сын,
И того-то берут разудаленького в службу царскую,
По указу его берут, разудаленького, государеву.
Он со вечера стал разудаленький коня седлать.
Ко полуночи стал разудаленький со двора съезжать.
Отец-то и мать его, разудаленького, провожать пошли,
Провожали его, разудаленького, весь и род племя.
Позади-то его идет горюшенька молода жена;
Молоду жену, белую лебедушку, уговаривает:
„Воротись ты, жена, воротись, душа — лебедушка белая,
Впереди то у нас всё огни горят, огни неугасимые“.
— Разудаленький добрый молодец, меня не обманывай,
Горит у тебя у молодца ретиво сердце.

11

Как у нас было на улице,
У нас на широкой,

Красны девки разыгрались,
Молодушки расплясались.

Одна девка лучше всех,
На ней лента шире всех.

Девка парню говорила
И всю правду объявила.

Послушай-ка, мой милый,
Сердце-радость дорогой,

Мой батюшка не лихой,
Тебе будет не чужой.

*2. Записи песен, сохранившиеся в копиях в собрании песен П. В. Киреевского*

### А. Песни свадебные

**1**

Береза белая!
Береза кудрявая!
Куда ты клонишься?
Куда поклоняешься?
— Я туда клонюсь,
Туда поклоняюся,
Куда ветер повеет. —
Княгиня-душенька!
Куда ты ла̀дишься?
— Туда я лажуся,
Куда батюшко отдает
С родимой матушкой.

**2**

Между гор по каменью
Серебром ручей бежит.
По тому по ручейку
Ходила гуляла княгиня душа;
Искала княгиня душа
Самоцветна камушка;
Нашла, нашла камушек,
Нашла самоцветненький;
Разломила камушек
Его на̀ три граночки:
Первую граночку
Ее родну батюшке,
Вторую граночку
Родной ее матушке,
А третью граночку
Ладу милому. —

3

Как в долу-то березынька белехонька стоит,
А наша невеста белее ее,
Белее ее снегу белого лицо.
Шла наша невеста с высокого терема,
Несла она золоту чару вина;
Она чару расшибла, вино всё пролила,
Всё глядючи на Ивана своего,
На Ивана своего, на кудѐрушки его:
„Видать ли мне, кудѐрушки, вас у себя?
На правой на ручушке на золотом перстеньке?"

4

Девушки поют, когда молодая возвратится из церкви.

Ягода с ягодой сокатилася!
Ягода ягоде поклонилася!
Ягода с ягодой слово молвила!
Ягода от ягоды не вдали росла!

5

Дня за два перед девичником кладут на блюдо ленты из косы невестиной. Брат ее или ближний родственник носит его по улице. Это называют: *красу носить*. Между тем поют:

Трубчистая коса
Вдоль по улице шла,
Жемчужная пчелочка
За нею гонялася,
За нею гонялася,
За косу хваталася:
„Коса ты, косынька!
Ужели ты моя?"
— Я тогда буду твоя,
Как в божью церковь вступлю,
Золотой венец приму! —

6

В бане девушки, моя невесту, поют и пляшут, пьют и пивом поддают. Невеста между тем плачет голосом, приговаривая:

Как-то мне будет в чужие люди идти?
Что как будет назвать свекра батюшкой?
А как будет назвать свекровь матушкой? (т. е. стыдно)
Бог тебе судья, свет мой, родимый батюшко!
Али я тебе, молодешенька, принаскучила? и пр.

Из бани пришед, девушки чешут ей голову, оденут, посадят за стол. — Жених приезжает со своими холостыми товарищами. Они друг друга дарят. В день свадьбы девушки с пеньем одевают ее; потом сажают одну за стол перед блюдом, куда все кладут деньги, за что она молча кланяется. Потом отец ее и мать выводят ее посередь комнаты и начинают благословлять, после чего идет невеста, крестясь, садится, чтобы ехать к венцу. Все девушки за нею; также крестятся.

7

Мимо дворика батюшкина,
Мимо терема матушкина,
Пролегала тут дороженька;
Пробегал тут добрый конь;
За конем бежит добрый молодец;
У ворот стоит красна девица.
Как возговорит добрый молодец:
„Перейми коня, красна девица!“
— Мне нельзя перенять коня:
У меня травой ноги спутаны,
Росой глаза замочены. —
Возговорит добрый молодец:
„Не приманывай, красна девица —
Не травой ноги спутаны,
Не росой глаза замочены:
Ноги спутаны кручинушкой,
Глаза замочены горючьми слезми!“

8

Собрала невеста подружек,
Посадила подружек высоко;
А сама села выше всех,
Наклонила головушку ниже всех,
Думает думушку крепче всех:
„Что долго нет Ивана?
Мне посла послать — некого,
Мне самой идтить — некогда.
Я хотя пойду — не дойду;
Я хотя дойду — не найду;
Я хотя найду его, —
Позвать к себе не смею".

9

В сыром бору на клену
Висит колыбель на шелку;
В колыбели лежит Иванушко,
Перед ним стоят бояры:
„Вскачните колыбель высоко!
Столь высоко, выше клену стоячего,
Ниже облака ходячего,
Чтобы видно было тестев двор,
Чтобы видно было тещин терем!"
В терему гуляет княгиня,
По имени зовут ее Катерина;
Каленые орешки считает,
Шитою ширинкою махает:
Ты сюды, сюды, Иван, князь!
Как здесь твое суженое,
Здесь твое ряженое:
Здесь твоя княгиня,
По имени Катерина.

10

Поется на девичнике жениху.

Висит колыбель на шелку,
В колыбельке лежит князь молодой:

Вскачните колыбель высоко,
Вы столь высоко — выше клену,
Чтоб был виден тестев двор,
Тестев двор, тещин терем.
В этом терему ходит гуляет,
Ходит гуляет княгиня душа,
Шелковым платком помахивает:
„Ты сюда, сюда, молодой князь!
Здесь твоя суженая, твоя ряженая!“

**11**

Поется, когда едут за невестой к венцу.

Как у нащего князя
Невеселые кони стоят;
Они чуют путь-дороженьку
По невесту ехати:
„Ах вы девушки, подруженьки!
Уливайте * гору крутую,
Чтобы моему разлучнику
Ни взойтить бы, ни взъехати!“
— Не грози, княгиня душа! **
На крутую гору пеш взойду,
Добра коня в поводу сведу. —
„Ах вы, девушки, подруженьки!
Запирайте вы воротечки,
Что тремя замками немецкими!“
— Не печалься, княгиня душа!
Приведу я с собой слесаря:
Отопрет замки немецкие. —

* Или: „укатайте“ — смотря по времени года.
** Поется также:
Не печалься, княгиня душа!
Поведем мы коней в кузницу,
Подкуем коней подковами,
Подковами-то булатными.

„Ах вы, девушки, подруженьки!
Заплетайте косу русую!
Чтобы моему разлучнику
Не расплесть, не расчесать ее!“
— Не печалься, княгиня душа!
Привезу с собою свахоньку:
Расплетет она косу русую,
Увезем тебя с собой, душеньку! —

**12**

Невесту везут в баню, в девичник, накануне свадьбы:

Затопися, баненька,
Раскалися, каменка!
Расплачься, княгиня душа,
По своей сторонушке,
По родимой матушке,
По родимому батюшке, и проч.

**13**

О горе, горе!
То невестино!
О горе, горе!
Ты невестушка,
О горе, горе!
Ты ластушка!
О горе, горе!
Оглянись-ко ты назад,
О горе, горе!
Что подружек-то стоят!
О горе, горе!
Что подружки говорят,
О горе, горе!
Что наказывают,
О горе, горе!
Что приказывают:
О горе, горе!
„Ты спихни-ко худяка,
О горе, горе!

Ты с кроватушки долой!“
О горе, горе!
— Вы, лебедушки,
О горе, горе!
Вы подруженьки!
О горе, горе!
Мне нельзя спихнуть!
О горе, горе!
В головах-то у него
О горе, горе!
Плетка шелковая;
О горе, горе!
Она об осьми хвостов,
О горе, горе!
Она больно бьет,
О горе, горе!
Приговаривает:
О горе, горе!
„Не зови-ко худяком,
О горе, горе!
Зови добрым молодцом!“

**14**

Поется, если жених приехал издалеча.

Как при вечере, вечере,
При последнем часу времечке,
При княгинином девичнике
Вылетал же млад ясен сокол;
Он садился на окошечко,
На серебряну решеточку,
На шелкову занавесочку.
Как увидела да узрела
Свет княгинина матушка:
„Ты дитя мое, дитятко,
Ты дитя, чадо милое!
Приголубь ты ясного сокола,
Ясного сокола залетного,
Доброго молодца заезжего!

Свет Ивана Александровича!“
— Государь родной батюшка,
Государыня матушка!
Я бы рада приголубить его:
Скоры ножки подломилися,
Белы руки опустилися,
Красота с лица сменилася. —

15

Когда молодые сидят за столом, приехав от венца, то девушки поют всем гостям; первого начинают величать попа.

У попа у батюшки
Золота скуфеюшка;
Низала скуфеюшку
Его молода жена,
(Такая-то)
Слышишь ли, батюшка?
Тебе песню поем,
Тебе честь воздаем:
Мы хотим с тебя даров,
Даров великиих —
Две гривны золотом.

А поп отвечает: „Нате, суки, возьмите в руки, не корите попа“.

16

Не стыдно ли вам, бояры,
Перед нами, девками, стояти,
В руках шапочки держати!

17

Поется вдове.

Княгиня душенька,
Скажи, пожалуй, нам
Про свою гостейку!

„У меня свет гостейка
Молодая вдовушка,
Вдова молодая,
Вдова богомольная:
Всем святым святителям
Богомолилася
О своих о детушках“.
Слышишь ли, вдовушка?
Тебе песню поем,
Тебе честь воздаем,
Мы хотим с тебя даров,
Даров великиих, —
Две гривны золотом.

**18**

Величают холостого.

Князек молоденький,
Лебедёк наш беленький, *
Скажи, пожалуй, нам
Про свого гостя нам!
„У меня свет гость дорогой,
(Такой-то)
Во любви он позваный,
Во чести посоженый,
За дубовыим столом,
За браной скатертью,
Не женатый Иванушка,
Холостой Михайлович,
Холостой, завистливый,
Его глаз урочливый.
Выйди, холостенький,
Выдь к нам за за̀весу!**
Выбери, холостенький,
Кто тебе покажется!“

* Девушки обращаются к молодому.
** Девушки сидят за занавесом, продернутым через всю избу.

Слышишь ли, гость дорогой?
Мы тебе песню поем,
Тебе честь воздаем.
Мы хотим с тебя даров,
Даров великиих, —
Две гривны золотом.

Им подают деньги в стакане пива, приговаривая:

19

Вот вам, красные девушки!
Малое примите,
На большом не судите.
Денежки принимайте.
Пол поровняйте (т. е. попляшите).

20

Величают гостью, как девушку, так и замужнюю.

Княгиня душенька! *
Скажи, пожалуй, нам
Про свою гостейку!
„У меня свет гостейка
(Такая-то)
Во любви позвана,
Во чести посожена,
Хорошо снаряжена:
Сережки-яхонты,
Лицо разгорелося,
Монисты золоты
Шею огрузили!“
Слышишь ли, гостейка,
Тебе песню поем,

* Девушки обращаются к молодой.

Тебе честь воздаем,
Мы хотим с тебя даров,
Даров великиих, —
Две гривны золотом.

21

А у свата сводника
Лихорадка с бо̀лестью,
Она с черной нѐмочью,
На печи под шубою,
На дворе нагишкою!
По морозу босиком,
Покрове нагишём!
Ему чирий в го̀лову,
А другой в бо̀роду,
Третий в ручушку,
Четвертый в ноженьку!
У сватушки кудри
На четыре грани,
Его черти драли,
Шуты полыска̀ли,
По кучам таскали,
Братом называли:
Ты сватушко, братец!
Дари, дари девок,
Дари, дари красных!
Станешь дарити —
Не станут корити.

22

Сват, сват молодой!
Не бывать тебе у нас,
Не едать киселя!
Не бежать тебе луго̀м,
Не — — тебе гужем!

23

Бестолковый сватушко!
По невесту ехали,
В огород заехали,
Пива бочку прòлили,
Всю капусту пòлили.
Верее молилися:
„Верея вереюшка!
Укажи дорòженьку
По невесту ехати!“
Сватушко, догадайся!
За мошёночку принимайся!
В мошне денежки щевелятся,
Они к девушкам норовятся,
А копейка ребром становится,
Она к девущкам норовится!

24

На девичнике свата корят.

Все песни перепели,
Гòрлущки пересохли!
А свàтушко рыжий
По берегу рыщет,
Хочет удавиться,
Хочет утопиться,
От красных девок,
От белых лебёдок.
Дари, дари девок!
Дари лебёдок!
Не станешь дарити —
Мы пуще корити!
Сватушко, догадайся!
За мошёночку принимайся!
В мошне денежка шевелится,
Красным девушкам норовится.

25

Поется на девичнике.

Сватушка гость, богатый, тороватый;
Он с гривны на гривну ступает,
Он рублем вороты запирает,
Он полтиной вороты отпирает.
Сватушко, догадайся!
За мошёночку принимайся!
В мошне денежка шевелится,
Красным девушкам норовится.

26

Про жениха, как взойдет к невесте.

Как сказали-то, Иванушко хорош да хорош!
Чорт у него, не хорошество!
Сам шестȍм,
Голова пестȍм,
Уши ножницами,
Руки грȁбельками,
Ноги вилочками,
Глаза дырочками.
Соловьи̏ны-то глаза
По верхȁм глядят;
По верхȁм глядят,
Они каши хотят.
Вчера каша сваренȁ,
Вчера съȅдена была.
Шея-то синя,
Будто в пȅтле была!
Нос-от синь,—
Это свахин сын!

27

Ты, невеста, перед кем стоишь?
Перед кем стоишь, на кого глядишь?

Он тебе чуж чуженек,
У него поросячий душок!
Он с курами клевал,
С поросятами едал!

**28**

Мы все песенки перепели,
У нас горлушки пересохли!
Мы князьева пива не пивали,
У княгини дары увидали.
У княгини дары миткалѝны,
А князево пиво облива,
На собаку льешь, облезет.

**29**

Эту песню поют девушки, гуляя по улице, водя под руки покровенную невесту.

Уже вечер на дворе вечереется,
Уж красное солнышко зà лес котится,
Что частые-то звездочки высыпаются,
У меня ли молодёшеньки некрасованой
С моими лàстушки, сестрицы, милыми подружки.
Я пойду ли спрошусь у родимой матушки:
Ты, сударыня, родимая матушка!
Не гулять у тебя прошуся, не красоватися,
Я развеить свою кручинушку великую.
Я пойду ль, молодёшенька, во чистò поле,
Я ударюсь, молодёшенька, о сыру землю;
А мы вскрикнемте, сестрицы, громким голосом:
Ты раздайся ли, мать сырà земля!
Ах, ты встань, ты встань, родной батюшко! *

* Если невеста не сирота, то, разумеется, выпускаются стихи, обращенные к покойному отцу, или заменяются другими, импровизированными.

Ты приди ко мне, горюше молодёшеньке,
На мою ли на смиренную на беседушку!
Снарядить-то меня горюшу есть кому,
А благословить-то меня некому.
Мы взойдем-ка ли, сестрицы, в новые сени,
Мы воскрикнемте, сестрицы, громким голосом:
Не шатитесь, не ломитесь, сени новые!
Неужели ж я молодёшенька тяжелёшенька?
С моим ластушкам, сестрицам, милым подружкам?
Тяжела моя вѐликая кручинушка.
Государыня, родимая матушка!
Отвори-тка свой высо̀к терём!
Не зноби меня горюшу молодёшеньку!
Я и так молодёшенька назяблася.
Я сяду молодёшенька под окошечком.
Не летит ли мой кормилец батюшко?
Мы пойдемте-тка, сестрицы, вдоль по улице,
Вы кладите-тка следочки частёхонько,
Уливайте следочки горючьмѝ слезмѝ.
Опослѐ пойдет родимая матушка.
„Не княгиня тут гуляла, не боярыня,
Тут ходила, тут гуляла чадо милое!"

**30**

Много, много у сыра̀ дуба̀
Много ветвей и по̀ветвей,
Только нету у сыра̀ дуба̀
Золотыя вершиночки:
Много, много у княгини души,
Много роду, много племени,
Только нету у княгини души
Нету ее родной матушки:
Благословить есть кому,
Снарядить некому.*

* Благословляет обыкновенно отец, снаряжает мать.

**31**

Поется сироте.

Ты река ли моя реченька,
Ты река ли моя быстрая!
Течешь, речка, не колыхнешься,
На крутой берег не взо̀льешься,
Желтым песком не возмутишься!
Отчего же мне возмутитися?
Ни дождя нету, ни вихорю.
Ах ты, умная девица
(Такая-то)
Что сидишь ты, не улы̀бнешься?
Говоришь речи, не усмѐхнешься?
„Что чему же мне смеятися?
На что глядя, радоватися?
Полон двор у нас подвод стоит,
Полна горница гостей сидит.
Уж как все гости собралися,
Одного-то гостя нет как нет;
Уж как нет гостя милого,
Моего батюшки родимого: *
Снарядить-то меня есть кому,
Бла̀гословить-то меня нѐкому,
Что снарядит меня родная мать,
Бла̀гословит меня чужой отец.

**32**

По̀ меду, меду по па̀точному
Плавала чарочка серебряная,
Кто эту чарочку пѐреням?
Пѐреням, пѐреням князь государь,

* Если ж молодая круглая сирота, то поется:

Уж как нет гостей милыих:
Моего батюшки родимого,
Моей матушки родимой.

Подносил, подносил госпоже княжне.
„Выкушай, выкушай, душа госпожа!
Я тебе, княгиня, про свой сон расскажу:
Будто у нас середь широ̀ка дво̀ра
Будто у нас расстилалась трава,
По травке гуляет па̀вынька,
Па̀вынька, па̀вынька, княгиня душа“.

## Б. Песни необрядовые

1

Авдотья вдовина
По бережку ходила,
Правой рукой махала.
— А цвет моя сторона, сторона,
Никольская слобода,
На ней тебе не бывать, не живать,
Пивца, винца не пивать,
Калачиков не едать! —
Злодей Ванька вор, победна голова,
Кличет Дуньку из ворот в огород.
Сорвет Дуньке лопушок
Под самый корешок;
Сошьет Дуньке сарафан
Китаичный голубой:
Снурочек-ат — повиличная трава,
А ниточки — ковылок, ковылок.
А пуговки — репеёк, репеёк.
Где ни взялся таракан,
Проел Дуньке сарафан,
Над самою над дырой.
А, дядюшка Митрофан,
Зашей Дуньке сарафан
Китаичный голубой!

2

Калина, малина!
На задніем порядке,

Под горою три солдатки:
Одна Настька, друга Машка,
Как третия Наташка.
Повадилась Наташка
Во царев кабак ходить,
Зеленòе вино пить,
Целовальника любить.
— Целовальник молодой,
Проводи меня домой
По улице мостовой,
По дорожке столбовой,
До кроватки тесовòй,
До перинки пуховòй! —
На перине дѐвица
Лежит она, нежится,
Лицо разгорелося.
Чего захотелося?
„Не надо мне, матушка,
Ни меду, ни сахару,
Ни сладкиих яблочков,
Ни медовых пряничков,
Приведи-ка, матушка,
Татарина с скрыпкою,
Мордвинà с волынкою
Холостòва с дудками!“
На Болдинском на плоту
Мыла девица фату,
Она мыла, полоскала,
Фату в воду опускала,
Милый фаточку ловил,
Кафтан с шубою сронил;
Она губушки надула,
Пошла к старосте на думу
И к бурмистру на рассуду:
Как что староста-то скажет
И бурмистр-от что прикажет?
— Ты поставься-ка в попы! —
Как и что это за попок,
В сарафане без порток?!

### 3

Я вечер, вечер добрый молодец
    Вечер загулялся,
Я со любушкой, со своей сударушкой
    Долго застоялся,
Я тайного ласкова словечка
    От ней дожидался.
Ничего-то моя сударушка
    Она мне не сказала,
Только сказала моя сударушка
    Грубое словечко:
„Ты отстань, отстань, добрый молодец,
    Отстань по охоте;
Не отстанешь ты по охотушке —
    Отстань по неволе“.
Тосковал-то я добрый молодец
    Ровно три годочка,
Что никто, никто по добром молодце
    Никто не потужит:
Что ни батюшка, ни матушка,
    Ни жена молодая,
Что потужит ли, погорюет ли
    Красная девица,
Что названая моя прежняя,
    Милая сестрица!

### 4

Уродился я несчастлив, бесталанлив:
Приневолили меня, малёшенька, женили;
Молода была жена, я глупенек,
Стал я молодцем, жена стала старенька.
Полюбилась мне молодка молодая,
Иссушила мое сердце ретивое.
Как вечёр меня молодка огорчила,
Мне несносную насмешку насмеяла:
— Отступися, — мне сказала, — отвяжися,
У тебя своя жена — с ней и целуйся! —
Во бору ли, во сыром ли стук, треск:

Бурлачки сосну подрубливают,
Подрубливают, поваливают,
Из сыра бора по лугу волокут,
По крутому бережку покатывают,
Середь лодочки устанавливают,
Тонкий парус навешивают,
Уплывают вниз по Волге по реке.
Вы постойте, добры молодцы, погодите,
Вы с собой меня возьмите, посадите,
Разлучите с опостылой со женою!

5

Ах ты, молодость, моя молодость,
Не видал я тебя, когда ты прошла,
Когда ты прошла, когда миновалася!
Живучи с женой не с корыстною
Не продать мне жену, не променять ее
Что ни братцу, ни товарищу.
Я пойду ли сам крутым бережком,
Я найму ль себе новых плотничков,
Новых плотничков, корабельщиков.
Я сострою нов тесов корабль
О двенадцати тонких парусах,
Тонких, белых, полотняных.
Я спущу ли корабль на сине море
Посажу ли жену, свою барыню,
Отпущу ли жену в свою сторону;
А я сам пойду на круту гору,
Посмотрю ли я на сине море —
А уж корабль бежит, как сокол летит,
А жена-то сидит, точно барыня.
Уж я вскрикну ли громким голосом:
„Воротись жена, моя барыня,
А мы будем жить лучше прежнего,
А я буду любить лучше старого!“
— Не обманывай ты, распостылый муж.
Что не греть солнцу зимой против летнего,
Не светить месяцу летом против зимнего,
Не любить тебе меня пуще прежнего!

6

Уж как нонешние люди
Они молоды, лукавы,
С измалёнька вороваты;
Не видавши — много видят,
Не слыхавши — много слышат.
Как сказали про девицу
Напрасную небылицу:
Будто я красна девица
Во всю темну ночь не спала,
В зеленом саду гуляла,
Сладко вишенье щипала;
Показалось девке мало —
Виноградом забавляла,
На белое блюдо клала,
В итальянский плат вязала,
За вороты выходила,
Извозчика нанимала,
Извозчика молодого,
Неженатого, холостого:
„Вези меня поскорее,
Чтобы люди не видали,
Соседушки не слыхали, *
Мому батюшке не сказали, **
Мой батюшка очень грозен, —
Посадил меня в темницу,
Ни дверей нет, ни окошек,
Одна труба, да малая.
Ах ты, батюшка родимый!
Проруби ты мне окошко

* Поется также: не спознали.
** В некоторых песенниках:

Отцу, матери не сказали.
Мой батюшка очень грозен,
Грозней того моя матушка:
Не велит мне на улицу ходить,
С холостыми речи говорить.

Очевидно, из другой песни.

На правую на сторонку,
Куда милый гулять ходит,
Добра коня поить водит“.

7

Долина-долинушка,
Раздолье широкое!
На той на долинушке
Ничто не родилося:
Ни грибки, ни ягодки,
Ни черна смородина,
Только уродилася
Рощица зеленая.
Из-за той ли рощицы
Заря занималася,
Заря занималася,
Солнце выкаталося.
Греет, греет солнушко
Зимой не по-летнему:
Любит, любит миленький,
Любит, не попрежнему.
Любил, всё обманывал,
Другу подговаривал:
„Поди, поди, девица,
За меня замуж,
За меня, за мо̀лодца,
За парня холо̀стова“,
Нейду, нейду девица,
Нейду, не подумаю.
Кого же мне, девице,
Полюбить будет?
Полюбить холостова, —
Холост скоро женится,
По̀любить женатого, —
Жена-то рассердится.
Полюблю я, девушка,
Солдата гвардейского:
Солдат в поход пойдет,
Девицу с собой возьмет.

8

На зоре-то было, на зорюшке,
На зоре-то было вечернией:
Высоко звезда восходила —
Выше лесу, выше темнова,
Выше садику зеленова.
Как во городе во Ала̀тыре
Случилося несчастьице,
Как несчастьице немалое.
Жена мужа потеряла,
Вострым ножичком зарезала;
Вынимала сердце с печенью.
На ноже сердце встрепехнулось, —
Она шельма рассмехнулась,
Рассмехнувшись, она ужаснулась,
Взяла его за черны кудри,
Ударила об сыру землю,
Во холодный ледник спрятала,
Дубово̀й доской она закрыла,
Золотым перстнём запечатала;
Сама пошла в нову горницу,
Закричала громким голосом:
„Ты талан ли мой, талан лихой,
Или участь моя горькая!
На роду ль мне так написано?“
Прилетели к ней два сокола,
Два Ивана, два Иваныча:
— Ты сноха наша, невестушка,
Где наш братец Иванушка? —
„Ваш братец-охотничек,
Уехал в лес за охотою, —
За куницами, за лисицами“.
— Не обманывай нас, невестушка!
Вон шелко̀в кушак на стене висит,
Перчаточки с шапочкой на по̀лочке лежат.

9

Вдоль по улице по Шведской
В слободе было Немецкой,

Генерал-от немец ходит,
За собою девку водит.
Водил девку, водил немку,
Молодую иноземку.
Девка немцу говорила:
„Говори, радость, со мною,
Мы одни теперь с тобою,
Еще третий — высок терем.
Как поедешь, мой любезный,
Во царскую службу,
Заезжай, моя надёжа,
В калинову рощу;
Ты сорви, мой друг, покушай
Горьку ягоду калину:
Какова горька калина —
Таково житье за старцем“. *

**10**

Не летай, мой соловей,
Поздно вечером один!
Парень девушку любил,
Колечушком подарил:
Колечушко, сердечушко —
Твой золотный перстенек.
Далеко милой живет
Во матушке во Москве,
Во Покровской улице.
Как пошли наши ребята
В большу улицу гулять,
Красных девок забавлять;
Ах, все девки хороши,
Разлапушки пригожи!

* Иногда прибавляется:

Каково житье за ровнем?
Какова сладка малина,
Таково житье за ровнем.

Одна девка лучше всех:
В косе лента шире всех,
А другая голубая —
Идет славушка худая,
А третия со кистьми, —
Бежит Дуня со вестьми.
Как взял Дуню задор:
Подняла в губы подол,
Мимо окон, мимо стекол,
Мимо каменных палат
К целовальнику в кабак:
„Целовальник молодой,
Отпирай новый кабак,
Пущай малыих ребят!“

**11**

Беседа моя, беседушка, беседа смирна!
Во той во беседушке девицы сидят,
Девицы сидят, речи говорят:*
„Лучина, лучинушка берёзовая!
Что же ты, лучинушка, не ясно горишь,
Не ясно горишь, не вспыхиваешь?
Али ты, лучинушка, в печи не была?“ **
— Я была в печи вчерашней ночи,
Лихая свекровушка воду пролила,
Воду пролила, меня залила. —
Сестрицы, голубушки, ложитеся спать:
Ложитеся спать, вам некого ждать!
А мне красной девице всю ночку не спать —
Кровать убирать, мила дружка ждать;
Убравши кроватушку, сама лягу спать.
Первый сон уснула — без миленького;
Второй сон уснула — без сердечного;
Третий сон уснула — зоря белый день.

---

* Первых трех стихов обыкновенно не поют.

** Прибавляется также: В печи не была, не высушена.

Из-под белый зорюшки мой милый идет,
Собольею шубочкой пошумливает,
Пуховою шляпочкой помахивает,
Сафьянны сапожки поскрыпывают: *
„Что ж ты, добрый молодец, давно не пришел?"
— Душа красна девица, позамешкался.
С угрюмой женой побранка была,
Журила, бранила тебя и меня.
Тебя, мою душеньку, курвой назвала̀;
А я ее бил, бил, чуть живу пустил. —
„Не бей, не бей, молодец, угрюмой жены:
С угрюмой женою тебе век вековать,
Со мной, красной девицей, — ночку ночевать".

12

Девушка крапивушку жала,
Красная немножко нажала;
Кажется, ни с кем не стояла.
Только я с милым говорила.
„Ах ты, мой сердечный, милый друг!
Я слышала несчастье про тебя.
Идешь в поход. Возьми меня с собой,
Назови меня родной сестрой

* В новейших песенниках:

Натуральной тросточкой постукивает.

И песня кончается этим стихом. Остальные же внесены в другую песню.

Сказали про молодца, будто без вести пропал,
Сказали — удаленький в синем море утонул;
А нонече молодец по улице прошел.
Любимую песенку шибко-громко просвистал.
Насвисточку свищет, голос в терем подает:
Услышала б девица удалого молодца,
Горела б у девицы воску ярого свеча,
Ждала б красна девица удалого молодца.
„А что ж, добрый молодец, давно не пришел?"
— Душа красна девица... и проч.

Или душенькой молодой женой".
— Нельзя, нельзя мне взять тебя с собой,
Что все в полку полковнички знают,
Что нет у меня родной сестры,
Ни душеньки молодой жены.
Что есть у меня одна матушка,
И та живет в деревне в печали.*

**13**

Плясовая

Как нònече куры
Поют петухами,
Ах, люшеньки, ай люли! и т. д.
Как нонешни жены
Владеют мужьями.
Я возьму мужа за ручку,
Брошу на постелю.
Лежи, муже, тута,
Поколь схожу кнута,**
Поколь схожу кнута,
Железного прута.

**14**

Теща про зятюшку сдòбничала,
Сдòбничала да пирожничала,
Испекла пирог в двенадсять рублёв.
Сòлоду, муки на четыре рубли,
Ягодов, изюму нà восемь рублей.
Теща по горенке похаживала,
Косо на зятюшку поглядывала:
„Как тябя, зятюшку, не рòзорвало?
Как тебя, зятюшку, не пèрервало?"

* Поется также: Да и та старенька.
** Т. е. схожу *взять* кнута.

**15**

Бежит речушка слезовая,
На ней струюшка кровавая,
По бережку растет част осинничек,
Во том осинничке куст рябинушки;
Она аленькими цветочками она расцветала,
На цвету сидит кукушечка,
Горемычная куковала,
Жалобнёхонько, горемычная, причитала,
Всем солдатушкам назолушку давала.
Не кукуй-то ты, кукушечка, жалобнёнько,
Не одной-то тебе, кукушечка, жить тошно,
И нам-то солдатушкам жить не сладко!
На что, матушка, нас, сударыня, породила?

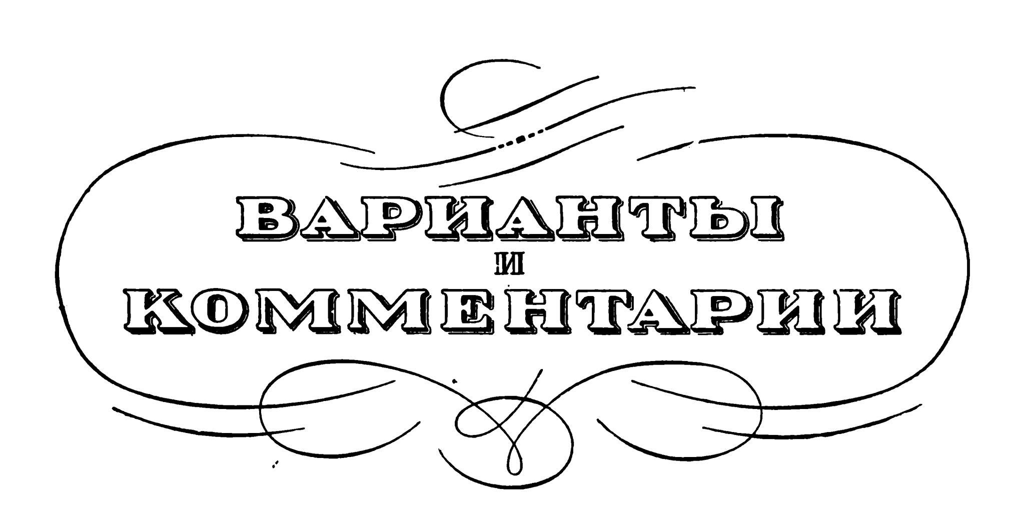
**16**

Туто жил-поживал господин Волконский князь,
У этого у князя жил Ванюша ключничек.
Ваня год живет, другой живет,
На третий год князь доведался;
Закричал князь Волконский своим громким голосом:
„Как есть ли у меня слуги верные при мне?
Вы подите — приведите вора Ваньку ключничка!"

Как ведут Ванюшу широким двором,
Как у Ванюшки головка вся проломана,
Коленкоровая рубашка на нем изорвана,
Сафьянные сапожки кровью принаполнены.
Закричал-та господин Волконский князь громким голосом:
„Вы подите-ка, — вы выройте две ямы глубокиих,
Вы поставьте-ка два столбика дубовыих,
Положите перекладец сосновый,
Повесьте две петли шелковые:
Пускай Ваня покачается,
Молодая-то княгиня попечалится!"

### 17

Бежит речка по песку
Во матушку во Москву,
В разорёну улицу,
К Аракчееву двору.
У Ракчеева двора
Тута речка протекла,
Бела рыба пущена;
Тут и плавали-гуляли
Девяносто кораблей;
Во всякием корабле
По пятисот молодцов,
Гребцов-пѐсенничков:
Сами песенки поют,
Разговоры говорят,
Всё Ракчеева бранят:
„Ты, Ракчеев господин,
Всю Россию разорил,
Бедных людей прослезил,
Солдат гладом поморил,
Доро̀женьки проторил,
Он канавушки прорыл,
Березами усадил,
Бедных людей прослезил!“


ВАРИАНТЫ
И
КОММЕНТАРИИ

## Стихотворения

### 1831

9*. „Перед гробницею святой...“ Впервые первые три строфы напечатаны Пушкиным в „Современнике“ 1836, т. IV, стр. 297—298. По этому изданию и печатаются начальные строфы, остальные — по автографу, содержащему последние две строфы и датированному: „1831“ (хранится в *ПД*, собрание Л. Н. Майкова). На основании содержания стихотворение датируется концом мая — первой половиной июня 1831 года.

Стихи вызваны неудачами русских войск в войне против восставшей Польши и угрозой иностранного вмешательства. „Эти стихи были написаны в такой момент, когда можно было утратить бодрость“, — пояснял Пушкин в письме к Е. М. Хитрово (дочери М. И. Кутузова) от середины сентября 1831 года.

Сближением политической ситуации лета 1831 года с эпохой, предшествовавшей вторжению Наполеона в Россию, подсказано обращение к кн. М. И. Голенищеву-Кутузову, главнокомандующему русской армией в войне 1812—1813 годов с Францией. Гробница его в петербургском Казанском соборе и имеется в виду в стихах.

Наряду со стихотворением „Клеветникам России“ и „Бородинской годовщиной“ (см. прим. к стр. 11 и 12) стихи отражают политические настроения Пушкина, захваченного подъемом националистических чувств широкой дворянско-буржуазной общественности в связи с польским восстанием.

10. Из письма к М. Л. Яковлеву („Смирдин меня в беду поверг...“). Впервые напечатано Гаевским в „Библиографических Записках“ 1861, № 10, стб. 289. Печатается по автографу (*ПД*). Датируется второй половиной 1831 года на основании письма М. Л. Яковлева к Пушкину от 16 июля 1831 года. Четверостишием начиналась записка Пушкина к его лицейскому товарищу М. Л. Яковлеву (см. о нем в т. I прим. к „Пирующим студентам“ 1814 г.) в ответ на просьбу о скорейшей присылке денег для вдовы поэта А. А. Дельвига.

*А. Ф. Смирдин* (1785—1857) — книгопродавец и издатель.

* Цифры в начале примечаний обозначают соответствующие страницы книги.

10. Из письма к кн. П. А. Вяземскому („Любезный Вяземский, поэт и камергер...“). Впервые напечатано П. Н. Шеффером в „Старине и Новизне“, 1907, кн. XII, стр. 327—328. Печатается по автографу (*ЦА*).

Этими стихами начиналось поздравительное письмо Пушкина от 14 августа 1831 года к кн. П. А. Вяземскому по поводу назначения последнего камергером.

Ст. 1 заимствован из послания В. Л. Пушкина к П. Н. Приклонскому (1812) — „Любезный родственник, поэт и камергер...“ Стт. 4 и 6 имеют в виду знак отличия камергера — золотой ключ на голубой ленте, прикреплявшейся к мундиру сзади. Ст. 8 относится к жене П. А. Вяземского — Вере Федоровне.

11. Клеветникам России („О чем шумите вы, народные витии?“). Впервые напечатано Пушкиным в брошюре „На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина“, СПБ. 1831, стр. 7—9, с датой: „16 августа 1831 года“. В брошюру вошли кроме того „Бородинская годовщина“ Пушкина и „Старая песня на новый лад“ Жуковского. Перепечатано в „Стихотворениях Александра Пушкина“, ч. III, СПБ. 1832, стр. 119—122. Печатается по цензурной рукописи „Стихотворений А. Пушкина“.

В беловом автографе с поправками стихотворение без заглавия, но с эпиграфом: „Vox et praeterea nihil“, датировано: „2 авг⟨уста 1831 г.⟩ С⟨ело⟩ Ц⟨арское⟩“.

Стихи обращены к общественным деятелям и публицистам Франции, демонстративно выражавшим сочувствие польскому восстанию. Пять лет спустя, в письме своем от 10 ноября 1836 года Пушкин писал переводчику этих стихов на французский язык кн. Н. Б. Голицыну: „Почему не перевели вы этих стихов своевременно, я бы отправил их во Францию, чтобы щелкнуть по носу всех этих крикунов из Палаты депутатов“ (в подлиннике по-французски).

О настроениях Пушкина в эпоху польского восстания см. стр. 529.

12. Бородинская годовщина („Великий день Бородина...“). Впервые напечатано Пушкиным в брошюре „На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина“, СПБ. 1831, стр. 11—15, с датой: „5 сентября 1831 года“. Перепечатано в „Стихотворениях Александра Пушкина“, ч. III, СПБ. 1832, стр. 123—129. Печатается по цензурной рукописи „Стихотворений А. Пушкина“. Стихи были вызваны получением известия о взятии 26 августа 1831 года русскими войсками Праги, предместья Варшавы. День взятия Праги, решающий для войны с восставшей Польшей, совпал с днем годовщины Бородинского сражения 1812 года.

Строфа 2 имеет в виду угрозу иностранного вмешательства в русско-польскую войну. Строфы 5 и 7 перекликаются со стихотворением „Клеветникам России“; ст. 4 строфы 6: *наследие Богдана* — Украина, присоединенная к России при гетмане Богдане Хмельницком; стт. 65 и 66 — русско-турецкая война 1828—1829 гг., эпидемия холеры 1830—1831 гг. и бунты, связанные с эпидемией; строфа 8 посвящена главнокомандующему русской армией в Польше графу И. Ф. Паскевичу, руководившему тремя войнами („тройная брань“): войной с Персией 1827—1828 гг., войной с Турцией 1829 года и наконец войной с Польшей; ст. 75 имеет в виду ранение И. Ф. Паскевича; строфа 9 обращена к полководцу А. В. Суворову, в 1794 году взявшему штурмом предместье Варшавы Прагу. Ст. 90 относится к внуку А. В. Суворова, ротмистру кн. А. А. Суворову, участнику переговоров в 1831 году в Варшаве по поводу условий сдачи ее русским войскам.

15. Эхо („Ревет ли зверь в лесу глухом...“). Впервые напечатано Пушкиным в „Северных Цветах на 1832 г.“, стр. 50 отдела „Поэзия“, и перепечатано в „Стихотворениях А. Пушкина“, ч. III, 1832, стр. 117—118, среди стихотворений 1831 года.

Печатается по цензурной рукописи издания 1832 года. В одном из списков стихотворений, составлявшихся при подготовке к печати „Стихотворений“, ч. III, „Эхо“ датировано Пушкиным 1829 годом. Тем не менее, на основании датировки стихотворения в изд.

1832 года, временем его написания считаем январь — сентябрь 1831 года, так как „Северные Цветы на 1832 г.“ были процензурованы 9 октября этого года.

11 ст. в „Северных Цветах“:

Тебе нет отзыва... Таков...

В стихах использованы мотивы „Прибрежного эхо“ („A sea-shore echo“) Барри Корнуола.

15. „Чем чаще празднует лицей...“ Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 157—158. Автограф (перебеленный текст с поправками) на листах в составленной жандармами тетради (№ 2377 А *ЛБ*). В автографе дата: „19 окт. 1831“.

Неотделанные стихи, посвященные дню открытия Царскосельского лицея (19 октября 1811 года), ежегодно праздновавшемуся бывшими его воспитанниками всех выпусков. Ср. стихи к „лицейской годовщине“ предшествующих лет (в т. I наст. изд. и 1836 года, стр. 110).

*Шесть мест упраздненных* — шесть умерших лицейских товарищей Пушкина: Н. Г. Ржевский (1800—1817), Н. А. Корсаков (1800—1820), П. Ф. Саврасов, К. Д. Костенский (1797—1830), С. С. Есаков (1798—1831) и наконец бар. А. А. Дельвиг (1798—1831), на смерть которого Пушкин реагировал особенно остро.

В рукописи после строфы 1 следует зачеркнутая:

Давно ль, друзья?.. Но двадцать лет
Тому прошло; и что же вижу?
Того царя в живых уж нет;
Мы жгли Москву; был плен Парижу,
Угас в тюрьме Наполеон;
Воскресла греков древних слава,
С престола пал другой Бурбон;
Отбунтовала вновь Варшава.

В зачеркнутой строфе ст. 6 имеет в виду Грецию, добившуюся освобождения от власти Турции и объявленную самостоятельным государством (2 сентября 1829 года) в результате многолетней повстанческой борьбы; ст. 7 имеет в виду Людовика XVI Бурбона, низвергнутого первой французской революцией, и его брата, „другого Бурбона“— Карла X, низвергнутого Июльской революцией 1830 года. В последнем стихе отмечено польское восстание 1830—1831 гг.

16. „Когда в объятия мои...“. Впервые напечатано Анненковым в Собр. соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр. 43. Печатается по автографу (беловой с поправками текст) в тетради (№ 2372, л. 66 *ЛБ*). Год написания определяется положением в тетради.

Стихи вдохновлены Наталией Николаевной Гончаровой, женой Пушкина с 18 февраля 1831 года.

## 1832

18. Мальчику. Из Катулла („Пьяной горечью Фалерна...“) Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 148. Печатается по этому изданию. В автографе, не дающем окончательного текста, стихотворение датировано: „18 февр. 1832“.

Перевод стихотворения Катулла, римского поэта I века до н. э.

18. В альбом А. О. Смирновой („В тревоге пестрой и бесплодной...“). Впервые напечатано в „Отечественных Записках“ 1840, т. XII, отд. III, стр. 229. Печатается по беловому автографу в альбоме А. О. Смирновой, где дата: „18 марта 1832“ (*ПД*). Альбом в этот день был подарен А. О. Смирновой самим Пушкиным, написавшим на первом листе: „Исторические записки А. О. С.***“.

Черновой вариант последних стихов:

Однако ж над толпою вздорной
Трунила я отменно зло,

И шутки злости самой черной,
Среди успехов жизни модной,
Писала прямо на бело.

19. В альбом кж. А. Д. Абамелек („Когда-то (помню с умиленьем)...“). Впервые напечатано в „Отечественных Записках“ 1840, т. VIII, отд. III, стр. 1. Печатается по беловому автографу в альбоме кж. А. Д. Абамелек, где дата: „9 апреля 1832“ (*ПД*).

Воспоминание Пушкина о том, как он „няньчил“ А. Д. Абамелек, относится, вероятно, к лицейским годам поэта: мать Анны Давыдовны значится среди посетителей лицея 11 июля 1815 года.

Княжна Анна Давыдовна *Абамелек* 1814—1889)—фрейлина, переводчица русских поэтов на французский и английский языки.

19. „С Гомером долго ты беседовал один...“. Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., IX, 1841, стр. 159. Первые восемь стихов печатаются по беловому автографу на л. 62, в сшитой жандармами тетради (№ 2376 В *ЛБ*), а стт. 9—24 — по единственному автографу этих стихов (черновому) (*ЦА*). Датируется концом апреля — маем 1832 года.

Стихотворение, при жизни Пушкина не опубликованное, обращено к Н. И. Гнедичу, многолетняя работа которого над переводом „Илиады“ Гомера неоднократно отмечалась Пушкиным. См., например, двустишие „Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи“ (1830) и рецензию на перевод Гнедича в „Литературной Газете“ („Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожиданный перевод Илиады...“ и пр.). Поводом для обращения Пушкина к Гнедичу со стихами „С Гомером долго ты беседовал один“ явилось восторженное послание Гнедича к Пушкину „По прочтении сказки про царя Салтана“ („Пушкин, Протей, гибким твоим языком и волшебством твоих песнопений...“), датированное 23 апреля 1832 года. В черновом тексте стихов Пушкина сохранились следы непосредственной связи обоих посланий. Ср. „дивится он... и сказке ⟨про⟩ царя Салтана“, а также: „А ныне... приветствуешь меня с улыбкой благосклонной“.

Гоголь в статье „О лиризме наших поэтов“ („Выбранные места из переписки с друзьями“, СПБ. 1847) ошибочно счел адресатом стихов „С Гомером долго ты беседовал один“ императора Николая I. Несмотря на явную фантастичность этого толкования, вызвавшего сразу резкие протесты друзей и знакомцев Пушкина, оно долго держалось в дореволюционной литературе о Пушкине и окончательно отвергнуто лишь после находки черновых текстов послания.

*Скалы старца Оссиана* — Шотландия родина легендарного певца Оссиана.

20. Красавица. В альбом гр. Е. М. Завадовской („Всё в ней гармония, всё диво...“). Впервые напечатано Пушкиным под заглавием: „Красавица (в альбом Г***)“ в „Библиотеке для Чтения“ 1834, т. III, кн. 5, отд. I, стр. 238. Перепечатано в „Стихотворениях Александра Пушкина“, ч. IV, СПБ. 1835, стр. 57—58. Датируется стихотворение серединой 1832 года, так как альбом с запиской, напоминающей Пушкину об обещании вписать туда стихи, Завадовская послала поэту 16 мая 1832 года.

Елена Михайловна *Завадовская* (1807—1874) — известная красавица, воспетая кн. П. А. Вяземским и И. И. Козловым.

20. К*** („Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...“). Впервые напечатано в „Альманахе на 1838 год“, изд. В. А. Владиславлева, стр. 348, без даты. Печатается по этому изданию.

В копии в альбоме П. А. Бартеневой под стихотворением дата: „Москва. 5 окт.“. Анненков (в Собр. соч. Пушкина, т. III, 1855, стр. 19) писал о каком-то, теперь неизвестно где находящемся „оригинале“, на котором находится пометка, хотя сделанная и не собственной рукой Пушкина: „27 октября 1832 г.“. Эта дата может означать время переписки стихотворения, написанного, очевидно, 5 октября 1832 года.

Стихотворение, повидимому, обращено к фрейлине, гр. Надежде Львовне Соллогуб, впоследствии Свистуновой.

Вариант ст. 10:

Любуясь девою в томленьи сладострастья

21. В альбом („Гонимый рока самовластьем...“). Впервые напечатано в „Современнике“ 1857, кн. IV, стр. 196. Печатается по Собр. соч. Пушкина, под. ред. Анненкова, т. VII, стр. 97 первой пагинации, где дата: „27 октября 1832“.

Адресат послания неизвестен.

21. В альбом („Долго сих листов заветных...“). Впервые напечатано в „Отечественных Записках“ 1839, т. I, отд. III, стр. 2, с датой: „1832“. По этому изданию и печатается.

Стихотворение предположительно относится к лицейскому товарищу Пушкина М. Л. Яковлеву (см. о нем стр. 529).

22. Песни западных славян. Первые пятнадцать стихотворений впервые напечатаны Пушкиным в „Библиотеке для Чтения“ 1835, т. IX, кн. 15, отд. I, стр. 5—32. Шестнадцатое стихотворение впервые напечатано Пушкиным в „Библиотеке для Чтения“ 1835, т. VIII, кн. 14, отд. I, стр. 158, под заглавием: „Сербская песня“. Все шестнадцать стихотворений перепечатаны в „Стихотворениях Александра Пушкина“, ч. IV, СПБ. 1835, стр. 115—176, где впервые были напечатаны предисловие и примечания. По этому изданию и печатается. Предисловие было написано не ранее 6 января (дата: „18 января н. с. 1835 года“ приводимого Пушкиным письма П. Мериме) и не позднее апреля 1835 года (цензурное разрешение четвертой части „Стихотворений“ 29 апреля 1835 года). Тогда же были написаны и примечания. Самые стихотворения написаны, вероятно, в 1832 году.

Отличия текста „Библиотеки для Чтения“ от текста издания 1835 года:

Видение короля.
Ст. 12:

Для своих птенят горемычных.

Ст. 38:

Короля незапный обуял холод:

Битва у Зеницы-Великой.
Ст. 14:

Против нас пришел из Баняловки;

Влах в Венеции.
Ст. 17:

Вот живу в этой каменной лодке.

Похоронная песня.
Стт. 2—4 и 26—28:

С богом! ныне в честь твою,
Помолясь усердно богу,
Кубок я прощальный пью.

Марко Якубович.
Ст. 93:

И старик в третий раз его погнал,

Бонапарт и черногорцы.
Ст. 2:

Бонапарта вопросил:

Ст. 40:

Кто как мог пустились в бег.

Песня о Георгии Черном.
Ст. 13:

Коли лает безумные речи.

Сестра и братья.
Ст. 47:

Вот Павлиха по вечери поздно

Яныш королевич.
Ст. 1:

Полюбил Яныш королевич

Стиха 42 нет.

Под заглавием „Песни западных славян“ объединены Пушкиным шестнадцать стихотворений, из которых одиннадцать представляют собою частью переводы, частью переделку соответствующих произведений из сборника французских стихов Проспера Мериме „La Guzla, ou choix de poésies illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégovine“ („Гузла, или сборник иллирийской поэзии, собранной в Далмации, Боснии, Кроатии и Герцеговине“). Основой книги Мериме послужило „Путешествие по Далмации“ итальянца Д.-Б. Фортиса (2 тома, 1774), откуда Мериме почерпнул сведения о славя-

нах и сюжеты для своих стихотворений, выданных им за переводы подлинных произведений славянской народной поэзии.

I. Видение короля. Переделка песни Мериме, озаглавленной „Видение Фомы II, короля Боснии".

II. Янко Марнавич. Переработка песни Мериме „Пламя Перрусича".

III. Битва у Зеницы-Великой. Перевод песни Мериме под тем же названием.

IV. Феодор и Елена. Переделка песни Мериме „Прекрасная Елена".

V. Влах в Венеции. Перевод песни Мериме „Морлак в Венеции".

*Морлаки, приморские влахи*—сербское племя, обитающее в горах Далмации.

VI. Гайдук Хризич. Перевод песни Мериме „Храбрые гайдуки".

VII. Похоронная песня. Переработка песни Мериме под тем же названием.

VIII. Марко Якубович. Перевод песни Мериме „Константин Якубович".

IX. Бонапарт и черногорцы. Перевод песни Мериме „Черногорцы".

X. Соловей. Переделка песни „Три величайших печали" из сборника сербских песен Вука Караджича.

XI. Песня о Георгии Черном. Для этой песни книжный источник не найден, и, вероятно, она сочинена самим Пушкиным на основании преданий и рассказов, слышанных им еще в Кишиневе. См. „Дочери Кара-Георгия", т. I.

XII. Воевода Милош. Песня эта основана частью на материалах, заимствованных Пушкиным из книги Вука Караджича „Жизнь и подвиги князя Милоша Обреновича", СПБ. 1825, частью на устных преданиях, слышанных автором, вероятно, еще в Кишиневе.

XIII. Вурдалак. Перевод песни Мериме „Ваня".

XIV. Сестра и братья. Перевод песни „Бог ни у кого не остается в долгу" из сборника сербских песен Вука Караджича.

XV. Яныш королевич. Первоисточник этой песни, тематически связанной с неоконченной драмой „Русалка", не обнаружен.

XVI. Конь. Переработка песни Мериме „Конь Фомы II". Пушкин значительно отступил от подлинника, передав обращение хозяина к коню народным языком и значительно расширив зловещий ответ коня.

Перевод письма Мериме в предисловии.

„Париж, 18 января 1835.

Я думал, милостивый государь, что у Гузлы было только семь читателей, в том числе вы, я и корректор; с большим удовольствием узнаю, что могу причислить к ним еще двух, что составляет в итоге приличное число девять и подтверждает поговорку — никто не пророк в своем отечестве. Отвечу на ваши вопросы чистосердечно. Гузлу я написал по двум мотивам — во-первых, я хотел посмеяться над „местным колоритом", в который мы слепо ударились в лето от рождества Христова 1827. Для объяснения второго мотива расскажу вам следующую историю. В том же 1827 году мы с одним из моих друзей задумали путешествие по Италии. Мы набрасывали карандашом по карте наш маршрут. Так мы прибыли в Венецию — разумеется, на карте, — где нам надоели встречавшиеся англичане и немцы, и я предложил отправиться в Триест, а оттуда в Рагузу. Предложение было принято, но кошельки наши были пусты, и эта „несравненная скорбь", как говорил Рабле, остановила нас на полдороге. Тогда я предложил сначала описать наше путешествие, продать издателю и вырученные деньги употребить на то, чтобы проверить, во многом ли мы ошиблись. На себя я взял собирание народных песен и перевод их; мне было выражено недоверие, но на другой же день я доставил моему товарищу по путешествию пять или шесть переводов. Осень я проводил в деревне. Завтрак у нас был в полдень, я же вставал в десять часов; выкурив одну или две сигары и не зная, чем заняться до прихода дам в гостиную, я писал баллады. Из них составился томик, который я издал под большим секретом и мистифи-

цировал им двух или трех лиц. Вот источники, откуда я почерпнул этот столь превознесенный „местный колорит“: во-первых, небольшая брошюра одного французского консула в Баньялуке. Ее заглавие я позабыл, но дать о ней понятие не трудно. Автор старается доказать, что босняки — настоящие свиньи, и приводит этому довольно убедительные доводы. Местами он приводит иллирийские слова, чтобы похвастать своим знанием (на самом деле, быть может, он знал не больше моего). Я старательно собрал все эти слова и поместил их в примечания. Затем я прочел главу: Dei costumi dei Morlachi ⟨Об обычаях морлаков⟩ из „Путешествия по Далмации“ Фортиса. Там я нашел текст и перевод чисто иллирийской заплачки жены Ассана-Аги; но песня эта переведена стихами. Мне стоило большого труда получить построчный перевод, для чего приходилось сопоставлять повторяющиеся слова самого подлинника с переложением аббата Фортиса. При некотором терпении, я получил дословный перевод, но относительно некоторых мест всё еще затруднялся. Я обратился к одному из моих друзей, знающему по-русски, прочел ему подлинник, выговаривая его на итальянский манер, и он почти вполне понял его. Но самое замечательное то, что Нодье, который откопал Фортиса и балладу Ассана-Аги и перевел с поэтического перевода аббата, еще более опоэтизировав его в своей прозе, кричал на всех перекрестках, что я обокрал его. Вот первый стих в иллирийском тексте:

Scto se bieli u *gorje* zelenoi.

Фортис перевел:

Che mal biancheggia nel verde *Bosco*

⟨Которая белеет средь зеленого леса.⟩

Нодье перевел *Bosco* — *зеленеющая равнина*; он промахнулся, потому что, как мне объяснили, *gorje* означает: гора. Вот и вся история. Передайте г. Пушкину мои извинения. Я горжусь и стыжусь вместе с тем, что надул его, и проч.“.

**Перевод жизнеописания славянина-поэта из 18-го примечания Пушкина.**

Заметка об Иакинфе Магłановиче.

Иакинф Магланович—единственный мне знакомый гусляр, который в то же время был поэтом, ибо большинство гусляров повторяют старые песни, или — самое большее — сочиняют попурри, заимствуя стихов двадцать из одной баллады, столько же из другой и связывая всё это при помощи скверных стихов собственного изделия.

Поэт наш родился в Звониграде, как он сам говорит об этом в балладе „Шиповник в Велико“. Он был сын сапожника, и его родители, повидимому, не сильно беспокоились об его образовании, ибо он не умеет ни читать, ни писать. В возрасте восьми лет он был похищен *чинженегами*, или цыганами. Эти люди увели его в Боснию, где и обучали своему искусству и без труда обратили его в магометанство, исповедываемое большинством среди них. * Один *аян*, или старшина, в Ливне отнял его у цыган и взял к себе в услужение, где он и пробыл несколько лет.

Ему было пятнадцать лет, когда один католический монах обратил его в христианство, рискуя быть посаженным на кол в случае обнаружения этого, ибо турки отнюдь не поощряют миссионерской деятельности. Юный Иакинф, не долго раздумывая, покинул своего хозяина, достаточно сурового, как и большинство босняков; но убегая из его дома, он задумал отомстить за дурное обращение. Однажды ночью, в грозу, он ушел из Ливно, захватив с собой шубу и саблю хозяина, с несколькими цехинами, какие ему удалось похитить. Монах, окрестивший его, сопровождал его в бегстве, совершенном, вероятно, по его совету.

От Ливно до Синя, в Далмации, миль двенадцать. Беглецы скоро прибыли туда, под покровительство венецианского правительства, в место, безопасное от преследований аяна. В этом городе Магланович и сочинил

* Все эти подробности были сообщены мне в 1817 году самим Магłановичем.

свою первую песню; он воспел свое бегство в балладе, которая нашла поклонников и положила начало его известности. *

Но у него не было средств к существованию, а природа не наградила его склонностью к труду. Благодаря морлацкому гостеприимству, некоторое время он жил щедротами сельских жителей, отплачивая им тем, что распевал, подыгрывая на *гузле*, заученные им старинные романсы. Вскоре он сочинил несколько новых песен на случаи свадеб и погребений, и его присутствие стало настолько необходимым, что ни один праздник не считался удачным, если на нем не было Магланонича с его *гузлой*.

Так он жил в окрестностях Синя, мало беспокоясь о своих родных, судьба которых ему доныне осталась неизвестной, так как он со дня похищения ни разу не бывал в Звониграде.

В двадцать пять лет это был красивый молодой человек, сильный, ловкий, прекрасный охотник и сверх того знаменитый поэт и музыкант; все его ценили, в особенности девушки. Та, которой он отдавал предпочтение, звалась Марией и была дочерью богатого морлака, по имени Зларинович. Он легко добился взаимности и, по обычаю, похитил ее. У него был соперник — своего рода местный сеньор, по имени Ульян, который проведал о готовящемся похищении. Иллирийские нравы таковы, что отвергнутый любовник легко утешается и не косится на своего счастливого соперника; но этот Ульян вздумал ревновать и захотел помешать счастью Маглановича. В ночь похищения он явился с двумя слугами в ту минуту, когда Мария уже села на лошадь, чтобы следовать за возлюбленным. Ульян угрожающим голосом закричал, чтобы они остановились. Соперники, по обычаю, были вооружены. Магланович выстрелил первый и убил сеньора Ульяна.

Если бы у него была семья, то она поддержала бы его, и он не покинул бы страны из-за таких пустяков; но, одинокий и лишенный всякой опоры, он был беззащитен против мести со стороны всей семьи убитого. Он быстро принял решение и бежал с женой в горы, где присоединился к гайдукам. *

Он долго жил с ними и даже был однажды ранен в лицо при схватке с пандурами. ** Наконец, заработав немного денег, как я полагаю не особенно честным способом, он оставил горы, купил скот и поселился в Катаро с женой и детьми. Дом его находится около Смоковича, на берегу речки или потока, впадающего в озеро Врана. Жена и дети заняты коровами и маленькой фермой, сам же он вечно странствует, часто посещает он своих старых друзей-гайдуков, но не принимает уже участия в их опасном промысле.

Я впервые встретился с ним в Заре в 1816 г. В то время я свободно говорил по-иллирийски и очень хотел послушать какого-нибудь известного поэта. Мой друг, уважаемый воевода Николай ***, встретил в Белграде, где он проживает, Иакинфа Маглановича, уже раньше ему известного, и, зная, что он направляется в Зару, снабдил его письмом ко мне. Он писал мне, что если я желаю заставить гусляра показать свое искусство, то я должен сперва подпоить его, потому что вдохновение нисходит на него лишь тогда, когда он бывает порядком пьян.

Иакинфу было в то время около шестидесяти лет. Это — высокий человек, очень крепкий и сильный для своего возраста, широкоплечий, с необычайно толстой шеей; у него удивительно загорелое лицо и маленькие глаза, слегка приподнятые по углам, орлиный нос, довольно красный от крепких напитков, длинные белые усы и густые черные брови; всё это вместе создает образ незабываемый для того, кто видел его хоть раз. Прибавьте к этому длинный шрам через бровь и вдоль щеки. Непостижимо, как он не лишился глаза при таком ранении. Голова у него была бритая, по всеобщему почти обычаю, и но-

* Я тщетно разыскивал эту балладу. Сам Магланович ее забыл, или, может быть, стыдился петь мне первый свой поэтический опыт.

* Род разбойников.

** Полицейские солдаты.

сил он черную барашковую шапку; платье его было очень поношенное, но притом весьма опрятное.

Войдя ко мне в комнату, он передал мне письмо воеводы и присел без стеснения. Когда я прочел письмо, он сказал тоном довольно презрительного сомнения: „Так вы говорите по-иллирийски?“ Я ответил немедленно на этом языке, что достаточно понимаю по-иллирийски, чтобы оценить его песни, которые мне очень хвалили. „Ладно, ладно, — отвечал он,— но я проголодался и хочу пить; когда я поем, я вам спою“. Мы вместе пообедали. Мне показалось, что он голодал по меньшей мере дня четыре, с такой жадностью он ел. По совету воеводы, я подливал ему, и друзья мои, которые, услышав о его приходе, пришли ко мне, наполняли его стакан поминутно. Мы надеялись, что, когда этот необычайный голод и жажда будут удовлетворены, наш гость соблаговолит нам что-нибудь спеть. Но ожидания наши оказались напрасны. Он вдруг встал из-за стола и, опустившись на ковер у огня (дело было в декабре), заснул в пять минут, и не было никакой возможности разбудить его.

Я был удачливее в другой раз: я постарался напоить его лишь настолько, чтобы воодушевить его, и тогда он спел мне некоторые из баллад, находящихся в этом сборнике.

Должно быть, голос его прежде был хорош, но в ту пору он уже был несколько разбит. Когда он пел, играя на гузле, глаза его разгорались, и лицо принимало выражение дикой красоты, которую художник охотно передал бы на холсте.

Он расстался со мной довольно странным способом: пять дней жил он у меня, а затем вышел утром, и я напрасно прождал его до вечера. Мне сказали, что он ушел из Зары к себе домой; но в то же время я заметил исчезновение пары английских пистолетов, которые, до его поспешного ухода, висели у меня в комнате. Я должен добавить к его чести, что он мог унести заодно мой кошелек и золотые часы, которые стоили раз в десять дороже, чем взятые им пистолеты.

В 1817 году я провел дня два в его доме, где он принял меня, выказав живейшую радость. Жена его и все дети и внуки окружили меня и обнимали, а когда я ушел от них, старший сын служил мне проводником в горах в течение нескольких дней, причем невозможно было уговорить его принять какое-либо вознаграждение.

54. „И дале мы пошли — и страх обнял меня“ и „Тогда я демонов увидел черный рой...“. Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 175—176. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками) (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). Датируется предположительно 1832 годом.

Отрывок этот тематически связан с теми частями „Божественной комедии“ Данте, которые посвящены описанию мучений грешников в аду (песни XVII, XXI и XXII).

*Вергилий* (70—19 до н. э.) — римский поэт, являющийся в „Божественной комедии“ спутником Данте в его странствиях по аду.

## 1833

56. Гусар („Скребницей чистил он коня...“). Впервые напечатано Пушкиным в „Библиотеке для Чтения“ 1834, т. I, кн. 1, отд. I, стр. 13—17, перепечатано во втором издании этой книжки и в „Стихотворениях Александра Пушкина“, ч. IV, СПБ. 1835, стр. 3—10. По этому изданию и печатается. В черновом автографе имеется дата: „18 апреля 1833“ (*ПД*, собрание А. Ф. Онегина).

Фабула стихотворения связана с повестью О. М. Сомова „Киевские ведьмы“, появившейся в альманахе „Новоселье“ 1833 года.

60. „Когда б не смутное влеченье...“ Впервые напечатано в „Современнике“ 1857, январь, отд. I, стр. 1. Печатается по Собр. соч. Пушкина, под ред. Анненкова, т. VII, стр. 46—47 первой пагинации. В этом издании стихотворение напечатано по автографу, впоследствии утраченному. По словам Анненкова, в автографе имеется помета: „1833, дорога, сентябрь“. Помета эта отмечает, повидимому, памятный эпизод, вызвавший стихотворение, которое было написано уже в Болдине в октябре.

61. Воевода („Поздно ночью из похода...“). Впервые напечатано Пушкиным с подзаголовком: „Польская баллада“ и с пометой в оглавлении: „Из М—а“ (т. е. „Из Мицкевича“), в „Библиотеке для Чтения“ 1834, т. II, кн. 3, отд. I, стр. 98—100 и перепечатано (только с заглавием) в „Стихотворениях Александра Пушкина“, ч. IV, СПБ. 1835, стр. 51—55. По этому изданию и печатается.

В автографе имеется дата: „28 октября 1833. Болд<ино>“ (*ПД*, собрание А. Ф. Онегина).

Перевод „украинской баллады“ Адама Мицкевича „Czaty“ („Дозор“). В своем переводе Пушкин несколько сократил текст Мицкевича, выбросив три строфы, и изменил образ героини: в балладе Мицкевича панна склоняется на увещания юноши и тем самым оправдывает взрыв ревности воеводы.

63. Будрыс и его сыновья („Три у Будрыса сына, как и он, три литвина...“). Впервые напечатано Пушкиным с подзаголовком: „Литовская баллада“ и с пометой в оглавлении: „Из М—а“ (т. е. „Из Мицкевича“) в „Библиотеке для Чтения“ 1834, т. II, кн. 3, отд. I, стр. 96—97 и перепечатано (только с заглавием) с датой: „1833“ в „Стихотворениях Александра Пушкина“, ч. IV, СПБ. 1835, стр. 45—48. По этому изданию и печатается.

В беловом автографе с поправками имеется дата: „28 окт. 1833 Болд<ино>“ (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова).

Перевод „литовской баллады“ Адама Мицкевича „Trzech Budrysów“ („Три Будрыса“), приуроченной к конкретной исторической обстановке XIV века. В переводе Пушкин изменил имя одного из сыновей (Паз вместо Скиргайло) и направление их походов.

65. Осень („Октябрь уж наступил — уж роща отряхает...“). Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 207—211. Печатается по беловому автографу, находящемуся в сложенной жандармами после смерти Пушкина из отдельных листов тетради (№ 2377 А *ЛБ*). В этом автографе подзаголовок: „Отрывок“ и пометы: „1833. Болдино“. Стихотворение написано в октябре — первой половине ноября 1833 года.

В творчестве Пушкина осень играла исключительную роль, всегда повышая продуктивность его работы.

„Осень подходит, — писал Пушкин в 1830 году.— Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает“.

В письме к жене из Болдина от 30 октября 1833 года Пушкин так определял распорядок своего дня: „Просыпаюсь в 7 часов, пью кофей, и лежу до 3 часов. Недавно расписался и уже написал пропасть. В 3 часа сажусь верхом, в 5 — в ванну, а потом обедаю картофелем да гречневой кашей. До 9 часов читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо“. Эта болдинская жизнь и нашла себе очень точное отражение в стихотворении „Осень“.

В рукописи между X и XI строфами сохранилась зачеркнутая строфа, показывающая, о ком думал Пушкин, когда писал о „незримом рое гостей“:

Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри,
[Царевны пленные, графини, великаны,]
И [вы, любимицы] златой моей зари,—
[Вы, барышни мои,] с открытыми плечами,
С [висками] гладкими и томными очами.

Ст. 23: *Армида* — героиня поэмы Тассо „Освобожденный Иерусалим“, волшебница

влюбленная в героя поэмы Ринальдо. Пушкин употребляет это имя (во множественном числе) как нарицательное, для обозначения легкомысленных красавиц.

69. Родословная моего героя („Начнем ab ovo..."). Впервые восемь строф напечатаны Пушкиным без подписи в „Современнике" 1836, т. III, стр. 152—157. Датируется февралем — октябрем 1833 года.

Произведение тесно связано с „Медным всадником", для которого по первоначальному замыслу и предназначалось. В рукописи опубликованному тексту предшествовала строфа, представляющая собою вариант начала первой части „Медного всадника".

Над омраченным Петроградом
Осенний ветер тучи гнал.
Дышало небо влажным хладом.
Нева шумела. Бился вал
О пристань набережной стройной,
Как челобитчик беспокойный
Об дверь судейской. Дождь в окно
Стучал печально. Уж темно
Всё становилось. В это время
Иван Езерский, мой сосед,
Вошел в свой темный кабинет...
Однако — род его, и племя,
И чин, и службу, и года
Вам знать не худо, господа.

Рукописный вариант последних шести стихов VI строфы:

Могучих предков правнук бедный,
Люблю встречать их имена
В двух-трех строках Карамзина.
От этой слабости безвредной,
Как ни старался, видит бог,
Отвыкнуть я никак не мог.

Вместо VII строфы в рукописи находятся две строфы:

Мне жаль, что сих родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух,
[Что их поносит шут Фиглярин,]
Что русский ветреный боярин
Теряет грамоты царей,
Как старый сбор календарей,
Что исторические звуки
Нам стали чужды, [что] спроста
Из бар мы лезем в tiers état,*
[Что] нищи будут наши внуки —
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто.

Мне жаль, что мы, руке наемной
Дозволя грабить наш доход,
С трудом ярем заботы темной
Влачим в столице круглый год,
Что не живем семьею дружной,
В довольстве, тишине досужной,
Старея близ могил родных,
В своих поместьях родовых,
Где в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава;
Что геральдического льва
Демократическим копытом
У нас лягает и осел.
Дух века вот куда зашел!

Заканчивается „Родословная" в рукописи так:

Допросом музу беспокоя,
С усмешкой скажет критик мой:
„Куда завидного героя
Избрали вы! Кто ваш герой?"
— А что? Коллежский регистратор.
Какой вы строгий литератор!
Его пою — зачем же нет?
Он мой приятель и сосед.
Державин двух своих соседов
И смерть Мещерского воспел.
Певец Фелицы быть умел
Певцом их свадеб и обедов,
И похорон, сменивших пир,—
А знал ли их, скажите, мир?

Заметят мне, что есть же разность
Между Державиным и мной,
Что красота и безобразность
Разделены чертой одной,
Что князь Мещерский был сенатор —
А не коллежский регистратор —
Что лучше, ежели поэт

* <Третье сословие.>

Возьмет возвышенный предмет,
Что нет к тому же перевода
Прямым героям; что они
Совсем не чудо в наши дни.
Куда! Нам нет от них прохода —
Но разве меж моих друзей
Двух, трех великих нет людей?

Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона —
Гордись, таков и ты, поэт,
И для тебя закона нет.

Исполнен мыслями златыми
Не понимаемый никем,
Перед распутьями земными
Проходишь ты, уныл и нем.
С толпой не делишь ты ни гнева,
Ни нужд, ни хохота, ни рева,
Ни удивленья, ни труда.
Глупец кричит: „куда? куда?
Дорога здесь". Но ты не слышишь;
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные; твой труд
Тебе награда; им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.

Скажите: „экий вздор", иль „bravo",
Иль не скажите ничего —
Я в том стою — имел я право
Избрать соседа моего
В герои повести смиренной,
Хоть человек он не военный,
Не второклассный Дон-Жуан,
Не демон — даже не цыган,
А просто гражданин столичный,
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братьи не отличный,
Довольно смирный и простой,
А впрочем малый деловой.

В одном из черновиков есть продолжение:

Во фраке очень устарелом
Он, молча сидя у бюро,
[До трех часов] [смелом]
Чинил и пробовал перо.
Вам должно знать, что мой чиновник
Был сочинитель и любовник.
Свои статьи печатал он
В „Соревнователе", влюблен
Он был в [Коломне] по соседству
В одну лифляндочку. Она
С своей матерью одна
Жила в домишке, по наследству
Доставшемся недавно ей
От дяди Франца. Дядя сей...
Но от мещанской родословной
Я вас избавлю и займусь
Своею повестью любовной,
Покамест вновь не занесусь...

Не включенная поэтом в окончательную редакцию „Медного всадника" и опубликованная отдельно, „Родословная моего героя" очень автобиографична. „Рейхман пишет мне,— отмечал Пушкин в одном письме 1834 года о своем нижегородском имении Болдино,— что крестьяне находятся в такой нищете, а дела идут так худо, что он не мог взять на себя управления Болдиным... Нет сомнения, что Болдино стоит того, чтобы его спасти, хотя бы для Ольги и Льва, которым грозит в будущем нищенская сума, или по крайней мере бедность". В „Путешествии из Москвы в Петербург" Пушкин с грустью подчеркивал, как беднеет Москва,— как вывески портного торчат под вызолоченным гербом, как бельэтажи, где прежде гремели шумные балы, заняты пансионами для детей дворян, вынужденных жить в деревне, как дряхлеют барские дома, умолкают некогда шумные улицы. „Но Москва, утратившая свой блеск аристократический,— отмечает он рядом,— процветает в других отношениях: промышленность... в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество бога-

теет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством".

Ст. 8: *Ольга* — киевская княгиня, правившая во второй половине X века.— Стт. 25—28 имеют в виду Куликовскую битву с татарами (1380).— Ст. 87: *кн. Пожарский* Д. М.— военачальник в борьбе с поляками в 1612 году. Ст. 89: *Фиглярин* — Ф. В. Булгарин (см. т. V).

72. „Французских рифмачей суровый судия..." Впервые напечатано Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина" (Собр. соч. Пушкина 1855—1857, т. I, стр. 348—349). Печатается по автографу (перебеленный текст) в тетради (№ 2374 *ЛБ*). Датируется февралем — октябрем 1833 года на основании положения в тетради.

Стихотворение представляет собою начало неоконченной сатиры на современных Пушкину русских писателей. — Ст. 2: *Депрео* — Буало-Депрео (1636—1711) французский поэт, автор поэмы „Искусство поэзии", в которой изложены правила классической поэтики.— Ст. 12: *Ты слишком превознес достоинства сонета* — намек на известный афоризм Буало: „Беспорочный сонет один стоит длинной поэмы".— Ст. 29: *Хваленый Жуков* — В. Г. Жуков, табачный фабрикант 20-х — 30-х гг.

74. Подражания древним. 1. Из Ксенофана Колофонского. „Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают..." 2. Из Афенея. „Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров..." Оба стихотворения впервые напечатаны Пушкиным в „Библиотеке для Чтения" 1834, т. V, кн. 8, отд. I, стр. 30. Под текстом второго стихотворения дата: „1832", явно относящаяся к обоим стихотворениям. Оба стихотворения перепечатаны в „Стихотворениях Александра Пушкина", ч. IV, СПБ. 1835, стр. 101—103, без даты. По этому изданию и печатаются.

В автографе первого стихотворения имеется дата: „12 янв.", а в автографе второго: „1 янв. 1833" (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). Надо полагать, что год первой даты — 1833. Вероятно, дата „1832" в „Библиотеке для Чтения" указывает на время писания стихотворения, а 1 января 1833 года — дата окончательной переписки.

Стихотворения являются вольным переводом двух произведений, заимствованных из хрестоматийного сборника „Пир софистов" Афенея, греческого ритора III века н. э., известного Пушкину во французском переводе 1789 года.

*Ксенофан из Колофона* — греческий философ и поэт VI века до н. э.; автором эпитафии, обозначенной Пушкиным „Из Афенея", был, по указанию последнего, поэт Гедил.

75: Вино („Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный..."). Впервые напечатано Анненковым в Собр. соч. Пушкина, т. III, стр. 24. Печатается по автографу (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). О датировке см. следующее стихотворение.

Вольный перевод стихов греческого поэта Иона из Хиоса (V век до н. э.), известных Пушкину во французском переводе.

75. „Юноша! скромно пируй, и шумную Вакхову влагу..." Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 147. Печатается по автографу, на обороте которого находится текст стихотворения „Вино". Под последним дата: „2 янв". Судя по почерку, и первое стихотворение написано тогда же, т. е. 2 января. По аналогии с датой стихотворения „Славная флейта, Феон..." год даты, вероятнее всего, 1833.

Элегический дистих тематически связан с переводом оды Анакреона „Что же сухо в чаше дно..." (см. стр. 81).

75. „Бог веселый винограда..." Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 146. Печатается по черновому автографу (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). Датируется предположительно 1833 годом по аналогии со стихотворением: „Из Афенея" („Славная флейта, Феон..."). Стихотворение является вольным переводом нескольких прозаических строк из „Пира софистов" Афенея, известного Пушкину во французском переводе Лефевра.

*Бог веселый винограда* — Вакх.

75. Отрывок („Не розу пафосскую...") Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 144. Печатается по автографу, представляющему собою листок, на одной стороне которого находится текст стихотворения „Бог веселый винограда...", а на другой — „Отрывок". Датируется предположительно январем 1833 года по местоположению.

76. „Не дай мне бог сойти с ума..." Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 129—130. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками) в тетради (№ 2377 А *ЛБ*), собранной жандармами после смерти Пушкина из отдельных листов. Можно предполагать, что на сохранившемся листе переписано не все стихотворение, окончание которого неизвестно. Стихотворение датировано 1833 годом Анненковым, полагавшим, что оно „писано в одно время с „Медным всадником".

Стихотворение тематически связано с фабульными концовками „Медного всадника" и „Пиковой дамы", над которыми Пушкин работал в том же, 1833 году.

77. „Сват Иван, как пить мы станем..." Впервые напечатано Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина" (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855, стр. 155—156). Печатается по автографу в тетради (№ 2374, л. $15_2$ *ЛБ*). На основании местоположения в тетради предположительно датируется 1833 годом.

Стихотворение, в котором широко использован фольклорный поминальный материал, самим Пушкиным пояснено в рукописи изображением пьяного крестьянина, сидящего за столом с наполовину опорожненным штофом. С наброском „Сват Иван" связано написанное Пушкиным и Вяземским весною 1833 года стихотворение „Надо помянуть, непременно помянуть надо..." (см. стр. 123).

## 1834

78. „Он между нами жил..." Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 171. Печатается по автографу (перебеленный текст с неоконченными поправками) (*ПД*), в котором имеется дата: „10 авг. 1834. С. П. Б."

Набросок рисует образ польского поэта-изгнанника А. Мицкевича, о котором подробнее см. примечание к „Медному всаднику" и официальную записку, составленную Пушкиным 7 января 1828 года (т. V настоящего издания). В 1832—1834 гг. Мицкевич жил эмигрантом в Дрездене и Париже, где написал цикл сатир, описывающих Петербург и полемизирующих с „приятелями москалями". Эти сатиры и имеет в виду Пушкин, говоря о стихах, напоенных ядом. Слова Мицкевича о тех, кто, „подкупленный золотом, славит торжество царя и радуется мукам своих приятелей", Пушкин после своих антипольских выступлений („Клеветникам России", „Бородинская годовщина") мог принять на свой счет.

79. „Везувий зев открыл—дым хлынул клубом—пламя..." Впервые напечатано Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина" (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855, стр. 354). Печатается по черновому автографу в тетради (№ 2374 *ЛБ*). Датируется предположительно августом — сентябрем 1834 года, так как стихотворение написано под впечатлением картины К. П. Брюллова „Последний день Помпеи", выставленной в конце лета 1834 года в Петербурге, сперва в Зимнем дворце, а затем в Академии художеств.

## 1835

80. Из Анакреона („Узнают коней ретивых..."). Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 149. Печатается по автографу (беловой текст), где имеется дата: „6 янв. 1835" (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова).

Очень точный перевод LV оды Анакреона (греческого поэта VI—V в. до н. э.). Предназначалось для включения в повесть из древнеримской жизни „Цезарь путешествовал...“ В рукописи заключительное двустишие зачеркнуто, вероятно, при внесении стихов в повесть.

81. Ода LVI (Из Анакреона) („Поредели, побелели...“). Впервые напечатано Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина“ (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855, стр. 399). Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками), где имеется дата: „6 янв. 1835“ (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова).

Очень точный перевод LVI оды Анакреона. Как и ода LV, стихотворение предназначалось для повести „Цезарь путешествовал...“

81. Ода LVII („Что же сухо в чаше дно?“). Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 145. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками), где имеется дата: „6 янв. 1835“ (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова).

Сокращенный перевод LVII оды Анакреона.

82. Полководец („У русского царя в чертогах есть палата...“). Впервые напечатано Пушкиным в „Современнике“ 1836, т. III, стр. 192—194. Печатается по этому изданию, кроме стихов 54—62, которые печатаются по автографу (перебеленный текст с поправками) и вместо которых в „Современнике“: „Вотще!“— и полторы строчки многоточий. В указанном автографе имеется дата: „7 апреля 1835. Светлое Воскресение. С.П.Б. Мятель и мороз“ (*ПД*, собрание в. к. К. К. Романова).

Стихотворение посвящено характеристике Барклая-де-Толли и вдохновлено его портретом работы Доу, находившимся в галлерее Зимнего дворца, среди портретов участников войны 1812—1814 гг. *Барклай-де-Толли*, М. Б. (1761—1818), главнокомандующий первой западной армией, в начале войны 1812 года вел тактику отступления, возбудившую недовольство в войсках и подозрение в измене. 8 августа 1812 года Барклай-де-Толли был заменен Кутузовым и поступил под его начальство.

Стихотворение „Полководец“ принято было в некоторых кругах как оскорбление памяти Кутузова и даже вызвало „критическую заметку“ Л. И. Голенищева-Кутузова, изданную отдельной брошюрой. В ответ на „заметку“ Пушкин поместил в „Современнике“ свое „Объяснение“, доказывая, что его стихотворение лишь „...заключает в себе несколько грустных размышлений о заслуженном полководце, который в великий 1812 год прошел первую половину поприща и взял на свою долю все невзгоды отступления, всю ответственность за неизбежные уроны, предоставя своему бессмертному преемнику славу отпора, побед и полного торжества... Но ужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая-де-Толли потому, что Кутузов велик? Ужели, после 25-летнего безмолвия, поэзии не дозволено произнести его имя с участием и умилением?... Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ, ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждой, язвимый злоречием, но убежденный в самом себе, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом“. В стихотворении „Художнику“ (1836) Пушкин вновь противопоставил „зачинателя Барклая“ „совершителю Кутузову“.

В рукописи вместо стт. 51—54 было:

Там устарелый вождь, как ратник молодой,
Искал ты умереть средь сечи боевой.
Вотще! Соперник твой стяжал успех, сокрытый
В главе твоей.—А ты, непризнанный, забытый,
Виновник торжества, почил — и в смертный час
С презреньем, может быть, воспоминал о нас.

84. Туча („Последняя туча рассеянной бури!“). Впервые напечатано Пушкиным в Московском Наблюдателе“ 1835, май, книж-

ка II, стр. 175. По этому изданию и печатается. Беловой автограф в *ПБЛ*. По словам Анненкова (Собр. соч. Пушкина, т. III, 1855, стр. 61), в другой рукописи, теперь неизвестно где находящейся, и «значится пометка: „13 апреля 1835“».

Стихотворение связано с тревогами личной жизни Пушкина летом 1834 года, в момент особого обострения его отношений с придворными и полицейскими кругами.

84. Из А. Шенье („Покров, упитанный язвительною кровью...“). Впервые напечатано без подписи Пушкиным в „Современнике“ 1836, том I, стр. 191. По этому изданию и печатается. На автографе (перебеленный текст) имеется дата: „20 апреля 1835“ (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова).

Близкий к подлиннику перевод стихотворения А. Шенье „Oeta, mont ennobli par cette nuit ardente“ („Эта, гора, облагороженная той пламенной ночью“), начат еще в 1825 году, но исправлен и закончен в 1835 году.

В стихотворении излагается миф о смерти Геркулеса (Алкида, т. е. внука Алкея): жена Геркулеса, Деянира, получила от кентавра, которого Геркулес смертельно ранил, рубашку, пропитанную ядом. Кентавр уверил Деяниру, что рубашка эта — талисман, вызывающий любовь и удерживающий от измены. Ревнивая Деянира послала рубашку Геркулесу. Когда Геркулес надел ее, яд причинил ему невыносимую боль; он пытался сорвать отравленную рубашку, но безуспешно. Тогда, взойдя на гору Эту, Геркулес сложил костер, лег на него и в пламени вознесся на небо, где был сопричислен к числу полубогов.

85. Странник („Однажды странствуя среди долины дикой...“). Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 183—186. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками) на листах, вошедших в составленную жандармами тетрадь (№ 2377 А *ЛБ*). В этом автографе имеется дата: „26 ию<ня?ля?> 1835“.

Стихотворение является переложением начала 1-й главы прозаического сочинения „Путешествия странника“ Джона Беньяна (1628—1688), английского сектанта-проповедника и поэта, приговоренного во время реставрации Стюартов за проповедь своего учения к двенадцатилетнему тюремному заключению. В конце XVIII и в начале XIX века Беньян пользовался популярностью в русских масонских кругах. За это время вышли три издания его „Путешествия странника“.

87. „Вновь я посетил...“ Впервые напечатано Жуковским в „Современнике“ 1837, т. V, стр. 320—322. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками) на листах, вошедших в составленную жандармами тетрадь (№ 2377 А *ЛБ*). В этом автографе имеется дата: „26 сентября 1835“.

Стихотворение, оставшееся незаконченным, написано в Михайловском.

Письмо Пушкина к жене от 25 сентября 1835 года почти дословно воспроизводит один из мотивов стихотворения: „В Михайловском нашел я всё по-старому, кроме того, что нет уже в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья“. Мысли, схожие с высказанными в наброске „Вновь я посетил...“, проскальзывают и в письме к П. В. Нащокину от октября 1835 года: „Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать и старости нечего бояться“.

В ссылке в Михайловском Пушкин жил с 9 августа 1824 года по 4 сентября 1826.

В черновой рукописи после ст. 14 следует:

Не буду вечером под шумом бури
Внимать ее рассказам, затверженным
С издетства мной, но все приятным [уху]
Как песни родины или страницы
Любимой старой книги, в [коих<?>] знаем
Какое слово где стоит.
Бывало
Ее простые речи и советы
И укоризны, полные любовью,
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой. Я тогда еще
[Был молод и ожесточен].

В другой черновой рукописи после ст. 14 следует:

И вечером — при завываньи бури —
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет, но всё приятных сердцу,
Как шум привычный и однообразный
Любимого ручья. Вот уголок,
Где для меня безмолвно протекали
Часы печальных дум иль снов отрадных,
Часы трудов, свободно-вдохновенных.
Здесь погруженный в
Я размышлял о грустных заблужденьях,
Об испытаньях юности моей,
О строгом заслуженном осужденьи,
О милой ⟨?⟩ дружбе, сердце уязвившей
Мне горькой, несмываемой ⟨?⟩ обидой.
Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал печально и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив ⟨златых⟩ и пажитей зеленых
Синея [стелется залив смиренный].

---

Ни тяжкие суда Торговли алчной,
Ни корабли, носители громов,
⟨Ему⟩ кормой не рассекают вод.
У берегов его не видит путник
Ни гавани кипящей, ни скалы,
Венчанной башнями. Оно синеет
В своих брегах пустынных и смиренных,
Меж нив златых и пажитей его.
Через его воды
Плывет рыбак... ⟨и т. д.⟩

В этой же рукописи имеется окончание стихотворения:

В разны годы
Под вашу сень, михайловские рощи,
Являлся я. Когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был
Веселым юношей, беспечно, жадно
Я приступал лишь только к жизни. Годы
Промчалися — и вы во мне приияли
Усталого пришельца. Я еще
Был молод, но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.
Утраченной в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная ⟨?⟩ младость.
И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть, и грезы мести бледной.
[Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-[утешитель]
Спасла меня, и я воскрес душой].

89. „Когда владыка ассирийский...“ Впервые напечатано Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина“ (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855, стр. 388). Печатается по автографам: в тетради (№ 2384 *ЛБ)* (первые двадцать три стиха) и в *ПД* (остальные двенадцать). В первом автографе имеется дата: „9 ноября“. Год (1835) определяется положением в тетради № 2384.

Стихотворение не закончено. Переложение первых глав библейской легенды о Юдифи, в которых повествуется о занятии ассирийским полководцем Олоферном Иудеи, не желавшей покориться власти Ассирии.

После стихов: „Стеной как поясом узорным препоясалась высота“ в рукописи зачеркнуто:

Поля преградами изрыты,
Раскаты, башни и зубцы
Как лесом копьями покрыты,
И боя молча ждут бойцы.

Ст. 22: *Ветилуя* — иудейская крепость, осажденная Олоферном.

90. На выздоровление Лукулла („Ты угасал, богач младой...“). Впервые напечатано Пушкиным в „Московском Наблюдателе“ 1835, сентябрь, книжка II, стр. 191—193. Время написания — октябрь—ноябрь 1835 года — определяется содержанием (болезнь гр. Шереметева) и датой цензурного разрешения книжки журнала (22 декабря 1835 года).

Стихотворение направлено против С. С. Уварова (1786—1855), министра народного просвещения и главы цензурного ведомства, одного из яростных гонителей Пушкина. Подзаголовок „Подражание латинскому“ придуман Пушкиным для того, чтобы обмануть бдительность цензуры. Поводом к написанию стихотворения послужила болезнь гр. Д. Н.

Шереметева и попытка Уварова, приходившегося „младому богачу“ дальним родственником, захватить будущее наследство еще до смерти больного. В феврале 1835 года Пушкин записывает в дневнике: „Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость его до того доходит, что он у детей Канкрина был на посылках... Он крал казенные дрова. Казенных слесарей употреблял на собственную работу“.

*Лукулл* — римский государственный деятель I в. до н. э., пиры и богатства которого вошли в поговорку.

92. Пир Петра Первого („Над Невою резво вьются...“). Впервые напечатано Пушкиным в „Современнике“ 1836, т. I, стр. 1—3. Стихотворение, связанное, быть может, с ожидавшеюся амнистией декабристов, датировано: „1835“ в автографе (*ПД*).

Среди записей Пушкина при чтении введения к „Деяниям Петра Великого“ Голикова находится заметка, содержание которой близко теме стихотворения: „Петр простил многих знатных преступников, пригласил их к своему столу и пушечной пальбой праздновал с ними свое примирение“.

III строфа посвящена чествованию ботика Бранта — „дедушки русского флота“, которое, по приказу Петра, должно было происходить ежегодно.

*Брант* — голландский корабельный мастер, строитель первых судов русского флота.

Ст. 28: *Карл* — шведский король Карл XII, с которым Петр I вел упорную борьбу, закончившуюся разгромом шведов в битве под Полтавой (1709).

93. „Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила...“ Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 143. Печатается по автографу (*ПД*). Датируется стихотворение предположительно 1835 годом.

93. „От меня вечор Леила...“ Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 155. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками), принадлежащему Е. В. Тарле. Датируется 1835 годом предположительно.

Стихотворение, являющееся переводом арабской песни, заимствованной Пушкиным из сборника „Mélanges de Littérature Orientale et Française“. Par J. Agoub. Paris 1835, тематически связано с антологическими произведениями, предназначенными для включения в повесть „Цезарь путешествовал...“

*Леила* — условное поэтическое имя возлюбленной.

94. „В мои осенние досуги...“ Впервые напечатано Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина“ (Собр. соч. Пушкина, т. I, стр. 343). Печатается по перебеленному автографу в тетради № 2384, где имеется дата: „16 сент.“ 1835 год определяется положением в тетради.

Набросок, написанный онегинской строфой. В рукописи сохранились еще следующие черновые строки:

Ты мне советуешь, Плетнев любезный,
Оставленный роман [наш] продолжать
[И строгий] век, расчета век железный,
Рассказами пустыми угощать.
Ты думаешь, что с целию полезной
Тревогу славы можно сочетать,
А для того советуешь собрату
Брать с публики умеренную плату.

[За каждый стих по десяти рублей,
(А за строфу приходится сто сорок),
Неужто жаль кому пяти рублей?
Пустое! Всяк то даст без отговорок!
С книгопродавца можно взять, ей-ей.]
Ты говоришь: пока Онегин жив,
Дотоль роман не кончен — нет причины
Его кончать... к тому же план счастлив.

---

Вы за „Онегина“ советуете, други,
Приняться мне опять в осенние досуги.
Вы говорите мне: он жив и не женат,
Итак, еще роман не кончен — это клад:
В [его] свободную вместительную раму
Ты вставишь ряд картин, откроешь диораму,
Привалит публика, платя тебе за вход,
Что даст еще тебе и славу и доход.

94. „На это скажут мне с улыбкою неверной...“ Впервые напе-

чатано Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина“ (Собр. соч. Пушкина т. I, 1855, стр. 193—194). Печатается по автографу (беловой текст) (*ПД*). Датируется предположительно 1835 годом, так как стихотворение написано на обороте объявления о предстоящем выходе в свет книг, среди которых — „Spectacle dans un fauteuil“ Musset и „Aloïse“ Bourgounioux“, вышедшие в 1835 году.

Набросок, тематически связанный с „Разговором книгопродавца с поэтом“ (1824) и с некоторыми сентенциями первой главы „Египетских ночей“ (1835—1836).

95. „Кто из богов мне возвратил...“ Впервые напечатано в „Сыне Отечества“ 1840, т. 22, кн. 2, стр. 250. Печатается по автографу, входящему в составленную жандармами тетрадь (№ 2377 А *ЛБ*).

Датируется предположительно 1835 годом.

Переложение VII оды 2-й книги Горация „К Помпею Вару“; с последним Гораций в республиканских легионах Брута участвовал в сражении против цезаря Октавиана-Августа при Филиппах. Ода приветствует амнистированного Помпея.

Стихи предназначались Пушкиным для включения в повесть из римской жизни „Цезарь путешествовал...“ Можно предполагать, что интерес Пушкина к VII оде Горация вызван был ожидавшейся в 1835 году амнистией декабристов.

Ст. 11: *Квирит* — римский гражданин.

Ст. 15: *Эрмий* — обычнее Меркурий, бог дорог, торговли, вестник богов.

96. Подражание арабскому („Отрок милый, отрок нежный...“). Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 154. Печатается по автографу (черновой текст) (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). Датируется предположительно 1835 годом.

Заключительные строки стихотворения заимствованы из „Гюлистана“ Саади Ширазского: „Помню, в прежнее время я и друг мой жили будто два миндальные ореха в одной скорлупе“.

В черновой рукописи стт. 3 и 4 читаются:

В край безлюдный, в степи снежны
Я готова за тобой

96. „Я думал, сердце позабыло...“ Впервые напечатано Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина“ (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855, стр. 212). Печатается по черновому автографу *ЛБ* в тетради (№ 2384). Датируется предположительно, по положению в тетради, 1835 годом.

Стихотворение вдохновлено встречей в Михайловском с Марьей Ивановной Осиповой (1820—1895), пятнадцатилетней дочерью П. А. Осиповой. В середине сентября 1835 года Пушкин писал ее сестре, своей старой приятельнице А. И. Беклешовой, упрашивая ее приехать в Михайловское:

„Я пишу к вам, а наискось от меня сидите вы сами во образе Марии Ивановны. Вы не поверите, как она напоминает прежнее время“.

Черновой вариант второй строфы:

Прошли любовные печали,
Смирились пылкие мечты...
И вот опять затрепетали,
И душу разбудила ты.

В другом черновике сохранились еще следующие строки:

Тогда ли, милая, тогда ли
Была явиться мне должна,
Когда . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . решена.

96. „Альфонс садится на коня...“ Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 205—206. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками). Датируется предположительно 1835 годом на том основании, что бумага, на которой написаны стихи, употреблялась Пушкиным в 1835—1836 гг.

Отрывок представляет собой перевод одного из эпизодов французского романа графа Потоцкого „Les trois pendus“, две части которого сохранились в библиотеке Пушкина („Avadoro. Histoire espagnole, par M. L. C. J. P., Paris 1813; „Dix journées de

la vie d'Alphonse Van-Worden", Paris 1814). Как свидетельствует кн. П. А. Вяземский, „Пушкин высоко ценил этот роман, в котором яркими и верными красками выдаются своенравные вымыслы арабской поэзии и не менее своенравные нравы и быт испанские".

Ст. 6: *Вента* — постоялый двор.

98. „На Испанию родную..." Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 177—182. Печатается по автографу на листках, вошедших в составленную жандармами тетрадь (№ 2377 А *ЛБ*). Датируется 1835 годом предположительно.

Переложение нескольких строф английской поэмы Соути „Родриг, последний из готов" (1814).

Еще в июне 1822 года Пушкин писал Н. И. Гнедичу: „Когда-то говорил он <Жуковский> мне о поэме „Родрик" Саутея; попросите его от меня, чтоб он оставил его в покое..."

Вариант черновой рукописи:

Чудный сон мне бог послал —
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне — будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
[Скоро странствию земному]
Твоему придет конец.
Уж готовит ангел смерти
Для тебя святой венец.
Путник, ляжешь на ночлеге,
В пристань, плаватель, войдешь,
[Бедный] пахарь утомленный,
Отрешишь волов от плуга
На последней борозде.
Ныне грешник тот великий,
О котором предвещенье
Слышал ты давно,
Грешник жданный
[Наконец] к тебе приидет
Исповедывать себя.
И наступит разрешенье,
И уснешь ты вечным сном.
Сон отрадный, благовещий,
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь, —
Казни вечныя страшусь,
Милосердия надеюсь.
Успокой меня, творец!
Но твоя да будет воля,
Не моя. — Кто там идет?

101. „В Академии Наук..." Впервые напечатано Гербелем (Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Берлин 1861, стр. 101). Датируется не ранее 7 марта и не позднее июня 1835 года, так как 7 марта 1835 года кн. Дондуков-Корсаков был назначен вице-президентом Академии Наук, а по показанию А. А. Краевского эпиграмма была написана не позднее июня.

Эпиграмма направлена против князя М. А. Дондукова-Корсакова (1794—1869), глупого и невежественного председателя Петербургского цензурного комитета, назначенного вице-президентом Академии Наук по протекции С. С. Уварова (см. стр. 545—546), с которым Дондуков-Корсаков находился в непозволительной связи.

102. „Что белеется на горе зеленой?" Впервые напечатано И. А. Шляпкиным в его книге „Из неизданных бумаг Пушкина", СПБ. 1903, стр. 32. Печатается по автографу *ПД*. Датируется 1835 годом предположительно.

Перевод сербской песни, напечатанной в книге „Путешествие по Далмации" Д.-Б. Фортиса (см. выше стр. 535). Песня эта была переведена до Пушкина А. Х. Востоковым.

## 1836

103. Д. В. Давыдову („Тебе певцу, тебе герою!“). Впервые напечатано в „Современнике“ 1837, т. V, стр. 313. Печатается по этому изданию. В автографе, впоследствии утраченном, имелась дата: „18 января 1836 г. Спб.“

Первый стих послания является переводом первой строки посвященного Давыдову стихотворения французского поэта Арно: „A vous poète, à vous guerrier“ (см. об этом статью „Французская Академия“ в т. V).

Стих: „Ты — мой отец и командир“ — Ответный комплимент на слова Давыдова в письме к Пушкину от 4 апреля 1834 года: „Совестно мне посылать тебе мои пустые сердечные бредни, но, если прикажешь, я исполню волю моего парнасского отца и командира“. К 1821 году относится обращенное к Давыдову стихотворение Пушкина: „Певецгусар, ты пел биваки...“ (см. т. I).

104. Художнику („Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую...“). Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 131. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками) (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). В автографе имеется дата: „25 марта 1836“.

Послание обращено к скульптору Б. И. Орловскому (1792—1833).

Статуя работы Б. И. Орловского „Сатир с цевницей“ в настоящее время находится в Русском музее в Ленинграде. Остальные перечисленные Пушкиным статуи на античные темы — исполненные Орловским копии античных образцов; памятники Барклаю-де-Толли и Кутузову (см. стр. 543), в которых Барклай изображен как „зачинатель войны“, вынимающий саблю, и Кутузов как „совершитель“, с обнаженной саблей, стоят перед Казанским собором (ныне Музей истории религий) в Ленинграде.

Воспоминание о Дельвиге в мастерской художника вызвано интересом Дельвига к вопросам пластического искусства; ему принадлежит идиллия „Изобретение ваяния“.

104. Подражание итальянскому („Как с древа сорвался предатель-ученик...“). Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841, стр. 150. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками) (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). В автографе имеется дата: „22 июня 1836. Кам. остр.“

Стихотворение является переработкой сонета итальянского поэта Франческо Джанни (1760—1822) „Sonetto sopra Guida“, основанного на евангельской легенде о самоубийстве Иуды, повесившегося после совершенного им предательства.

105. Мирская власть („Когда великое свершалось торжество...“). Впервые напечатаны: первые шесть стихов Анненковым в „Материалах для биографии Пушкина“ (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855, стр. 422), а полностью Герценом — во второй книге „Полярной Звезды“ 1856, стр. 21. Печатается по копии в тетради (№ 2395 *ЛБ*), где имеется дата: „5 июля 1836“.

Стихотворение, как свидетельствовал кн. П. А. Вяземский, написано, вероятно, по поводу того, что „в страстную пятницу в Казанском соборе стоят солдаты на часах у плащаницы“. Менее достоверна связь этих стихов с картиной К. П. Брюллова „Распятие“.

В первых шести стихах говорится о казни Христа.

106. Из Пиндемонте („Не дорого ценю я громкие права...“). Впервые напечатаны: последние пять стихов Анненковым в „Материалах для биографии Пушкина“ (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855, стр. 423), а полностью (с цензурными купюрами) им же в Собр. соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр. 50. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками) (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). В автографе имеется дата: „5 июл.“ Год написания определяется бумагой.

Стихотворение первоначально озаглавлено было в рукописи: „Из Alfred Musset“. Замена одного имени другим свидетельствует достаточно определенно о том, что самое

указание на иностранный источник фиктивно и сделано с целью ослабить внимание цензуры к стихотворению как к якобы переводному. Сделать это было не трудно хотя бы потому, что для стихов и Мюссе и Пиндемонте характерно скептическое отношение к принципам формальной демократии.

*Пиндемонте*, Ипполит (1753—1828) — итальянский поэт, с произведениями которого Пушкин познакомился еще в начале 20-х годов.

Черновой вариант начала стихотворения:

При звучных именах Равенства и Свободы,
Как будто опьянев, беснуются народы...
Но мало я ценю задорные права,
От коих не одна кружится голова.

107. „Напрасно я бегу к сионским высотам...“ Впервые напечатано Анненковым в Собр. соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр. 98—99. Печатается по черновому автографу (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). Датируется летом 1836 года по сопоставлению с находящимся на том же листке текстом стихотворения „Из Пиндемонте“, написанного Пушкиным 5 июля 1836 года.

После первого двустишия первоначально следовало:

Так ревом яростным пустыню оглашая,
По ребрам бья хвостом и гриву потрясая,

107. „Отцы пустынники и жены непорочны...“ Впервые напечатано в „Современнике“ 1837, т. V, стр. 319. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками) (*ПБЛ*, собрание кн. В. Ф. Одоевского). В автографе имеется дата: „22 июля 1836“.

Вторая половина стихотворения дает поэтическое переложение великопостной церковной молитвы „Господи, владыко живота моего“.

108. „Когда за городом, задумчив, я брожу...“ Впервые начальные два стиха и со слов „Но как же любо мне“ до конца напечатаны Анненковым в „Материалах для биографии Пушкина“ (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855, стр. 422), а полностью им же в „Современнике“ 1857, т. LXVI, отд. I, стр. 217—218. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками) (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). В автографе имеется дата: „14 авг. 1836. Кам. остр.“

В стихотворении звучит постоянный у Пушкина в последние годы его жизни мотив ухода из города в деревню. Близкие настроения и мысли высказаны в письме к жене от июня 1834 года: „Я крепко думаю об отставке... Умри я сегодня, что с вами будет! мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку“.

109. „Я памятник себе воздвиг нерукотворный...“ Впервые напечатано Жуковским в Посмертном изд., т. IX, 1841 г., стр. 121—122, с искажениями 4, 13 и 15 стихов. Печатается по автографу (перебеленный текст с поправками) в тетради (№ 2384 *ЛБ*). В автографе имеется дата: „1836 авг. 21. Кам. остр.“

Стихотворение восходит к оде Горация „К Мельпомене“, из которой взят эпиграф и которой до Пушкина подражал Державин в стихотворении „Памятник“.

Первоначальная редакция IV строфы:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу,
И милосердие воспел.

Ст. 4: *Александрийский столп* — так Пушкин назвал Александровскую колонну, памятник Александру I в Петербурге против Зимнего дворца, открытый в 1834 году.

110. „Была пора: наш праздник молодой...“ Впервые напечатано Жуковским в „Современнике“ 1837, т. V, стр. 316—317. Печатается по автографу на листах, сложенных жардармами в тетрадь (№ 2377 А *ЛБ*). Стихотворение написано не ранее октября 1836 года.

Неоконченное стихотворение является пятым из произведений, посвященных

Пушкиным дню 19 октября — годовщине открытия Царскосельского лицея. Собрание лицеистов состоялось у М. Л. Яковлева (см. о нем выше, стр. 529). Согласно отметке в протоколе и воспоминаниям друзей, Пушкин „начинал читать стихи на 25-летие лицея", но от волнения закончить чтение не мог.

Ст. 35: *Куницын*, Александр Петрович (1783—1841) — преподаватель „нравственных и политических" наук в Царскосельском лицее.

Ст. 49: *Наш Агамемнон* — Александр I, уподобленный вождю союзных греческих войск в Троянской войне.

112. На статую играющего в свайку („Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый..."). См. примечание к следующему стихотворению.

Статуя работы скульптора А. В. Логановского (1812—1855) — „Парень, играющий в свайку", выставленная в Академии художеств в 1835 году, находится ныне перед Александровским дворцом в Детском Селе.

*Дискобол* (метатель диска)—знаменитая статуя афинского ваятеля Мирона (V век до н. э.).

112. На статую играющего в бабки („Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено..."). Впервые это и предыдущее стихотворение напечатаны Пушкиным в „Художественной Газете" 1836, № 9—10, декабрь, стр. 141. По этому изданию и печатается. Время написания — конец сентября — первая половина декабря 1836 года — определяется временем открытия выставки в Академии художеств и датой цензурного разрешения № 9—10 „Художественной Газеты" (23 декабря 1836).

Статуя работы Н. С. Пименова — „Парень, играющий в бабки", выставленная вметсе с отмеченной выше работой А. В. Логановского, находится ныне перед Александровским дворцом в Детском Селе.

112. „Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит..." Впервые напечатано Бартеневым в „Русском Архиве" 1886, III, стр. 126. Печатается по автографу (*ПД*). Датируется предположительно 1834—1836 гг.

Стихотворение в рукописи сопровождается следующей программой продолжения стихов:

„Юность не имеет нужды в at home; зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу: тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню? Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь etc. Религия, смерть".

## Отрывки и наброски

### 1831

113. Из записки к А. О. Россет („От вас узнал я плен Варшавы..."). Впервые напечатано А. О. Смирновой в „Русском Архиве" 1871, № 11, стр. 1881—1882. По этому изданию и печатается.

Стихи включены были Пушкиным в его записку от середины сентября 1831 года к А. О. Россет, при посылке ей брошюры „На взятие Варшавы" (см. прим. на стр. 530) и дополнялись следующими строками: „Quand j'aurai trouvé les deux autres vers, je vous les enverrai" („Когда я подберу два другие стиха, я их вам пришлю"). О Россет см. т. I.

113. „Ну, послушайте, дети жил-был в старые годы..." Впервые напечатано Н. В. Измайловым и Б. В. Томашевским в Полном собр. соч. Пушкина, в шести томах, М. 1930, т. II, стр. 190. Печатается по автографу (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). Датируется предположительно 6 июля 1831 года, так как стихи находятся на одном листке с „Мнением митрополита Платона", именно так датированным в этом автографе.

Набросок является, возможно, началом какого-то перевода. Предварительно начато было четырехстопным хореем:

Жил был в прежни времена
Живописец беспримерный.

113. „Так старый хрыч, цыган Илья...“ Впервые напечатано по автографу В. В. Умановым-Каплуновским в статье „Собрание Э. П. Юргенсона“ (ж. „Столица и Усадьба“, № 42 от 15 ноября 1915 года, стр. 4). По этому же автографу, хранящемуся теперь в *ПД*, печатается и в настоящем издании.

Приписка Пушкина к рукописной редакции стихотворения Д. В. Давыдова „Люблю тебя как сабли лоск...“, частично использованная последним, без указания источника, при печатании стихотворения.

Датируется четверостишие предположительно 1830—1831 гг., временем частого общения Пушкина с московскими цыганами и Денисом Давыдовым.

*Цыган Илья*—Илья Осипович Соколов, управлявший цыганским хором в Москве, в 20-х—30-х годах.

113. „Два чувства дивно близки нам...“ Впервые напечатаны первые четыре стиха Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина“ (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855, стр. 346), а полностью И. А. Шляпкиным в книге „Из неизданных бумаг Пушкина“ 1903, стр. 20—21. Печатается по автографу (черновой набросок) (*ПД*). Датируется этот незаконченный набросок предположительно, — по почерку и бумаге

## 1832

114. „Желал я душу освежить...“ Впервые напечатано И. А. Шляпкиным в его книге „Из неизданных бумаг Пушкина“ 1903, стр. 70. Печатается по черновому автографу (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). Датируется 1832 годом на основании вод. зн. бумаги: „1830“ и потому, что на этом же листке находятся планы „Дубровского“.

Стихотворение связано с воспоминаниями о поездке в Арзрум в 1829 году.

## 1833

114. „В славной, в Муромской земле...“ Впервые напечатано И. А. Бычковым в „Отчете Императорской публичной библиотеки за 1889 год“, стр. 57. Печатается по автографу в записной книжке Пушкина (*ПБЛ*). Датируется срединой сентября 1833 года — по положению в записной книжке.

Набросок начала сказки об Илье-Муромце.

115. „Чу, пушки грянули! крылатых кораблей...“ Впервые напечатано в „Вестнике Литературы“ 1922, № 2—3 (38—39), стр. 6, П. Е. Щеголевым, неправильно полагавшим, что стихи относятся к „Медному всаднику“. Печатается по черновому автографу (*ПД*). Датируется октябрем 1833 года по положению стихов в другом автографе (тетрадь № 2374, л. $10_1$ *ЛБ*) среди черновиков „Медного всадника“.

Стихотворение посвящено описанию торжественного спуска вновь построенно военного корабля.

115. „Колокольчики звенят...“ Впервые напечатано Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина“ (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855, стр. 345). Печатается по черновому автографу в тетради (№ 2373, л. $30_1$ *ЛБ*). Датируется октябрем 1833 года — по положению в тетради.

Набросок стихотворения в духе народной плясовой песни.

115. „В поле чистом серебрится...“ Впервые напечатано Якушкиным в „Русской Старине“ 1884, кн. IX, стр. 644. Печатается по перебеленному автографу в тетради (№ 2374 *ЛБ*). Датируется февралем—октябрем 1833 года по положению в тетради (среди черновиков „Анджело“).

116. „Толпа глухая, крылатой новизны любовница [слепая]...“ Впервые напечатано Брюсовым в „Весах“

1907, № 1, стр. 5 и 78. Печатается по черновому автографу в тетради (№ 2365 *ЛБ*). Датировано Пушкиным: „9-го дек. 1833 СПБ. $7^1/_2$ ч. веч.“

Черновой набросок, сделанный при просмотре старой записной книжки 1822 года.

116. „Царь увидел пред собою...“ Впервые напечатано Бартеневым в „Русском Архиве“ 1881, кн. III, стр. 473. Печатается по перебеленному, с поправками автографу в искусственно сшитой жандармами тетради (№ 2375 *ЛБ*), куда лист, вырезанный Пушкиным из тетради № 2374, был вшит.

Датируется февралем — октябрем 1833 года по положению в тетради № 2374 (место листа определяется линией среза его).

Набросок переложения одного из эпизодов прозаической „Легенды об арабском звездочете“ в книге „Альгамбра“ Вашингтона Ирвинга. С этой „Легендой“ связана фабула и Пушкинской „Сказки о золотом петушке“ (см. стр. 183).

Шахматные фигурки в „Легенде“ — магические изображения вражеских войск. Волшебным шилом их можно было заставить драться или обращаться в бегство, что соответственно тотчас же отражалось и на судьбе подлинных армий.

## 1834

117. „Я возмужал [среди] печальных бурь...“ Впервые напечатано Якушкиным в „Русской Старине“ 1884, № 12, стр. 523. Печатается по черновому автографу в тетради (№ 2384, л. 23 *ЛБ*). Датируется 1835 годом по положению в тетради.

Набросок недописанного стихотворения, связанного с настроениями, нашедшими выражение в письме Пушкина от октября 1835 года к П. В. Нащокину: „Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать и старости нечего бояться“.

117. „Ты просвещением свой разум осветил...“ Впервые напечатано по (утраченному впоследствии) черновому автографу И. А. Шляпкиным в его книге „Из неизданных бумаг Пушкина“, 1903, стр. 28—30. Печатается по этому изданию. Датируется 1831—1834 гг. (бумага автографа имеет вод. зн. „1829“).

К кому обращено стихотворение, не установлено.

## 1835

118. „Если ехать вам случится...“ Впервые напечатано Якушкиным в „Русской Старине“, 1884, кн. 8, стр. 328 по черновому автографу в тетради (№ 2373, л. 30 *ЛБ*), датирующемуся, по положению, 1833 годом. Печатается по другому, перебеленному и впоследствии обращенному в черновой автографу (*ПД*), на листке, на обороте которого черновик стихотворения „Вновь я посетил“; это позволяет датировать „Если ехать вам случится“ сентябрем — октябрем 1835 года.

118. „О бедность! Затвердил я наконец...“ Впервые напечатано по черновому автографу в тетради (№ 2384, л. 58 *ЛБ*) Бартеневым в „Русском Архиве“ 1882, № 1, стр. 226; автограф датируется предположительно 1835 годом по положению в тетради. Печатается по другому черновому автографу (*ПД*).

Начало перевода драматического отрывка „Сокол“ Барри Корнуола, монолог героя Фредериго: „О бедность, пойму ли, наконец, твой горький урок!.“ и т. д.

119. „Царей потомок Меценат...“ Впервые напечатаны первые три стиха Б. Л. Модзалевским в изд. „Пушкин и его современники“ вып. XII, стр. 16, а полностью Б. В. Томашевским в книге „Не-

изданный Пушкин" 1922, стр. 102—103. Печатается по черновому автографу (*ПД*). Датируется предположительно 1835 годом.

Незаконченный и неотделанный набросок перевода I оды первой книги Горация.

*Меценат* (I век до н. э.) — римский вельможа, друг императора Августа, покровитель поэтов.

119. „О с е р д и л с я  Г е о р г и й  П⟨ет-р о в и ч⟩..." Впервые напечатано Н. В. Измайловым и Б. В. Томашевским в Полном собр. соч. Пушкина в шести томах, М. 1930, II, стр. 201—202. Печатается по черновому автографу (*ПД*). Датируется предположительно сентябрем — октябрем 1835 года, на том основании, что бумагой, на которой написан автограф, Пушкин пользовался в это время.

Черновой набросок, относящийся к „Песням западных славян". О Георгии Петровиче и Милоше Обреновиче см. „Песни западных славян".

Ст. 10: *Хотин* — город на берегу Днестра, до 1812 года принадлежавший Турции.

119. „О д н и  с т и х и  е м у  ч и т а л а..." Впервые напечатано Б. В. Томашевским в книге „Неизданный Пушкин" 1922, стр. 128. Печатается по черновому автографу (*ПД*). Датируется предположительно 1835 годом, потому что, судя по цифре жандармской пометы на автографе, последний, вероятно, лежал в рукописях Пушкина вместе с черновиками 1835—1836 годов.

120. „В [м л а д е н ч е с т в е  м о е м  б е с-с м ы с л е н н о  л у к а в о м]..." Впервые напечатано И. А. Шляпкиным в его книге „Из неизданных бумаг Пушкина" 1903, стр. 38. Печатается по черновому автографу (*ПД*). Датируется предположительно 1835 годом на основании вод. зн. бумаги „1834".

Набросок дает зарисовку внешнего образа Вольтера.

120. „П о л у ч и т  т о,  ч е г о  о н  с т о-и т..." Впервые напечатано С. М. Бонди в Полном собр. соч. Пушкина в шести томах, М. 1930, т. II, стр. 214. Печатается по черновому автографу в тетради (№ 2387 Б л. 50 *ЛБ*), сшитой жандармами. Датируется 1830—1836 гг.

Фрагменты перевода первых пяти стихов стихотворения Кольриджа „Complaint" („Жалоба"):

Как редко, друг, достойный великий человек получает в награду
Почести или богатство, несмотря на все свои достоинства и труды;
Это звучит, как сказка из страны духов,
Если кто-нибудь получает то, что он заслуживает,
Или кто-нибудь заслуживает того, что он получил.

Первый из приведенных стихов Пушкин записал по-английски в альбом Ан. Н. Вульф 2 октября 1835 года.

## 1836

120. „О т  з а п а д н ы х  м о р е й  д о  с а м ы х  в р а т  в о с т о ч н ы х..." Впервые напечатано Н. В. Измайловым и Б. В. Томашевским в Полном собр. соч. Пушкина в шести томах, М. 1930, т. II, стр. 208. Печатается по черновому автографу (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). Датируется августом 1836 года, так как находится на листе бумаги (с вод. зн. „1834"), на обороте которого написан черновик стихотворения „Я памятник себе воздвиг нерукотворный".

Наброски перевода стт. 1—4 и 188—195 десятой сатиры Ювенала, римского поэта I—II века н. э. (см. прим. к следующему наброску).

121. „Ц е н и т е л ь  у м с т в е н н ы х  т в о р е н и й  и с п о л и н с к и х..." Впервые напечатано В. Е. Якушкиным в „Русской Старине" 1884, кн. 12, стр. 527. Печатается по черновому автографу в тетради (№ 2384, л. $56_1$ *ЛБ*). Датируется августом 1836 года по связи с предыдущим стихотворением.

Набросок послания к кн. П. Б. Козловскому (1783—1840), сотруднику „Современника", переводчику и знатоку римских классиков. П. А. Вяземский пишет в некрологе

Козловского: „В литературных беседах своих с Пушкиным настоятельно требовал он от него перевода любимой своей сатиры Ювенала „Желания". И Пушкин перед концом своим готовился к этому труду." Эпитет „друг бардов английских" объясняется близким знакомством Козловского, долго жившего за границей, с английским литературным миром.

121. „З а б ы в   и   р о щ у   и   с в о б о д у..." Впервые напечатано Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина" (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855, стр. 347). Печатается по автографу (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова). Датируется, на основании бумаги и почерка, предположительно 1836 годом.

**1830-е годы**

121. „О, н е т, м н е   ж и з н ь   н е   н а д о е л а..." Впервые напечатано А. Ф. Онегиным в „Новом Времени" 1887, № 3922 от 29 января. Печатается по черновому автографу (*ПД*). Датируется на основании почерка.

122. „Н е   в и д а л а   л ь,   д е в и ц а..." Впервые напечатано Н. В. Измайловым и Б. В. Томашевским в Полн. собр. соч. Пушкина в шести томах, М. 1930, т. II, стр. 211. Печатается по черновому автографу (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова), написанному на листе бумаги с вод. зн. „1834".

122. „Д р у г   с е р д е ч н ы й   м н е   н а м е д н и   г о в о р и л..." Впервые напечатано в Полном собр. соч. Пушкина в шести томах, М. 1930, т. II, стр. 211. Печатается по черновому автографу (*ПД*, собрание Л. Н. Майкова), написанному на бумаге с вод. зн. „1830", почему и датируется 1830-ми годами.

122. „[К о н е ч н о]   п р е з и р а т ь   н е   т р у д н о..." Впервые напечатано П. В. Анненковым в „Материалах для биографии Пушкина". Печатается по черновому автографу (*ПД*). Датировке не поддается.

Упоминаемая в наброске „*Бьевриано*" — книга маркиза Бьевра „Альманах каламбуров" (1771).

## Коллективное

**1833**

123. „Н а д о   п о м я н у т ь,   н е п р е м е н н о   п о м я н у т ь   н а д о..." Впервые воспроизведено факсимильно в издании кн. П. П. Вяземского „Семь автографов Пушкина", 1880. Напечатано впервые в Полном собр. соч. Пушкина в шести томах, М. 1930, т. II, стр. 217. Печатается по автографу (*ЦА*). Датировано в автографе 26 марта 1833 года.

Стихи Пушкина — часть шуточного послания кн. П. А. Вяземского от 26 марта 1833 года к В. А. Жуковскому. Стихам предшествовали следующие строки: „Не поговорим ли о словесности, то есть о поэзии, например, о нашей с Пушкиным и Мятлевым, который в этом случае был „notre chef d'école".

Весь набор имен, данный Пушкиным, подчеркнуто случаен и объединен только рифмовкой. В нем мелькают и личные знакомые Пушкина (М. Ю. Виельгорский, С. С. Ланской, графиня Нессельроде), и исторические лица (Александр Македонский, Шиллер), и модные парикмахеры, и лейб-медик Арндт, и давно умерший кишиневский доктор Шулер и т. д. и т. п.

**1836**

126. „П о й   в   в о с т о р г е   р у с с к и й   х о р..." Впервые напечатано под заглавием „Канон" при отдельном издании нот в декабре 1836 года. Печатается по автографу (*ПД*), где датировано 13 декабря 1836 года.

Стихи написаны в честь композитора М. И. Глинки, после первого представления оперы „Жизнь за царя“, на обеде 13 декабря 1836 года у А. В. Всеволожского, I строфа написана гр. М. Ю. Виельгорским, II — кн П. А. Вяземским, III — В. А. Жуковским, IV — Пушкиным. Музыка к стихам написана кн. В. Ф. Одоевским.

# Dubia

## 1834

127. Надпись к воротам Екатерингофа („Хвостовым некогда воспетая дыра...“). Впервые напечатано А. Ф. Онегиным в „Русской Мысли“ 1881, кн. VI. Печатается по записи Пушкина в его дневнике (*ЛБ*) от 3 мая 1834 года; этой датой и определяется датировка стихотворения.

Об этой эпиграмме см. запись в дневнике Пушкина от 3 мая 1834 года: „Случилось несчастие: какая-то деревянная башня, памятник затей Милорадовича в Екатерингофе, обрушилась, и несколько людей, бывших на ней, ушиблись. Кстати вот надпись к воротам Екатерингофа“. Из контекста не ясно, свою или чужую (до этой записи, однако, нам неизвестную) эпиграмму записал Пушкин.

Граф *М. А. Милорадович* (1771—1825)— петербургский генерал-губернатор, отделавший заново в 1823—1824 гг. Екатерингофский сад. По этому поводу граф Д. И. Хвостов напечатал стишки „Майское гулянье в Екатерингофе 1824 года. Графу Милорадовичу“.

127. „За горами, за лесами...“. Впервые напечатано в „Библиотеке для Чтения“ 1834, т. 3, отд. I, стр. 214.

Этими стихами начинается сказка „Конек-Горбунок“ П. П. Ершова. По свидетельству Смирдина, издавшего сказку, они принадлежат Пушкину.

128. „К Смирдину как ни зайдешь...“ Впервые напечатано в „Библиографических Записках“ 1858, № 12, стб. 370, с пометой: „Из рукописных сборников“. По этому изданию и печатается. Предположительно датируется 1836 годом.

Эпиграмма, в автографе неизвестная, возможно принадлежит Пушкину только частично. В. А. Соллогуб, отмечая в своих воспоминаниях встречу свою с Пушкиным в книжной лавке А. Ф. Смирдина, приводит эту эпиграмму в несколько другой редакции и приписывает Пушкину только последний стих. „Я оставался у дверей и импровизировал эпиграмму:

Коль ты к Смирдину войдешь,  
Ничего там не найдешь,  
Ничего ты там не купишь,  
Лишь Сенковского толкнешь.

Эти четыре стиха я сказал входящему Александру Сергеевичу, который с необыкновенной живостью заключил:

Иль в Булгарина наступишь“.

128. „Что-то грезит Баратынский...“ Впервые напечатано Анненковым в Собр. соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр. 83. По этому изданию и печатается.

Двустишие из не дошедшего до нас послания Пушкина к друзьям записано И. Ф. Щербиной со слов Л. С. Пушкина.

# Сказки

131. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Печатается по изданию „Стихотворения Александра Пушкина“, ч. III, СПБ. 1832, стр. 130—181. Сохранился рукописный цензурный экземпляр этого тома в писарской копии, с поправками рукой Пушкина. Сопоставление рукописного и печатного текста показывает, что Пушкин внес в последний еще ряд исправлений, вследствие чего в настоящем издании положен в основу текст издания 1832 года. Так, например, ст. 432 в рукописи читается:

Так и тянет, так и носит.

Редакция издания 1832 года, несомненно, более точна, так как этот стих является точным повторением ст. 630. Аналогичное явление в стт. 399—400. В рукописи они читаются:

Ветры по морю гуляют
И кораблик подгоняют.

В печатном тексте сохранено единственное число, как и в соответствующих стт. 223—224 и 597—598, что опять, несомненно, правильно, так как здесь Пушкин применяет типичный фольклорный прием, так называемое клиширование текста.

Рукописный экземпляр сохранил вместе с тем следы отвергнутых позже вариантов, из которых некоторые представляют значительный интерес для истории и развития замысла.

Стт. 48—49 первоначально имели такую редакцию:

Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.

Вместо стт. 162—163 первоначально было:

Клёв кровавый навострил,
Кличет лебедь безотрадно...
Стало жалко и досадно
Моему богатырю —
Я те, лебедь, подарю!
Молвил он — стрела запела

Ст. 184 первоначально:

Ты волшебницу оправил

После стиха 350 было еще три стиха, позже зачеркнутых:

Там у берега морскова
Опустился он и снова
Князем стал из комара.

В ст. 830 вместо „неуказанным товаром“ („Торговали мы не даром неуказанным товаром“) первоначально было:

Всяким воровским товаром.

Других списков и черновых редакций „Сказки о царе Салтане“ не сохранилось, кроме небольшой начальной записи, внесенной в тетрадь 1828 года:

[Три девицы под окном]
Пряли поздно вечерком —
Если б я была царица
Говорит одна девица
То на весь народ одна
Наткала б я полотна —
Если б я была царица
Говорит ее сес⟨трица⟩
То сама на весь бы мир
Заготовила я пир —
Если б я была царица —
Третья молвила девица
Я для батюшки царя
Родила б богатыря.

После этого стихотворного текста следует прозаическая запись:

„Только успели они выговорить сии слова, как дверь [светлицы] отворилась — и царь вошел без доклада — царь имел привычку гулять поздно по городу и подслушивать

речи своих подданных. Он с приятной улыбкою подошел к меньшой сестре, взял ее за руку и сказал: будь же царицею и роди мне царевича; потом, обратясь к старшей и средней, сказал он: ты будь у меня при дворе ткачихой, а ты кухаркою. С этим словом, не дав им образумиться, царь два раза свистнул; двор наполнился воинами и царедворцами; серебряная карета подъехала к самому крыльцу, царь сел в нее с новою царицей, а свояченᐸицᐳ велел везти в дворец — их посадили в телеги и все поскакали".

В бумагах Пушкина сохранились еще две записи, относящиеся к данной сказке или, вернее, к ее сюжету. Одна относится к 1824 году и находится среди записей, известных под условным названием „Сказки Арины Родионовны" (см. стр. 483), другая — в кишиневской тетради 1822 года. Текст последней имеет следующее содержание:

„Царь не имеет детей. Слушает трех сестер: когда бы я была царица, то я бы [выстроила дворец] всякий день пр.... Когда бы я была царица, завела бы.... На другой день свадьба. Зависть первой жены; война, царь на войне; [царевна рождает сына], гонец etc. Царь умирает бездетен. Оракул, буря, ладья. Избирают его царем — он правит во славе — едет корабль — у Салтана речь о новом государе. Салтан хочет послать послов, царевна посылает своего поверенного гонца, который клевещет. Царь объявляет войну, царица узнает его с башни".

Запись очень схематична. Царь, умирающий бездетным,—несомненно, царь страны, в которую прибыла изгнанная царица с сыном. „Царевна рождает сына"— новая жена; второй же раз „царевной" именуется первая жена царя, а „царицей"— мать царевича.

Запись 1824 года и запись кишиневской тетради представляют собою различные версии одного сюжета.

Текст Пушкинской сказки в основном восходит к михайловской записи 1824 года, но с рядом черт и из кишиневской записи. Некоторые стихи почти дословно воспроизводят запись 1824 года: „с первой ночи понесла"; „не мышенка, не лягушку, а неведому зверюшку" и др. Мотив рождения тридцати трех богатырей Пушкиным отброшен, но сохранен в другом виде: тридцать три богатыря как братья царевны Лебеди. Из этой же записи Пушкин взял мотив кота у лукоморья, рассказывающего сказки, и ввел его в „Пролог" к „Руслану и Людмиле", первая редакция которого относится к пребыванию в Михайловском и записана на внутренней стороне переплета той же тетради. Кроме того Пушкин отбросил и другое чудо: „за морем стоит гора, и на горе два борова" и т. д., заменив его „чудесной белкой". Первый мотив очень распространен в русском фольклоре и встречается в той или иной вариации в целом ряде текстов,— что же касается мотива белки, грызущей золотые орешки с изумрудными ядрами, то его источник остается пока неясным: русскому фольклору он совершенно чужд.

Самый сюжет очень распространен как в русском, так и в мировом фольклоре.

Кроме сказки, которую знал Пушкин в устной передаче, ему, без сомнения, были известны и нерусские варианты, однако источники его в этой области пока еще трудно установить. В качестве одного из таких бесспорных источников можно назвать Галлановский перевод „Тысяча и одной ночи" („Les mille et une nuit." Contes arabes, traduits en français par Galland), в который переводчиком включена отсутствующая в арабском тексте сказка о трех сестрах. Между прочим, прозаический отрывок записи 1828 года очень близок к тексту Галлана, и весьма возможно, что последний является его источником.

В западноевропейской традиции сюжет „оклеветанной матери" известен, кроме устной, и в письменной литературе. Древнейший текст — в знаменитом сборнике Страпаролы (Straparola, „Le piacetti notti" 1550—1553), получивший широкую известность в обработке madame d'Aulnoy („Contes de fées" 1698), под заглавием: „La Princesse

Belle-Etoile". Рассказ Straparola — d'Aulnoy очень близок по содержанию и многим характерным деталям версии Галлана. Схема его такова.

Король подслушивает разговор трех сестер. Первая похваляется утолить жажду всего двора одним стаканом вина, другая — наткать на весь двор прекрасных и тонких рубашек, а третья — родить трех чудесных детей: двух мальчиков и одну девочку с золотыми волосами, с жемчужным ожерельем на шее и звездой во лбу. Король женится на младшей сестре, которая в отсутствие царя выполняет свое обещание, но завистливые сестры подменяют рожденных детей щенятами. Король приказывает заточить жену в темницу, а детей бросить в реку. Брошенных детей, однако, спасает мельник, который и воспитывает их у себя. Став юношами, они узнают, что мельник не их отец, и отправляются в столицу, где живет король. Позже они добывают три чуда: танцующую воду, поющее яблоко и зеленую птичку-прорицательницу. В поисках этих чудес они претерпевают различные приключения, превращаются в камни и т. д. Их освобождает сестра, и добытая ею зеленая птичка позже открывает королю всю правду.

Версии d'Aulnoy и Galland'a были, бесспорно, известны Пушкину. В „Сказке о царе Салтане" очень сильны и черты западноевропейской авантюрной повести; весьма вероятно, что они отражены не непосредственно, а через лубочные повести. Заглавие у Пушкина выдержано определенно в стиле заглавий лубочных повестей, например: „Сказка полная о славном, сильном, храбром и непобедимом витязе Бове-Королевиче и о прекраснейшей супруге его королевне Дружневне". Из лубочной же сказки о Бове заимствовано и имя Гвидона; имя Салтана могло бы быть заимствовано оттуда, но оно имеется и в тексте записи 1824 года и в более ранней. „Бабариха"— из сборника Кирши Данилова („Добро ты баба, баба-бабариха..." и т. д., изд. 1818 года, стр. 392).

Написана „Сказка о царе Салтане" летом 1831 года в Царском Селе; об окончании ее Пушкин сообщил П. А. Вяземскому в письме от 3 сентября.

157. Сказка о попе и о работнике его Балде. Печатается по автографу. В автографе помета: „13 сент."; таким образом, окончательное завершение „Сказки о Балде" относится к сентябрю 1831 года. Новейшая попытка—датировать эту сказку 1830 годом не представляется убедительной. Сказка была широко известна в литературных кругах (об этом свидетельствует ряд прямых указаний в письмах Гоголя, Комовского и др.), но при жизни Пушкина не могла быть напечатана вследствие цензурных препятствий. Впервые была опубликована только в 1840 году В. А. Жуковским („Сын Отечества" 1840, т. III, № 5), но с большими изменениями и с заменой „попа" „купцом": вместо „поп—толоконный лоб"—„купец Кузьма Остолоп, по прозванию осиновый лоб". Это вызвало соответственный ряд изменений и в заглавии и в тексте: вместо „попадья"—„хозяйка", „поповна" — „дочка", „попенок" — „сынок"; заглавие: „Сказка о купце Кузьме Остолопе".

В таком виде сказка вошла и во все последующие издания.

Подлинный текст впервые был опубликован П. А. Ефремовым (в издании 1882 года), однако с целым рядом ошибок, которые и были исправлены Якушкиным („Русская Старина" 1884).

В автографе имеется ряд отвергнутых первоначальных вариантов.

Ст. 45—46: „Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив"— первоначально имел менее общую форму и более приближался к сказочному источнику:

Попадья была баба догадливая,
На всякие хитрости повадливая.

Иную редакцию имели и заключительные строки:

С первого щелка
Вскочили шишки у старика,
Со второго щелка
Лишился поп языка,
А с третьего щелка
Брызнул мозг до потолка.

Ст. 187 до окончательного исправления имел еще промежуточные редакции:

Замер дух у старика.

и

Вышибло дух у старика.

Источником этой сказки послужила сказка, записанная самим же Пушкиным (см. стр. 486). Текст ее представляет соединение различных мотивов, объединенных тремя основными темами: 1) батрак на службе у хозяина, 2) состязание с чортом и 3) лечение царской дочери. Присоединение последнего мотива довольно необычно для этого типа сказок и является индивидуальной особенностью сказителя, у которого записан Пушкиным этот текст. Чутьем художника Пушкин сразу распознал неорганичность такого соединения и совершенно отбросил в своей обработке последний мотив.

В русской сказочной традиции эти темы полнее всего представлены в сборнике Афанасьева (№№ 88—89). Имеется ряд позднейших записей, еще более приближающихся к сказкам Пушкина, но очень возможно, что позднейшие записи сами сложились под влиянием Пушкинского текста, как это неоднократно наблюдается и в других сказках. Этот сюжет очень распространен в мировом фольклоре.

В русских текстах в роли хозяина обычно выступает поп, что придает этим сказкам особенную социальную остроту; это, несомненно, отчетливо осознал Пушкин, выбрав этот сюжет и освободив его от ряда деталей, находившихся в тексте, который послужил ему источником. Из других деталей Пушкин отбросил: поручение привести из леса медведя, прием оброка в бездонную шапку, бегство попа и некоторые другие. Вместе с тем, это единственная из сказок Пушкина, которая опирается всецело на русскую народную сказку и для которой единственным источником послужил записанный им текст.

От прочих Пушкинских сказок „Сказка о Балде“ значительно отличается стихом, который применил здесь Пушкин. Стих этот, как правильно отметил еще Л. Поливанов, представляет „образец того силлабического стиха, которым писались сатирические эпизоды на подписях под лубочными картинами“ („Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики“, изд. Л. Поливанова, М. 1904, т. II, стр. 228).

162. Сказка о рыбаке и рыбке. Печатается по тексту выправленного Пушкиным для нового издания экземпляра „Стихотворений Александра Пушкина“, ч. IV. СПБ. 1835, стр. 75—86.

Первоначально напечатана в „Библиотеке для Чтения“ 1835, т. X, отд. I, стр. 5—11. Черновой автограф с пометой в конце текста: „14 окт. 1833. Болдино“. Текст этот имеет большое значение, так как дает возможность проследить развитие замысла сказки и точно установить ее источники. Помимо многочисленных мелких разночтений, в нем имеется один эпизод, совершенно отсутствующий в тексте сказки, впервые разобранный С. М. Бонди в 1929 году.

После строк, соответствующих в окончательном тексте ст. 109, в черновике следует:

Проходит другая неделя,
Вздурилась оп<ять его старуха>,
Отыскать мужика приказала —
Приводят старика к царице.
Говорит старику старуха:
Не хочу <быть вольною царицей>,
А <хочу быть римскою папой>.
Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слово молвить,
Пошел он к с<инему морю>;
Видит: бурно черное море,
Так и ходят сердитые волны,
Так и воют воем зловещим.
Стал <он кликать золотую рыбку>.

———

Добро будет она Римскою <папой>

———

Воротился старик к старухе.
Перед ним монастырь латинский,
На стенах [латинские] монахи
Поют латынскую обедню

———

Перед ним вавилонская башня.
На самой на верхней на макушке
Сидит его старая старуха,
На старухе сарочинская шапка,
На шапке венец латынский,
На венце ⟨*нрзбр.*⟩ * спица
На спице [Строфилус] птица,
Поклонился старик старухе,
Закричал он голосом громким:
Здравствуй, ⟨ты, старая⟩ баба,
Я чай твоя душенька довольна?
Отвечает глупая старуха:
Врешь ты, пустое городишь,
[Совсем] душенька моя недовольна:
Не хочу я бы⟨ть⟩ Рим⟨скою папой⟩.
А хочу быть, владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтобы служила мне рыбка золотая
И была бы у меня на посылках.

Этот эпизод и некоторые дополнительные детали чернового текста дают исчерпывающий ответ об источнике сказки. Прежние исследователи считали, что в основе лежит текст русской сказки, непосредственно воспринятой Пушкиным от какого-нибудь сказителя или от Арины Родионовны. Но русская сказочная традиция не знает золотой рыбки в этом сюжете. Рыбку в русских сказках заменяет чудесное дерево, заколдованная береза, птичка, коток-золотой лобок, святой, живущий в дереве, грош.

В ответ на последнее требование следует превращение в животных, причем наказаны оба: не только старуха, но и старик. Они превращаются в медведя и медведицу, в быка и свинью, в двух свиней, в кота и кошку.

Единственным исключением из этой традиции является сказка, приведенная у Афанасьева (№ 39), имеющая то же заглавие и взятая, очевидно, из собрания Даля. Эта сказка абсолютно близка к Пушкинскому тексту, вследствие чего рядом исследователей было высказано предположение, что эта сказка и есть тот вариант, который слышал в свое время Пушкин, тем более, что она была в распоряжении Даля, который и мог сообщить ее Пушкину. Эта гипотеза подтверждалась как будто и тем, что у Даля, по свидетельству П. И. Мельникова, находилась подаренная ему Пушкиным рукопись сказки о рыбаке и рыбке с надписью:

*Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому сказочник Александр Пушкин*

В этом видели ясное указание на источник Пушкинской сказки. Однако текст Афанасьевской сказки настолько близок к сказке Пушкина, что следует признать обратную зависимость. Сказка Афанасьевского сборника, как это впервые высказал В. Майков („Журнал Мин. нар. просвещения" 1892, V), является не чем иным, как прозаическим пересказом Пушкинской сказки, вошедшей через книгу в крестьянскую среду и там записанной.

Сказка Пушкина примыкает к западноевропейским версиям этого сюжета; приведенный же выше эпизод о „римской папе" позволяет совершенно точно указать в качестве прямого источника померанскую сказку „Рыбак и его жена" (De Fischer un sine Fru"), помещенную в знаменитом сборнике братьев Гриммов. Схема Пушкинской сказки вполне соответствует, за небольшими отклонениями, Гриммовской сказке. У Гриммов старик вытаскивает из воды камбалу; старуха заставляет старика просить у камбалы сначала хорошую избу, затем замок; потом последовательно она делается королем, императором, папой и наконец желает стать богом, после чего старик и старуха снова оказываются в прежней лачужке.

В черновом тексте имеется еще ряд деталей, отчетливо указывающих на источник. В Гриммовской сказке старуха так выражает свое желание быть богом: она не может перенести, что солнце и луна всходят и заходят без ее позволения. В черновике Пушкина первоначально было:

Не хочу я быть Римскою папой,
А хочу быть владычицей солнца,

* Первоначально было написано „серебряная", зачеркнуто и заменено не поддающимся чтению словом. С. М. Бонди предлагает читать „тонкая".

В ответ на последнюю просьбу камбала отвечает: „Ступай домой, она опять сидит в дрянной лачуге“. В черновике первоначально было:

Золотая рыбка нырнула,
Промолвя . . . . . . . .
Ступайте вы оба в землянку.

Затем эти строчки зачеркнуты и заменены:

Рыбка хвостом по воде плеснула
Да нырнула в синее море.

Наконец, вполне соответствует немецкой сказке мотив последовательного усиления волнения моря при каждом новом требовании. В русской сказке такой прием вообще отсутствует.

Таким образом, устанавливается ряд очень характерных и убедительных совпадений, позволяющих установить прямую зависимость Пушкинской сказки от Гриммовского текста.

Из деталей Пушкинского текста у Гриммов отсутствует: мотив корыта (первое требование в сказке Гримма: новый дом), наименование рыбки „золотая рыбка“ (у Гриммов— „камбала“, причем камбала сообщает, что она заколдованный принц) и, наконец, последнее: Пушкин значительно усилил мотив покорности мужа. В сказке Гриммов он только покорный муж, не смеющий ослушаться приказов жены и пользующийся вместе с нею дарами чудесной рыбы, — у Пушкина старик совершенно отделяется от старухи, чем достигается бо́льшая художественная и психологическая глубина.

Исследователи неоднократно указывали на близкую связь сказки Пушкина и Гриммовского сборника. В. В. Сиповский уже категорически говорил о сказке Гриммов как об источнике Пушкина („Пушкин и его современники“, вып. IV, стр. 81, 83), но в пушкиноведческой литературе это не встретило признания. Основным возражением являлась ссылка на незнание Пушкиным немецкого языка. Однако нужно считать эту ссылку совершенно несостоятельной: в распоряжении Пушкина был ряд путей для знакомства со сборником братьев Гриммов. В частности, посредником мог явиться Жуковский, превосходно знавший этот сборник и неоднократно переводивший из него стихами и прозой. Это знакомство могло относиться к 20-м годам. Наконец, в 1830 году Пушкин получил возможность ознакомиться непосредственно с частью этого сборника благодаря вышедшему французскому переводу избранных сказок Гриммов: „Vieux contes pour l'amusement des grands et des petits enfants“, Paris. A. Boulland [1830]. Имя Гриммов, однако, не названо ни на титульном листе, ни в тексте и не упомянуто в предисловии переводчика. Это издание находилось и в библиотеке Пушкина.

Немецкий текст (во французской передаче) Пушкин переключил в план русской сказки. Первоначально Пушкин, как это показывают черновики, еще более заострял и подчеркивал черты национального колорита. Так, например, он хотел перенести действие на озеро Ильмень. Ст. 1 первоначально имел следующую редакцию:

На Ильмене на славном озере

Ст. 32 в черновой редакции был:

А рыбка-то говорила по русски

Стт. 130 — 132:

Я тебе госпожа и дворянка,
Я дворянка, а ты мой оброчный крестьянин.

На последнем листе чернового автографа есть еще пометка — после даты и обозначения места написано: „18 песня сербская“. Эта запись послужила источником упорно державшегося мнения, будто Пушкин хотел включить „Сказку о рыбаке и рыбке“ в цикл „Песен западных славян“. Это—несомненное недоразумение, возникшее отчасти и вследствие близости принятого Пушкиным в этой пьесе размера стиха к размерам „Песен западных славян“. Запись же является чисто случайной пометкой, никак не связанной с самим текстом.

168. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Печатается по изданию „Стихотворения Александра Пуш-

кина“, ч. IV, СПБ. 1835, стр. 13—41. Первоначально напечатано в „Библиотеке для Чтения“, 1834, ч. II, отд. I, стр. 1—17.

Автограф черновой, но совершенно законченной редакции (начиная с 64 ст.), находящийся ныне в Берлинской библиотеке, опубликован И. А. Шляпкиным („Русская Старина“, 1893, кн. I, стр. 225—240); на нем пометка: „Болдино, 4 ноября 1833 г.“. Кроме того, черновые наброски — в *ЛБ*. От печатного текста берлинский автограф отличается рядом разночтений, довольно значительных по количеству, но мало существенных по содержанию. Концовка в этой редакции имела такой вид:

И никто такого пира
Не видал с начала мира.
Сказка — ложь; да нам урок,
А иному — и намек.

Последние два стиха в несколько измененной редакции Пушкин перенес позже в „Сказку о золотом петушке“.

Источником этой сказки обычно считают записанную самим Пушкиным сказку на этот же сюжет (см. стр. 489), однако запись Пушкина начинается только с изложения второй части: с момента блуждания царевны в лесу. Первая часть — рождение царевны, зависть мачехи, волшебное зеркало — в Пушкинской записи отсутствует. Вообще сюжет „Мертвой царевны“ в русской сказочной традиции имеет иной вид. В целом ряде случаев он связан с сюжетом оклеветанной девушки, причем русские сказки, как правило, ничего не говорят о рождении царевны; мотив соперничества в красоте дается обычно как мотив соперничества родной дочери и падчерицы; исключением является невероятно путаная многосюжетная сказка из сборника Ончукова „Елена Прекрасная и мачеха“ и у Зеленина „Про Елену-красоту, золоту косу“, но в обоих случаях не исключена возможность позднейшего влияния Пушкинского текста. Сказка же Пушкина, так же, как и „Сказка о рыбаке и рыбке“, восходит всецело к Гриммовской сказке „Schneewitchen“, с которой Пушкин был знаком по ее французскому переводу (см. прим. к предыдущей сказке), где она имеет заглавие: „Boule de neige“ (в русском переводе — „Белоснежка“). Сказка Пушкина не только дает в основном ту же последовательность событий, но сохраняет ряд деталей, из которых многие совершенно чужды русской традиции. Особенно характерным для немецкой сказки является самый мотив „белоснежки“, мотив рождения девочки: царица сидит у окна, шьет и смотрит на падающий снег, укалывает палец, капли крови падают на снег и т. д. У Пушкина — царица смотрит целые дни на вьюгу. Еще более прозрачно в реплике царицы:

Вишь какая подросла!
И не диво, что бела:
Мать беременна сидела
Да на снег лишь и глядела!

В берлинском автографе:

Мать брюхатая сидела

В полном соответствии с Гриммовской сказкой дана у Пушкина и смерть матери. У Гриммов царица умерла, как только родилась дочь. У Пушкина ночью царица рождает дочь, рано утром возвращается отец, утром („к обедне“) царица умирает. У Гриммов героиня приходит в замок семи гномов, в записи Пушкина — к двенадцати богатырям. Пушкин заменяет в сказке гномов богатырями, как в его записи, но сохраняет число — семь. Все же прочие, типичные для волшебной сказки, детали записанного им варианта он отбрасывает (вражда с другими богатырями, оставление платка, сапог, шапки, которые должны намокнуть кровью в случае смерти героев и т. д.).

Отклонение от своего источника Пушкин сделал в образе королевича Елисея. И немецкая и русская сказка не знают царевича-жениха. В сказочной традиции: царевич случайно натыкается на гроб, видит в нем девушку, влюбляется в нее и т. д. Но мотив поисков возлюбленной или возлюбленного очень распространен в западноевропейской традиции, в частности в сказках, собранных Гриммами. Из их сборника Пушкин заимство-

вал и такую деталь, как обращение к солнцу, месяцу и ветру. Последняя деталь заимствована из сказки „Der singende-springende Löweneckerchen“ — во французском переводе озаглавлено: „La Belle et le prince Lion“, где молодая королева отыскивает своего мужа, превращенного в белого голубя. Следует отметить еще одну деталь: в записи Пушкина царевну хоронят „в гробнице, натянутой золотыми цепями к двум соснам“; у Гриммов — карлики кладут царевну в стеклянный гроб, пишут на нем золотыми буквами ее имя и поднимают гроб на высокую гору. Пушкин сочетает оба источника: он берет у Гриммов стеклянный (хрустальный) гроб и высокую гору, но сохраняет цепи русской сказки, заменяя их только чугунными.

Кроме Гриммовской сказки и собственной записи, Пушкин был знаком с этим сюжетом и по имевшемуся в его библиотеке сборнику сказок „Старая погудка на новый лад или полное собрание древних простонародных сказок, издана для любителей оных. Иждивением московского купца Ивана Иванова“, часть вторая, М. 1795. Некоторые детали Пушкинской сказки, по всей вероятности, восходят к этому источнику.

Собственных имен и географических названий в этой сказке очень мало. Имя „Чернавка“— чрезвычайно распространено в русском фольклоре и лубке. Пушкин мог его заимствовать и из лубочного издания „Бовы“, и из сборника Кирши Данилова. Имя королевича Елисея, вероятнее всего, не связано ни с каким источником.

183. С к а з к а о з о л о т о м п е т у ш к е. Первоначально напечатана в „Библиотеке для Чтения“, 1835, кн. IX, № 16, отд. I, стр. 111—117, а затем в издании: „Стихотворения Александра Пушкина“, ч. IV, СПБ. 1835, стр. 59—92; по последнему тексту печатается в настоящем издании, с восстановлением по беловому автографу цензурных пропусков в ст. 60 („Царствуй, лежа на боку!“) и двух заключительных:

Сказка ложь, да в ней намек:
Добрым молодцам урок.

По этому же автографу печатаются ст. 102 („Помолясь Илье-пророку“) и 202 („Но с царями плохо вздорить“), так как в печатном тексте явное смягчение текста из цензурных соображений. В предыдущих изданиях эти стихи имеют следующую редакцию:

Ст. 102:

Сам не зная быть ли проку:

Ст. 202:

Но с иным накладно вздорить;

Ст. 60 и два последних в прежних изданиях заменены были, по требованию цензуры, точками. Пушкин отметил это в своем дневнике (февраль 1835), снабдив замечанием: „Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова“.

В беловом автографе пометка: „Болдино, 20 сент. 1834, 10 ч. 53 м.“.

Источником „Сказки“ послужила, как это выяснено А. А. Ахматовой, сказочная новелла американского писателя Вашингтона Ирвинга, опубликованная в книге его „The Alhambra“, вышедшей в 1832 году в Лондоне. Пушкину она была известна по вышедшему в том же году французскому переводу: „Les contes d'Alhambra, précédés d'un voyage dans la province de Grenade“, Paris 1832, vol. I—II (*А. Ахматова*, Последняя сказка Пушкина, „Звезда“, 1933, № 1). Это издание находилось и в библиотеке Пушкина.

Основное содержание книги составляет цикл новелл о кладах и две сказки пародийного типа — одна из них „Легенда об арабском звездочете“. Пушкин сохраняет в основном всю сюжетную схему Ирвинга; наиболее значительным отклонением является только эпизод с сыновьями: у Ирвинга ситуация иная, более простая. Воины короля Абен-Габуза, отправляющиеся на поиски врага, обнаруживают в горах готскую принцессу, которую и приводят к Абен-Габузу; иной характер носит у Ирвинга и развязка: после отказа царя в просьбе звездочета последний проваливается вместе с принцессой, а золо-

той талисман перестает действовать; у Пушкина же царь Дадон убивает звездочета и гибнет сам от петушка, после чего исчезает и шамаханская царица.

Впервые Пушкин творчески заинтересовался этим сюжетом в 1833 году. К этому году относится набросок: „Царь увидел пред собой" (см. стр. 116), являющийся первоначальной редакцией первого замысла „Сказки о золотом петушке". При дальнейшей работе этот эпизод совершенно выпал.

Измененный в печатной редакции ст. 202 („Но с царями плохо вздорить") подвергался Пушкиным неоднократной переработке. Первоначально он был написан в этой редакции; затем в черновой рукописи заменен стихом:

Но с могучим плохо вздорить

В беловой рукописи Пушкин, однако, возвращается к первой редакции, которую позже заменяет приведенной выше редакцией печатного текста. Запрещенная цензурой концовка перенесена Пушкиным из первоначальной редакции „Сказки о мертвой царевне" (см. выше, стр. 563).

Что касается общего значения „Сказки о золотом петушке", то А. А. Ахматова полагает, что в основе сказки лежат моменты автобиографического и политического порядка. В центре — ссора с царем из-за невыполненного обещания, что направлено против Николая I и имеет в основе факты личной биографии Пушкина. В облике же обленившегося царя отразились, кроме того, черты Александра I. „В образе Дадона, — пишет А. А. Ахматова, — могли отразиться два царя, из которых один Пушкина „не жаловал", а другой „под старость лет упек в камерпажи". Однако это толкование может быть принято только как гипотетическое и требует основательной проверки. Исходя из этой гипотезы, А. А. Ахматова, а за ней и А. Л. Слонимский (А. Пушкин, „Сказки", изд. „Молодая Гвардия", 1933) объясняют эпитет „шамаханский" как намек на присоединение к России Шемахи, происшедшее в 1820 году; но это — старинный эпитет, заимствованный Пушкиным, вероятнее всего, из сборника Кирши Данилова. В черновиках этот эпитет первоначально был применен к звездочету, который носил название „шамаханского мудреца". К русским книжным источникам восходит и имя царя Дадона, заимствованное из сказки о Бове.

189. ⟨„Как весенней, теплою порою..."⟩ Печатается по черновому, неоконченному тексту автографа (*ЛБ*), датируемому самым началом 1830-х гг.; первоначально было разобрано и опубликовано в 1855 году П. В. Анненковым (Собр. соч. Пушкина, т. II, стр. 116), с рядом значительных ошибок, которые частично устранены В. Е. Якушкиным („Русская Старина", 1884, кн. X) и затем позднейшими редакторами (М. А. Цявловским, С. М. Бонди, Б. В. Томашевским). Некоторые строки в тексте не поддаются чтению и расшифровываются предположительно.

Ст. 26: точки, обозначающие пропущенное слово в четыре буквы, поставлены самим Пушкиным. Анненков напечатал: „брюхо", которое потом и было повторено в позднейших изданиях.

Ст. 73 обычно печатается:

Приходила ласочка-дворяночка.

Очевидно, в данном случае подразумевается описка Пушкина; однако для такого предположения нет никаких оснований. Существует старинная форма: „ластка", „ласточка", которая сохранилась и по сию пору в некоторых диалектах. У Георги в главе о шаманском языческом законе читаем: „У идолов висят всегда шкурки с ласточек, горностаев и других зверков" (*И. Г. Георги*, Описание всех обитающих в Российском государстве народов..., ч. III, СПБ. 1779, стр. 108).

Из отвергнутых, зачеркнутых вариантов следует в качестве наиболее значительных указать:

Ст. 34:

Что повыше пупа, ниже сердечушка.

Ст. 35:

Он валил ее на сыру землю

Ст. 70:

У него-то лапы загребистые

Ст. 76:

Приходил тут купчик горностаюшка

Между этим стихом и последующим ранее было:

Приходил тут игумен, байбак.

Ст. 77 обычно печатался: „приходил скоморох-ярыжка горностаюшко“, однако это было основано на неправильном понимании черновой записи Пушкина; правильное чтение предложено Б. В. Томашевским, которому мы и следуем в данном издании.

По характеристике Вс. Миллера, в этой сказке можно видеть „такое же художественное собрание в один фокус народных красок, запечатлевшихся в богатой памяти поэта, как в прологе к „Руслану и Людмиле“ (*Вс. Миллер*, Пушкин как поэт-этнограф, М. 1899, стр. 49). К этому следует добавить только, что воспринято это было не непосредственно из живого фольклора, а через печатные источники. Вс. Миллер назвал в качестве одного из источников „известную во многих записях старину о птицах и зверях, содержащую характеристику более тридцати представителей животного царства, в котором крестьянин находил все знакомые ему лица — боярина (лебедя), стряпчего (ястреба) и т. д.“ (там же, стр. 49). Указание Вс. Миллера безусловно правильно, но Пушкин, вероятнее всего, был знаком с этим „сказанием“ по тексту известного сборника Чулкова („Собрание старинных разных песен“, СПБ. 1770—1773). В первой части этого сборника напечатана песня:

Протекало теплое море,
Слеталися птицы стадами...
и т. д.,

представляющая собой вариант упомянутого сказания, или старины, о птицах. Стт. 35—43 имеют у Чулкова следующую редакцию:

Чирята на море крестьяне,
Воробьи на море холопя,
Везде воробейко срывает,
Бит воробейко не бывает;
Лебеди на море князи,
Лебедушки на море княгини;
Желна у нас на море трубачей,
Ворон на море игумен,
Живет он всегда позадь гумен...
и т. д.

Последние два стиха (ср. в тексте стт. 81—82 и зачеркнутый вариант между стт. 76 и 77) разрешают совершенно бесспорно вопрос об источнике.

Вопрос о других источниках во всей полноте остается пока открытым, можно только указать на некоторые. Ст. 26 несомненно навеян сборником Кирши Данилова:

Схватал его медведь-ат,
Зачал драти,
И всего ломати,
И смертно коверкать,
И . . . . выел.

(„Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым...“, М. 1818, стр. 400.)

Последние два стиха заимствованы из старинной песни об еже:

Ох, бедный еж, горемычный еж,
Ты куды ползешь, куды ежишься?
(Песенник 1780, ч. IV, стр. 174.)

# Поэмы

## Руслан и Людмила

Печатается по тексту „Поэм и повестей Александра Пушкина“, СПБ. 1835.

Сохранились отрывки черновой рукописи поэмы в „Лицейской тетради“ Пушкина (№ 2364 *ЛБ*); рукописи Эпилога находятся также в „Записной книжке 1820—1822 гг.“. (Публ. библ. РСФСР им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде).

Поэма напечатана впервые в 1820 году отдельной книжкой, под заглавием „Руслан и Людмила. Поэма в шести песнях. Соч. А. Пушкина. Санктпетербург, 1820“. Два отрывка из поэмы были напечатаны раньше в журналах. В „Невском Зрителе“ за 1820 год (т. I, март) был помещен рассказ Финна под заглавием: „Отрывок из первой песни поэмы Руслан и Людмила“; начинался он стихом: „Руслан на мягкий мох ложится“ и сопровождался следующим пояснением: „Руслан едет отыскивать свою молодую супругу, похищенную волшебником Черномором, находит старого пустынника, который открывает ему будущее и приглашает ночевать в своей пещере“. В „Сыне Отечества“ за тот же 1820 год, в №№ 15 и 16 помещена была почти вся третья песнь поэмы (начиная со стиха „Уж утро хладное сияло“).

Текст журнальных публикаций почти совпадает с текстом издания 1820 года, исключая несколько мелких разночтений и опечаток.

Вскоре после выхода в свет отдельного издания поэмы в „Сыне Отечества“ за 1820 год, № 38 были помещены две поправки к поэме и Эпилог („Так мира житель равнодушный“).

Второе издание поэмы вышло в 1828 году („Руслан и Людмила. Поэма Александра Пушкина. Издание второе, исправленное и умноженное. Санктпетербург. 1828“). Здесь впервые появилось вступление к первой песне: „У лукоморья дуб зеленый“, написанное, как можно думать, в 1824 году; кроме того, внесен в текст ряд мелких изменений и сделано несколько сокращений. Три из этих сокращений вызваны были, несомненно, упреками критики в „непристойности“ поэмы и имели целью освободить поэму от наиболее нескромных мест.

Третий раз при жизни Пушкина поэма была напечатана в первой части „Поэм и повестей Александра Пушкина, СПБ., 1835“. Текст ее здесь (кроме опечаток) совпадает с текстом издания 1828 года. Этот текст и взят для настоящего издания, но в него внесены из издания 1820 года три указанные выше места; мы считали необходимым это сделать, поскольку мотивы, по которым их выпустил из второго и третьего издания Пушкин, для нас теперь значения не имеют; между тем, выпущенные куски очень характерны для общей концепции этой шутливо-эротической поэмы Пушкина.

Второе издание „Руслана и Людмилы“ (1828) Пушкин сопроводил предисловием, где иронически процитировал главнейшие несочувственные отзывы критики, вызванные первым появлением поэмы в печати.

Вот это предисловие:

### Предисловие

Автору было двадцать лет от роду, когда кончил он Руслана и Людмилу. Он начал свою поэму, будучи еще воспитанником Царскосельского лицея, и продолжал ее среди самой рассеянной жизни. Этим до некоторой степени можно извинить ее недостатки.

При ее появлении в 1820 году тогдашние журналы наполнились критиками более

или менее снисходительными.* Самая пространная писана г. В** и помещена в „Сыне Отечества“. Вслед за нею появились вопросы неизвестного. Приведем из них некоторые.

Начнем с первой песни. Commençons par e commencement.***

„Зачем Финн дожидался Руслана?

„Зачем он рассказывает свою историю, и как может Руслан в таком несчастном положении *с жадностью внимать рассказы* (или по-русски *рассказам*) старца?

„Зачем Руслан *присвистывает*, отправляясь в путь? Показывает ли это огорченного человека? Зачем Фарлаф с своею трусостию поехал искать Людмилы? Иные скажут: затем, чтобы упасть в грязный ров: et pui on en rit et cela fait toujour plaisir.****

„Справедливо ли сравнение, стр. 46, которое вы так хвалите? Случалось ли вам это видеть?*****

„Зачем маленький карла с большою бородою (что, между прочим, совсем не забавно) приходил к Людмиле? Как Людмиле пришла в голову сгранная мысль схватить с колдуна шапку (впрочем, в испуге чего не наделаешь?), и как колдун позволил ей это сделать?

„Каким образом Руслан бросил Рогдая, как ребенка, в воду, когда

Они схватились на конях;
. . . . . . . . . . . .
Их члены злобой сведены;
Объяты, молча, костенеют, и проч.?

Не знаю, как Орловский нарисовал бы это.

„Зачем Руслан говорит, увидевши поле битвы (которое совершенный hors d'oeuvre),* зачем говорит он:

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?..
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Зачем же, поле, смолкло ты
И поросло *травой забвенья*?..
Времен от вечной темноты,
Быть может, нет и мне спасенья! и проч.?

„Так ли говорили русские богатыри? И похож ли Руслан, говорящий *о траве забвенья и вечной темноте времен*, на Руслана, который чрез минуту после восклицает *с важностью сердитой*:

Молчи, пустая голова!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Хоть лоб широк, да мозгу мало!
Я еду, еду не свищу,
А как наеду, не спущу!
...Знай наших! и проч.?

„Зачем Черномор, доставший чудесный меч, положил его на поле, под головою брата? Не лучше ли было взять его домой?

„Зачем будить двенадцать спящих дев и поселять их в какую-то степь, куда, не знаю как, заехал Ратмир? Долго ли он пробыл там? Куда поехал? Зачем сделался рыбаком? Кто такая его новая подруга? Вероятно ли, что Руслан, победив Черномора и пришед в отчаяние, не находя Людмилы, махал до тех пор мечом, что сшиб шапку с лежащей на земле супруги?

„Зачем карла не вылез из котомки убитого Руслана? Что предвещает сон Руслана? Зачем это множество точек после стихов:

Шатры белеют на холмах?**

„Зачем, разбирая Руслана и Людмилу, говорить об Илиаде и Энеиде? Что есть об-

* Одна из них подала повод к эпиграмме, приписываемой К***⟨рылову⟩:

Напрасно говорят, что критика легка;
Я критику читал Руслана и Людмилы;
Хоть у меня довольно силы,
Но для меня она ужасно как тяжка.

*Примечание Пушкина*

** А. Ф. Воейковым.

*** Начнем с начала.

**** К тому же при этом смеются, а это всегда приятно.

***** См. стр. 215—216 настоящего издания.

* Посторонний, вставной эпизод.

** Эти точки стояли в первом издании вместо стихов 148—153, что было исправлено Пушкиным в № 38 „Сына Отечества“ за 1820 г.

щего между ними? Как писать (и кажется серьезно), что речи Владимира, Руслана, Финна и проч. нейдут в сравнении с Омеровыми? Вот вещи, которых я не понимаю и которых многие другие также не понимают. Если вы нам объясните их, то мы скажем: cuiusvis hominis est errare: nullius, nisi insipientis, in errore perseverare (Philippis, XI', 2)".*

Tes pourquoi, dit le Dieu, ne finiront jamais. **

Конечно, многие обвинения сего допроса основательны, особенно последний. Некто взял на себя труд отвечать на оные. Его антикритика остроумна и забавна.

Впрочем, нашлись рецензенты совсем иного разбора. Например, в Вестнике Европы, № 11, 1820 г. мы находим следующую благонамеренную статью:***

„Теперь прошу обратить ваше внимание на новый ужасный предмет, который, как у Камоэнса Мыс бурь, выходит из недр морских и показывается посреди океана российской словесности. Пожалуйте, напечатайте мое письмо: быть может, люди, которые грозят нашему терпению новым бедствием, опомнятся, рассмеются и оставят намерение сделаться изобретателями нового рода русских сочинений.

„Дело вот в чем: вам известно, что мы от предков получили небольшое бедное наследство литературы, т. е. *сказки* и *песни* народные. Что о них сказать? Если мы бережем старинные монеты, даже самые безобразные, то не должно ли тщательно хранить и остатки словесности наших предков? Без всякого сомнения. Мы любим воспоминать всё, относящееся к нашему младенчеству, к тому счастливому времени детства, когда какая-нибудь песня или сказка служила нам невинною забавой и составляла всё богатство познаний. Видите сами, что я не прочь от собирания и изыскания русских сказок и песен; но когда узнал я, что наши словесники приняли старинные песни совсем с другой стороны, громко закричали о величии, плавности, силе, красотах, богатстве наших старинных песен, начали переводить их на немецкой язык, и наконец так влюбились в *сказки* и *песни*, что в стихотворениях XIX века заблистали *Ерусланы* и *Бовы* на новый манер, то я вам слуга покорный.

„Чего доброго ждать от повторения более жалких, нежели смешных лепетаний?.. Чего ждать, когда наши поэты начинают пародировать *Киршу Данилова?*

„Возможно ли просвещенному, или хоть немного сведущему человеку терпеть, когда ему предлагают новую поэму, написанную в подражание *Еруслану Лазаревичу?* Извольте же заглянуть в 15 и 16 № „Сына Отечества". Там неизвестный пиит *на образчик* выставляет нам отрывок из поэмы своей *Людмила и Руслан* (не Еруслан ли?). Не знаю, что будет содержать целая поэма; но образчик хоть кого выведет из терпения. Пиит оживляет мужичка сам с ноготь, а борода с локоть, придает ему еще бесконечные усы (С. От. стр. 121), показывает нам ведьму, шапочку невидимку и проч. Но вот, что всего драгоценнее: Руслан наезжает в поле на побитую рать, видит богатырскую голову, под которою лежит меч-кладенец; *голова* с ним разглагольствует, сражается... Живо помню, как всё это, бывало, я слушал от няньки моей; теперь на старости сподобился вновь то же самое услышать от поэтов нынешнего времени!.. Для большей точности, или чтобы лучше выразить всю прелесть *старинного* нашего песнословия, поэт и в выражениях уподобился Ерусланову рассказчику, например:

...Шутите вы со мною —
Всех *удавлю* вас бородою!..

Каково?

...Объехал голову кругом
И стал *пред носом* молчаливо.
*Щекотит* ноздри копием...

---

* Каждому человеку свойственно ошибаться; только глупцу — упорствовать в ошибке (XII Филиппика Цицерона).

** Твои „почему", сказал бог, никогда не кончатся

*** М. Т. Каченовского.

Картина, достойная Кирши Данилова! Далее: чихнула голова: за нею и эхо *чихает*... Вот, что говорит рыцарь:

Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу...

Потом витязь ударяет *в щеку* тяжкой *рукавицей*... Но увольте меня от подробного описания и позвольте спросить: если бы в московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях, и закричал бы зычным голосом: *здорово, ребята!* Неужели бы стали таким проказником любоваться? Бога ради, позвольте мне, старику, сказать публике, посредством вашего журнала, чтобы она каждый раз жмурила глаза при появлении подобных странностей. Зачем допускать, чтобы плоские шутки старины снова появлялися между нами! Шутка грубая, не одобряемая вкусом просвещенным, отвратительна, а нимало не смешна и не забавна. Dixi".*

Долг искренности требует также упомянуть и о мнении одного из *увенчанных, первоклассных отечественных писателей,*** который, прочитав Руслан и Людмилу, сказал: я тут не вижу ни мыслей, ни чувства; вижу только чувственность. Другой (а может быть и тот же) увенчанный, первоклассный отечественный писатель приветствовал сей опыт молодого поэта следующим стихом: Мать дочери велит на эту сказку плюнуть.

12 февраля 1828 г.

Поэма начата еще в лицее, в 1817 году, окончена в 1820. Сохранившиеся черновики поэмы (беловик до нас не дошел) указывают на большую работу, проделанную Пушкиным над текстом. В черновых заметках о своих произведениях, написанных в 1830 году, Пушкин писал о своей поэме:

„Руслана и Людмилу вообще приняли благосклонно: кроме одной статьи в Вестнике Европы, в которой побранили весьма неосновательно, и весьма дельных вопросов, изобличающих слабость создания поэмы, кажется, не было об ней сказано худого слова. Никто не заметил даже, что она холодна. Обвиняли ее в безнравственности за некоторые слегка сладострастные описания, за стихи, мною выпущенные во втором издании:

О страшный вид! волшебник хилый
Ласкает сморщенной рукой etc...

за вступление, не помню, которой песни:

Напрасно вы в тени таились etc...

и за пародию „Двенадцати спящих дев".* За последнее можно было меня пожурить порядком, как за недостаток эсфетического чувства. Непростительно было (особенно в мои лета) пародировать, в угождение черни, девственное поэтическое создание. Были прочие упреки, довольно пустые. Есть ли в Руслане хоть одно место, которое в вольности шуток могло быть сравнено с шалостями хоть, например, Ариоста, о котором поминутно твердили мне? Да и выпущенное мною место было смягченное подражание Ариосту".

Приведем главнейшие разночтения издания 1820 года и журнальных публикаций, сравнительно с нашим текстом.

Первая песнь

После ст. 398 — „Герой, я не люблю тебя" — в „Невском Зрителе" и в издании 1820 года следовало:

Руслан, не знаешь ты мученья
Любви, отверженной навек.
Увы! ты не сносил презренья.
И что же, странный человек!
И ты ж тоскою сердце губишь.
Счастливец! ты любим, как любишь.
К чему рассказывать, мой сын и т. д.

Вместо ст. 437 — „В мечтах надежды молодой..." и следующих — в „Невском Зрителе" и в издании 1820 года было:

* Я кончил.

** И. И. Дмитриев.

* Пушкин имеет в виду эпизод Ратмира в замке „милых отшельниц" (IV песнь поэмы), являющийся шутливо-эротической пародией поэмы Жуковского „Двенадцать спящих дев".

В надежде сладостных наград,
В восторге пылкого желанья,
Творю поспешно заклинанья.
Зову духов — и виноват! —
Безумный, дерзостный грабитель,
Достойный Черномора брат,
Я стал Наины похититель.
Лишь загадал — во тьме лесной
Стрела промчалась громовая и т. д.

### Вторая песнь

После ст. 20—„Сердиться глупо и грешно“— в издании 1820 года следовало:

Ужели бог нам дал одно
В подлунном мире наслажденье?
Нам остаются в утешенье
Война и музы и вино.

Ст. 231—„Вы знаете, что наша дева“— и следующие внесены из издания 1820 года (см. выше, стр. 567). В изданиях 1828 и 1835 годов они заменены следующими:

Три девы, красоты чудесной,
В одежде легкой и прелестной
Княжне явились, подошли и т. д.

После стт. 338—339:

Повсюду роз живые ветки
Цветут и дышут по тропам,

в издании 1820 года следовало:

Усеянным песком алмазным;
Игривым и разнообразным
Волшебством дивный сад блестит.
Но безутешная Людмила и т. д.

После ст. 361 — „И дале продолжала путь...“— в издании 1820 года следовало:

О люди, странные созданья!
Меж тем, как тяжкие страданья
Тревожат, убивают вас,
Обеда лишь наступит час —
И вмиг вам жалобно доносит
Пустой желудок о себе
И им заняться тайно просит.
Что скажем о такой судьбе?
И ты прекрасная Людмила,
По солнцу бегая с утра, и т. д.

### Четвертая песнь

Стт. 7—8:

Их замыслы не так ужасны
Мужьям, девицам молодым

в издании 1820 года шли в обратном порядке; далее следовало:

Не прав Фернейский злой крикун!*
Все к лучшему: теперь колдун
Иль магнетизмом лечит бедных
И девушек худых и бледных,
Пророчит, издает журнал —
Дела, достойные похвал!
Но есть волшебники другие и т. д.

Стт. 52—53:

И что ж? возможно ль? нам солгали!
Дерзну ли истину вещать? и т. д.—

внесены из издания 1820 года; в изданиях 1828 и 1835 годов этот шутливый выпад против Жуковского сокращен следующим образом:

И что ж? возможно ль? нам солгали!
Но правду возвещу ли я?..
Младой Ратмир, направя к югу
Нетерпеливого коня, и т. д.

Ст. 330 — „О страшный вид! волшебник хилый“ — и следующие внесены из издания 1820 года; в изданиях 1828 и 1835 годов это место сокращено:

О страшный вид: волшебник хилый
Ласкает дерзостной рукой
Младые прелести Людмилы!
Ужели счастлив будет он?
Чу... вдруг раздался рога звон и т. д.

### Пятая песнь

После стт. 286—287:

И брату хладным языком
Укор невнятный лепетала...

в издании 1820 года следовало:

В руках Руслана чародей
Томился в муках ожиданья,

* Вольтер, осмеявший в повести „Кандид“ философию безусловного оптимизма с ее формулой „все к лучшему в этом лучшем из миров“.

И князь не мог отвесть очей
От непонятного созданья...
Но головы в тот самый час
Кончалось долгое страданье и т. д.

Шестая песнь

Вместо стт. 142—143:

Весь Киев новою тревогой
Смутился. Клики, шум и вой

и следующих, в издании 1820 года было напечатано:

Весь Киев новою тревогой
Смутился! Клики, шум и вой
Повсюду разнеслись. Граждане
Бегут, стеснились на стенах
И видят: в утреннем тумане
Шатры белеют на холмах...
. . . . . . . . . . . .
Но в это время вещий Финн и т. д.

Кроме того во всей поэме в издании 1820 года и в журнальных публикациях вместо „карла", „с карлой" и т. д. было „карло", „с карлом" и т. д.

Приведем из черновой рукописи наиболее крупные отрывки, не вошедшие в печатный текст или замененные другим текстом.

Вариант вступления к V песни:

Как я люблю мою княжну,
Мою прекрасную Людмилу,
В печалях сердца — тишину,
Невинной страсти огнь и силу,
Затеи, ветренность, покой,
Улыбку сквозь немые слезы
И с этим юности златой
Все нежны прелести, все розы...
Бог весть — увижу ль наконец
Моей Людмилы образец —
Но с нетерпеньем ожидаю
Судьбою данной⟨?⟩ мне княжны
(Подруги милой, не жены,
Жены я вовсе не желаю).
[Но] вы, Людмилы наших [дней],
Поверьте [совести моей],
[Душой открытой] вам желаю
Такого точно жениха,
Какого здесь изображаю
По воле рифмы и стиха.

В III песни после стихов:

Времен от вечной темноты
Ужели нет и мне спасенья —

шло:

Ужель со мною в тишине
Моих ⟨побед⟩ погибнут звуки
И                не будут мне
Завидовать младые внуки?
Что нужды! друг души моей,
Людмила, ангел незабвенный,
Воспомнив взор твоих очей,
Пускай умру, молвой забвенный,
Твоей любовию блаженный.

Наконец, в VI песне, к описанию нашествия печенегов в черновике относится следующий отрывок:

Злосчастный град! Увы! Рыдай!
Твой светлый опу⟨стеет край⟩ ⟨?⟩
Ты будешь бранная пустыня.
Где грозный, пламенный Рогдай?
И где Руслан? и где Добрыня?
Кто Князя-Солнце оживит?

П. I, ст. 60: *Лель* — по фантастическим представлениям ученых и писателей XVIII — начала XIX века — бог любви у древних славян.

П. II, ст. 308: *Князь Тавриды* — князь Г. А. Потемкин-Таврический, государственный деятель и фаворит Екатерины II, обставлявший свою жизнь необыкновенной пышностью.

П. II, ст. 325: *Фидий* — древнегреческий скульптор (V в. до н. э.), произведения которого являются одной из вершин античного искусства.

П. II, ст. 467: *Орловский* Александр Осипович (1777—1832) — художник, рисовавший главным образом военные сцены.

П. III, ст. 12: *Зоил* — александрийский ученый филолог III века до н. э. Имя его сделалось обозначением придирчивого критика.

П. III, ст. 18: *Климена, Дельфира, Лида, Дорида*—вымышленные условные имена,

не обозначающие никаких живых лиц. Обращение к ним у Пушкина является чисто литературным приемом.

П. IV, ст. 17: *Поэзии чудесный гений* и след.—говорят о поэме Жуковского (названного „северным Орфеем") „Двенадцать спящих дев" (две части — „Громобой" и „Вадим"), сентиментально-благочестивый сюжет которой Пушкин вышучивает и пародирует в дальнейших стихах.

П. IV, ст. 147: *Омер* — французское произношение имени Гомера, автора „Илиады" и „Одиссеи".

П. IV, ст. 151: *Парни*, Эварист-Дефорж (1753—1814) — французский поэт, любовные стихотворения которого оказали влияние на поэзию молодого Пушкина.

П. IV, стт. 180—181:

*Как лицемерная Диана*
*Пред милым пастырем своим.*

Пушкин намекает на древнегреческий миф об Эндимионе, карийском пастухе, спящем в гроте вечным сном. К нему каждый вечер спускается с неба Диана (богиня луны и охоты) и проводит с ним ночь.

П. IV, ст. 298: *Так Лемноса хромой кузнец* и след.— Пушкин имеет в виду древнегреческий миф о Гефесте (или Вулкане), боге подземного огня, живущем на острове Лемносе, хромом уроде, но искусном кузнеце. Его жена, богиня красоты Афродита (или Венера, другие ее имена — Цитерея, Киприда), изменила ему с богом войны Ареем (Марсом). Он подстерег их на месте преступления, запутав в железную сеть.

П. V, ст. 10: *Дельфира* и ст. 239: *Лида* — см. выше, стр. 572.

П. VI, ст. 1: *Ты мне велишь, о друг мой нежный*... и след. К кому относятся эти стихи, неизвестно. Есть предположение, что они имеют чисто литературный характер и не подразумевают никакого определенного лица.

П. VI, ст. 238: *На стогнах тишина боязни. Стогны*—площади (церковнославянское слово).

В Эпилоге, написанном уже на юге, Пушкин вспоминает об угрожавшей ему ссылке в Сибирь или в Соловки за революционные стихи и о помощи друзей (Чаадаева, Карамзина и др.), добившихся замены отдаленной ссылки или тюрьмы высылкой на юг.

Об имени *Дорида* в ст. 7 — см. выше стр. 572.

## Кавказский пленник

Печатается по тексту „Поэм и повестей Александра Пушкина" 1835, с устранением цензурных искажений.

Сохранились следующие рукописи поэмы: беловик (с многочисленными поправками) начала самой ранней редакции поэмы, тогда еще носившей название „Кавказ"— в „Записной книжке 1820—1822 гг." (Публ. Библ. РСФСР им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде); черновик поэмы — в той же записной книжке; наконец, три беловика всей поэмы с поправками и переделками („Первая Кишиневская тетрадь" в *ЛБ*, № 2365; „Чегодаевская рукопись" в *ПД*; „Гнедичевская рукопись" в *ПБЛ*).

В первый раз поэма напечатана в 1822 году отдельной книжкой („Кавказский пленник, повесть. Соч. А. Пушкина. СПБ. 1822"); здесь текст напечатан с рядом цензурных искажений: совершенно переделаны были Н. И. Гнедичем (которому поручил Пушкин издание поэмы) стихи „Посвящения", говорящие о „гонении", „погибели" и т. д., стихи „Свобода! Он одной тебя" и т. д. были выпущены самим Пушкиным, кроме того ряд отдельных стихов и слов был изменен частью Пушкиным, частью

Гнедичем по непосредственному требованию цензуры (см. об этом в письмах Пушкина к Гнедичу за 1822 год и к Вяземскому 14 октября 1823 года).

В 1823 и затем в 1824 г. Пушкин хотел выпустить второе издание поэмы, для чего приготовил несколько мелких поправок текста (см. письмо к Вяземскому 14 октября 1823 года и к брату 13 июня 1824 года), однако это издание не состоялось.*

Второе издание поэмы вышло в 1828 году („Кавказский пленник. Повесть Александра Пушкина. Второе исправленное издание". СПБ.) со следующим предисловием:

„Предисловие

Сия повесть, снисходительно принятая публикою, обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному изображению Кавказа и горских нравов. Автор также соглашается с общим голосом критиков, справедливо осудивших характер пленника, некоторые отдельные черты и проч."

В этом издании были исправлены некоторые из цензурных искажений (но не все), а также внесены некоторые из предполагавшихся для издания 1823—1824 гг. поправок (также не все).

Третий раз „Кавказский пленник" при жизни Пушкина был напечатан в первой части „Поэм и повестей Александра Пушкина" 1835; здесь текст ничем, кроме опечаток и пунктуации, не отличается от текста второго издания.

В настоящем издании устранен ряд цензурных искажений: так, „Посвящение" печатается по рукописи Пушкина, присланной Гнедичу в 1822 году, и по тексту поправок, сообщенных Пушкиным в письме к В. П. Горчакову, вставлены стихи „Свобода! Он одной тебя..." и т. д. по Чегодаевской рукописи. Кроме того мы включили две поправки, предложенные Пушкиным в письмах к Вяземскому и к брату (см. выше), но не попавшие в издание 1828 и 1835 годов: „Вперял он любопытный взор" и „Пещеры влажная прохлада". Вряд ли Пушкин, готовя издание 1828 года, отверг эти придуманные им четыре года назад и очень удачные варианты; гораздо вероятнее, что он, не записав их в свое время нигде, кроме писем, просто не вспомнил их.

„Кавказский пленник" написан Пушкиным в течение второй половины 1820 и начала 1821 года, на это указывают пометки в рукописях поэмы: в „Записной книжке 1820—1821 гг.", где записана самая ранняя редакция начала поэмы, на заглавном листе есть пометка: „Юрзуф. Август" (в Гурзуфе Пушкин был в августе — сентябре 1820 года); в первом беловике „Кавказского пленника" в конце поэмы поставлена дата: „23 февраля", а после эпилога, написанного Пушкиным несколько позже,—дата: „Одесса. 1821. 15 мая".

Приводим дополнения к тексту из беловых рукописей:*

Первая часть

После ст. 70:

Родился он среди снегов,
Но в нем страстей таился пламень.
В минуты счастья сын пиров,
Во дни гоненья хладный камень (*Ч*)

После ст. 200:

Бродя в горах порой ненастной
В ночные грозные часы,
Любил он ветров вой ужасный
И бурь суровые красы,
Когда под ним дымились тучи,
В степи <?> взвивался прах летучий,
Пустынный сумрачный предел
Вдруг <?> оглашался ревом гула,
И дождевой ручей кипел,
И на скале ловец аула
Под влажной буркою сидел. (*К*)

* В 1824 г. литератор и цензор Е. И. Ольдекоп, переиздавая немецкий перевод „Кавказского пленника", сделанный А. Е. Вульфертом, присоединил к нему весь русский подлинник целиком. Попытки Пушкина бороться с этим литературным мошенничеством были безуспешны.

* „Первая Кишиневская тетрадь (К), „Чегодаевская рукопись" (Ч) и „Гнедичевская рукопись" (Г).

После ст. 336:

Когда черкесы молодые
С ковшами полными в руках
Пируют, сидя на коврах,
Он внемлет гимны боевые:
Они поют войны, князей,
Поют измену, поединок
И смертный сон богатырей
На лоне мстительных грузинок.
Они поют ужасный час,
Когда с победою кровавой
На негодующий Кавказ и т. д.* (*К*)

После ст. 356:

Когда роскошных дев веселья
Младыми розами венчал
И жар безумства и похмелья
Минутной страсти посвящал. (*Ч*)

Вторая часть

После ст. 63:

В те дни когда холмы, дубравы,
Девичий взор, веселий шум,
Дары любви, желанья славы
Еще пленяли жадный ум. (*Г*)

После ст. 155:

Заря на знойный небосклон
За днями новы дни возводит,
За ночью ночь вослед проходит,
Любовницы не видит он.
Окованный в горах он бродит,
Забыли очи легкий сон.
Задумчивый, воссев у брега,
Напрасно жаждет он побега:
Он скован, цепь его тяжка,
Быстра глубокая река...
Мелькнет ли серна меж горами,
Проскачет ли во мгле сайгак,
Шумя прибрежными кустами,
Он ждет — не крадется ли казак
и т. д. (*К*)

Вместо ст. 269:

Рука с рукой, унынья полны —

* См. Эпилог, куда потом Пушкин перенес эти стихи.

и следующих —

Его томительную негу
Вкусила тут она вполне.
Потом рука с рукой ко брегу
Сошли — и русской в тишине
Ревущей вверился волне.
Плывет и быстры пенит волны.
Живых надежд и силы полный,
Желанных скал уже достиг,
Уже хватается за них — и т. д. (*Г*)

Окончание „Эпилога“ после ст. 54:

Смирились вы — утихли брани!
И там, где прежде только лани
За вами пробегать могли,
Торжественно, при клике славы,
Князья заоблачной державы
Мы наше знамя провели. (*Г*)

Приведем также несколько отрывков из черновой рукописи. Несколько стихов в начале первой песни:

Он раб. Усталою главой
К земле чужой припал он снова
[Как будто] [в ней] от скорби злой
Искал приюта гробового.
Не льются слезы из очей,
В устах сомкнутых нет роптанья.
В душе, рожденной для страстей
Стеснил он гордые ⟨?⟩ страданья ⟨?⟩
он видит лишь ⟨?⟩ одно:
Погиб! мне рабство суждено.

Стихи в описании черкешенки:

Она томилась, тосковала,
Задумчиво подруг бежала,
[Не пела] песен круговых
И на черкесов молодых
С улыбкой глаз не подымала.

Два наброска к описанию черкесов:

1

Оружья смерти путник ищет,
Готовит грозному конец.
Раздался выстрел — но свинец
По воздуху жужжит и свищет —
И дикой невредим.

2

Черкес хватает лук ⟨заветный⟩;
[Стрела] взвилась — и в ⟨след за ней⟩,
Приют оставя незаметный,
Убийца скачет средь полей.

Не включенный в окончательный текст кусок речи пленника:

Несчастный друг! зачем не прежде
Явилась ты моим очам,
В те дни как верил я надежде
И упоительным мечтам?
Но поздно, поздно, неба ярость
Меня преследует, разит.
Души ⟨?⟩ безвременная старость
Во цвете лет меня мертвит.
Вот скорбный след любви несчастной,
Душевной бури след ужасный.
Во цвете невозвратных дней
Минутной бурною порою
Утраченной весны моей,
Плененный жизнью молодою,
Не зная света и людей,
Я верил счастью: в упоеньи
Летели дни мои чредой, ⟨?⟩
И сердце, полное мечтой,
Дремало в милом заблужденьи.
Я наслаждался — блеск и шум
Пленяли мой беспечный ум,
Веселье чувства увлекало,
Но сердце втайне тосковало ⟨?⟩
И чуждое младых пиров
К иному счастью призывало.
Услышал я неверный ⟨зов⟩ —
Я полюбил — и сны младые
Слетели с изумленных вежд.
С тех пор исчезли дни златые,
С тех пор не ведаю надежд *
О милый друг — когда б ты знала,
Когда б ты видела черты
[Неотразимой] ⟨?⟩ красоты —
Когда б ты их воображала...
Но нет... словам не передать ⟨?⟩
Красу души ее прелестной,
О если б мог я рассказать ⟨?⟩
Ее ⟨*нрзбр.*⟩ звук чудесный.
Ты плачешь? но зачем об ней
Тревожу я воспоминанья?
Увы, тоска без упованья
Осталась от ⟨?⟩ любви моей ⟨?⟩
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Как часто в тишине ⟨*нрзбр.*⟩,
Когда я негой упоенный
Твое дыханье тихо пью,
Из [мрака] лик ее выходит
И тайную тоску наводит
На [душу] мрачную мою.
Она мне враг — [веселье], радость,
Восторги, сладкий дар небес,
Души пленительную младость —
Любви всё в жертву я принес.

* Другой вариант вместо последних четырех стихов:

Безумец! я любви желал —
Другой не признавая власти —
И скоро час ее настал.
Я полюбил — мятежной страсти
⟨*Я*⟩ пламень [роковой] познал.

„Кавказский пленник“ в первом и во втором изданиях был посвящен Н. Н. Раевскому, другу Пушкина, который еще в Петербурге, по словам Пушкина, оказал ему „важные услуги, вечно для него незабвенные“ (см. намеки на это в „Посвящении“). В его семействе (отец—генерал, участник войны 1812 года, мать, брат Александр, сестры, в одну из которых Пушкин был влюблен) Пушкин провел на Кавказе и в Крыму первые месяцы своего изгнания (май — сентябрь 1820 года).

В эпилоге упоминаются имена русских генералов, завоевателей Кавказа: кн. П. Д. Цицианов, убитый в Баку (1806); П. С. Котляревский, тяжело раненный во время штурма крепости Ленкорань (1813), вышедший тогда же в отставку и живший затем у себя в имении (ум. в 1851 году), страдая от полученных ран („в язвах чести вкушаешь праздный ты покой“); А. П. Ермолов (см. о нем в „Путешествии в Арзрум“ и в примечаниях к этому произведению) вел самостоятельную, решительную завоевательную политику на Кавказе, проявляя крайнюю жестокость по отношению к кавказским горцам.

Обещая (в „Эпилоге“) рассказать „повесть дальных стран, Мстислава древний поединок“, Пушкин намекал на свою работу над поэмой „Мстислав“ в 1822 году (сохранились планы ее — см. стр. 477—478).

Пушкин несколько раз отрицательно отзывался о своем „Кавказском пленнике“. В черновике письма к Гнедичу 29 апреля 1822 года он писал: „Недостатки этой повести, поэмы или чего вам угодно, так явны, что я долго не мог решиться ее напечатать. Простота плана близко подходит к бедности изобретения; описание нравов черкесских * не связано ни с каким происшествием и не что иное, как географическая статья или отчет путешественника. Характер главного лица (а всего-то их двое) приличен более роману, нежели поэме, да и что за характер? Кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в каких-то несчастиях неизвестных читателю? Его бездействие, его равнодушие к дикой жестокости горцев и к прелестям кавказской девы могут быть очень естественны, но что тут трогательного? Легко было бы оживить рассказ происшествиями, которые сами собой истекали из предметов. Черкес, пленивший моего русского, мог быть любовником его избавительницы, мать, отец и брат ее могли бы иметь каждый свою роль, свой характер — всем этим я пренебрег, во-первых, от лени, во-вторых, от того, что разумные эти размышления пришли мне на ум тогда, как обе части моего „Пленника“ были уже кончены,— а сызнова начать не имел я духа“.

В. П. Горчакову он писал (в 1822 году):

„Характер моего пленника неудачен; это доказывает, что я не гожусь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19 века. Конечно, поэму приличнее было бы назвать „Черкешенка“— я об этом не подумал.

Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести; но всё это ни с чем не связано и есть истинный hors d'oeuvre. * Вообще я своей поэмой недоволен и почитаю ее гораздо ниже Руслана, хотя стихи в ней зрелее...“

Эти отзывы о поэме не мешали Пушкину в других случаях отстаивать ее против слишком придирчивой критики друзей; он пишет Вяземскому (в феврале 1823 года): „Ты говоришь, душа моя, что он сукин сын за то, что не горюет о черкешенке — но что говорить ему? „Всё понял он“ — выражает всё: мысль об ней должна была овладеть его душою и соединиться со всеми его мыслями — это, разумеется, иначе быть нельзя: не надобно всё высказывать — это есть тайна занимательности.** Другим досадно, что пленник не кинулся в реку вытаскивать мою черкешенку. Да, сунься-ка! я плавал в кавказских реках, — тут утонешь сам, а ни чорта не сыщешь; мой пленник умный человек, рассудительный, он не влюблен в черкешенку— он прав, что не утопился...“

Есть и другие высказывания Пушкина, говорящие о том, что он, несмотря ни на что, всё же любил свою первую лирическую поэму. В черновом письме Гнедичу, вслед за приведенными критическими замечаниями, Пушкин пишет:

„Вы видите, что отеческая нежность не ослепляет меня насчет „Кавказского пленника“, но, признаюсь, люблю его, сам не зная за что, в нем есть стихи моего сердца. Черкешенка моя мне мила, любовь ее трогает душу“. В „Путешествии в Арзрум“ (1829), описав свое прибытие в Ларс, он добавляет: „Здесь нашел я измаранный список „Кавказского пленника“ и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Всё это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно...“

* Далее зачеркнуто: „самое сносное место во всей поэме“.

* Посторонний эпизод.

** Позже (в письме 14 октября 1823 г.) Пушкин писал тому же Вяземскому о конце поэмы: „Теперь я согласен в том, что это место писано слишком в обрез, да силы нет ни исправить, ни прибавить“.

## Гавриилиада

При жизни Пушкина напечатано не было. По неисправным спискам впервые напечатано в сборнике „Русская потаенная литература XIX столетия“. С предисловием Н. Огарева, Лондон 1861.

Рукописей поэмы не сохранилось. Существует ряд списков, главным образом поздних (почти все — не ранее 50-х годов), с множеством ошибок и искажений. Лучший текст (на основании сравнительного изучения списков) дан Б. В. Томашевским в II томе издания Гослитиздата 1935 г. Этот текст положен в основу настоящего издания, с рядом отступлений в тех случаях, когда чтение других списков казалось более правильным.

Судя по сохранившемуся в тетрадях Пушкина наброску плана поэмы — „Святой дух призвав Гавриила открывает ему свою любовь и производит в сводники [Гавриил влюблен] Сатана и Мария“, — который по положению в тетради датируется 6 апреля 1821 года, — „Гавриилиада“ написана Пушкиным в апреле 1821 года, тотчас после окончания „Кавказского пленника“ (эпилог к которому был написан даже позже — в мае того же года).

Заглавие поэмы — „Гавриилиада“, повторяющееся во всех списках, в сущности не очень подходит к содержанию и стилю поэмы; оно звучит пародией названий героических поэм: „Энеиды“, „Генриады“, „Лузиады“, „Петриады“ и т. п. Между тем, в самой поэме следов такой пародии нет. В одном письме к А. Бестужеву (Марлинскому) Пушкин говорит о каком-то „Благовещении“, — возможно, что это и есть подлинное название „Гавриилиады“.*

Сделанный Пушкиным список поэмы был послан им в сентябре 1822 года П. А. Вяземскому. Этот список позже Вяземский завещал своему сыну сжечь. Есть сведения, что сын его П. П. Вяземский не уничтожил этого списка; до сих пор, однако, он не обнаружен.

„Гавриилиада“ пародирует известный евангельский рассказ о „благовещении девы Марии“ и об изгнании из рая первых людей. Вот евангельский текст:

„Послан был ангел Гавриил от бога в город галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосиф, из дома Давидова; имя же деве Мария. Ангел, вошед к ней, сказал: радуйся, благодатная Мария, господь с тобою: благословенна ты между женами. Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у бога; и вот зачнешь во чреве и родишь сына и наречешь имя ему Иисус... Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ: дух святой найдет на тебя и сила всевышнего осенит тебя; ...тогда Мария сказала: се раба господня; да будет мне по слову твоему. И отошел от нее ангел“ („Евангелие от Луки“, гл. I, стт. 26—38).

„Грехопадение“ Адама и Евы в Библии рассказано так:

„Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал господь бог. И сказал он жене ⟨т. е. Еве⟩: подлинно ли сказал бог: не ешьте ни от какого дерева в саду?

И сказала жена змею: плоды с дерев в саду мы можем есть; но от плодов дерева, которое среди сада, сказал бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.

И сказал змей жене: нет, не умрете, потому что знает бог, что когда вы вкусите от них, то откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно дерево для созерцания; и взяла пло-

* Пушкин пишет (в письме от 13 июня 1823 г.) о „Елисее“, комической поэме В. Майкова, и прибавляет: „Тебе кажется более нравится благовещение, однако ж „Елисей“ смешнее, следовательно, полезнее для здоровья“.

дов его и ела; и дала также мужу своему ⟨Адаму⟩ с собою и он ел.

И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание...“ („Книга Бытия“, гл. III, стт. 1—7).

Пародируя Евангелие и Библию, Пушкин следовал Парни и Вольтеру, в антирелигиозных произведениях которых („Les galanteries de Bible“, „La Guerre des Dieux“ и „Le paradis perdu“* Парни и статья Вольтера „Messie“ в „Dictionnaire Philosophique“ **) находится не мало параллелей к тексту „Гавриилиады“.

Исследователями указано также на знакомство Пушкина с апокрифическими евангелиями, отразившееся в его поэме.

Первый биограф Пушкина — П. В. Анненков пишет: „Пушкин уже около месяца жил в Кишиневе, когда книга Куницына, по которой он учился —/„Право естественное“— подверглась запрещению и конфискации по определению ученого комитета Министерства народного просвещения, в октябре 1820 года. Через год нагнала его весть в том же Кишиневе о полном торжестве мистической обскурантной партии, об исключении четырех профессоров из стен Петербургского университета и проч. Известия эти, из которых последнее совпало еще с возбужденным состоянием умов в Кишиневе, видевшем, так сказать, зародыши греческой революции в своих стенах и затем дальнейшее ее развитие в соседней Молдавии, открыли двухгодичный период настоящего „Sturm und Drang“ ⟨„бури и натиска“⟩ в жизни Пушкина. Тогда-то написана была известная эротическая поэма его ⟨„Гавриилиада“⟩, в виде ответа на корыстное ханжество клерикальной партии“ (*П. В. Анненков*, Пушкин в Александровскую эпоху, стр. 145—146).

Правильность этого толкования „Гавриилиады“, видящего в ней не просто „прекрасную шалость“ (как выразился Вяземский), а сознательный вызов, направленный против того мистического, ханжеского духа, которым был полон последние годы своего царствования Александр I и его двор, подтверждается словами Пушкина в письме к Вяземскому от 5 сентября 1822 года: „Посылаю тебе поэму в мистическом роде: я стал придворным“.

То же самое он повторяет в стихотворении, являющемся, очевидно, „посвящением“ к „Гавриилиаде“ при посылке ее кому-то из друзей, может быть тому же Вяземскому или кишиневскому приятелю Н. С. Алексееву:

Вот муза, резвая болтунья,
Которую ты столь любил.
Раскаялась моя шалунья,
Придворный тон ее пленил.*
Ее всевышний осенил
Своей небесной благодатью,
Она духовному занятью
Преступной жертвует игрой.
Не удивляйся, милый мой,
Ее израильскому платью,
Прости ей прежние грехи,
И под заветною печатью
Прими опасные стихи.

О „Гавриилиаде“, вероятно, говорят и следующие два стихотворения, сохранившиеся в неоконченных черновиках:

Примите новую тетрадь,
Вы, юноши, и вы, девицы.
Не веселее ль вам читать
Игривой музы небылицы,
Чем пиндарических похвал
Высокопарные страницы
Иль усыпительный журнал,
Который был когда-то в моде,
А нынче так тяжел и груб,
Который вопреки природе
Быть хочет зол и только груб?

Последние четыре стиха приведены здесь в зачеркнутой Пушкиным редакции, так как написанное в замену ее не дает законченного чтения.

* „Любовные истории в Библии“, „Война богов“, „Потерянный рай“.

** „Мессия“—в „Философском словаре“.

* В зачеркнутом варианте еще яснее: „Пример двора ее пленил“.

Другое стихотворение:

О, вы которые любили
Парнаса тайные цветы
И своевольные мечты
Вниманьем слабым наградили!
Спасите труд небрежный мой
Под сенью *
От рук невежества слепого,
От взоров зависти косой.
Картины, думы и рассказы
Для вас я вновь перемешал,
Смешное с важным сочетал
И бешеной любви проказы
В архивах ада отыскал.

„Гавриилиада“ не могла появиться в печати, но это не мешало ей распространяться в публике—в списках. В 1828 г. один из таких списков был представлен петербургскому митрополиту крепостными людьми некоего В. Митькова с жалобой, что „господин их развращает их в понятиях православной... христианской веры, прочитывая им... некое развратное сочинение, под заглавием „Гавриилиада“. Дело это попало во Временную Верховную комиссию, учрежденную по случаю отбытия Николая I в действующую армию. Комиссия обратилась к Пушкину с вопросами—им ли написана поэма, когда, и потребовала рукопись.

Пушкин попробовал сначала отрекаться. Он ответил, что „поэма написана не им, что он в первый раз видел ее в лицее в 1815 или 1816 г. и переписал ее, но не помнит, куда девал сей список, и что с того времени он не видел ее“. По требованию возвратившегося Николая, Пушкина еще раз допрашивали—от кого он получил эту рукопись и кто автор поэмы, ходящей в списках с его именем. Пушкин написал следующее показание: „Рукопись ходила между офицерами гусарского полка, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я, вероятно, в 1820 г. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже в тех, в коих я особенно раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религией. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное“.

* Стих не дописан.

Однако Николай не поверил этому двукратному отречению и, чтобы добиться признания, решил сыграть на чувстве чести Пушкина: он предписал члену комиссии гр. П. А. Толстому призвать Пушкина к себе и „сказать ему *моим* именем, что, зная *лично* Пушкина, я его слову верю.* Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем“. Пушкин не стал более отпираться. Подумав некоторое время, он попросил разрешения написать ответ самому императору, минуя Комиссию. Получив разрешение, он написал письмо, которое в запечатанном виде было передано Николаю. Письмо это до нас не дошло. Но несомненно, что оно заключало в себе признание и, очевидно, изъявление раскаяния. Резолюция Николая была такая: „Мне это дело подробно известно и совершенно кончено“.** В конспекте позднейших записок одного из членов комиссии кн. А. Н. Голицына есть следующее упоминание об этом случае: „Гавриилиада“ Пушкина. Отпирательство Пушкина. Признание. Обращение с ним государя“.*** Пока тянулось это дело (июль—декабрь 1828 г.), Пушкин сильно волновался за свою судьбу. Сообщая о своих неприятностях Вяземскому в обычном письме, по почте (видимо, с расчетом на вскрытие его полицией), он пытался отвести обвинение от себя и взвалить его на уже умершего и потому свободного от всяких репрессий сатирика кн. Д. П. Горчакова: „Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее,

Прямо, прямо на восток.****

* Подчеркнуто везде Николаем.

** „Старина и Новизна“, кн. V, стр. 3—6 и кн. XIII, стр. 1—3.

*** „Русский Архив“ 1886, кн. II, стр. 327.

**** Стих Жуковского из стихотворения „Путешественник“.

Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла наконец Гавриилиада; приписывают ее мне; донесли на меня, и я вероятно отвечу за чужие проказы, если кн. Дм. Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами". Этим же беспокойством вызвано написанное тогда же стихотворение „Предчувствие":

Снова тучи надо мною
Собралися в вышине.
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне.
Сохраню ль к судьбе презренье,
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

и т. д.

Впоследствии Пушкин не любил, когда ему напоминали о „Гавриилиаде" и даже собирал и уничтожал ее списки.

Лицейский товарищ Пушкина С. Д. Комовский записал полученные им от Алексеева несколько стихов из „Гавриилиады", являющихся вариантом стихов 403—408 и находившихся, очевидно, в Пушкинском списке поэмы, принадлежавшем Алексееву.

Вы помните ль то розовое поле,
Друзья мои, где красною весной,
Оставя класс, резвились мы на воле
И тешились отважною борьбой.
Граф Брольо был отважнее, сильнее,
Комовский же проворнее, хитрее,
Не скоро мог решиться жаркий бой.
Где вы, лета забавы молодой?

*Граф Брольо*, точнее Броглио (1799—1825?) — один из лицейских товарищей Пушкина.

Ст. 1: *Еврейка* — вероятно, дочь содержательницы трактира в Кишиневе. За ней ухаживал Пушкин. К ней же, видимо, относится его стихотворение „Христос воскрес, моя Ревекка" (1821, т. I).

Стт. 13—14:

*Шестнадцать лет, невинное смиренье,*
*Бровь черная...*

и т. д.—,

кощунственная перефразировка в применении к „богородице" стихов из поэмы Василия Пушкина „Опасный сосед", описывающих проститутку Варюшку:

Шестнадцать только лет, бровь черная дугой,
И в ремесло пошла лишь нынешней весной.

Ст. 142: *Нередко он украдкой был счастлив* — неясное место; стих, вероятно, испорчен в списках. В других списках вместо слова „украдкой" *в посольствах*.

Ст. 291: *Как их тогда украшен был досуг* — неясный и нескладный стих; вероятно испорчен в списках.

Ст. 358: *Ты был и здесь пред нею виноват* — тоже.

Стт. 403—406.

*Не правда ли, вы помните то поле,*
*Друзья мои...* и т. д.,

Пушкин говорит о „розовом поле" в большом царскосельском саду, где лицеисты „гуляли, резвились, играли в лапту и пр."*

## Братья разбойники

Печатается по тексту „Поэм и повестей Александра Пушкина" 1835.

Сохранились черновики поэмы в „Первой" и „Второй" „Кишиневских тетрадях" (*ЛБ* №№ 2365 и 2366), а также на отдельном листке в *ПД*. Сохранился также отрывок беловика (стт. 227—236); он находится в ГАФКЭ в Москве.

Впервые поэма была напечатана в аль-

* *Я. Грот*, Пушкин и его лицейские товарищи и наставники, стр. 33; ср. приведенный выше вариант: „Вы помните ль то розовое поле".

манахе „Полярная Звезда на 1825 год“. Отдельной книжкой вышла в 1827 году в Москве. В том же году, в связи с борьбой и конкуренцией книгопродавцев, было отпечатано второе издание, которое, однако, в продажу тогда не поступило.

Последний раз при жизни Пушкина поэма была напечатана (без изменений) в первой части „Поэм и повестей Александра Пушкина“. 1835.

В посмертном издании (1837—1841) к концу поэмы были присоединены следующие шестнадцать стихов, отсутствующих в сохранившихся рукописях Пушкина:

Умолк и буйной головою
Разбойник в горести поник,
И слез горючею рекою
Свирепый оросился лик.
Смеясь, товарищи сказали:
„Ты плачешь? Полно, брось печали!
Зачем о мертвых вспоминать?
Мы живы: станем пировать.
Ну, потчивай сосед соседа!“
И кружка вновь пошла кругом,
На миг утихшая беседа
Вновь оживляется вином;
У всякого своя есть повесть,
Всяк хвалит меткий свой кистень.
Шум, крик. В их сердце дремлет совесть
Она проснется в черный день.

Мало вероятно, чтобы эти стихи были сочинены Жуковским (редактором Посмертного издания). Вернее всего, что это подлинные Пушкинские стихи, взятые Жуковским из недошедшей до нас рукописи.

„Братья разбойники“ написаны, по указанию самого Пушкина, в конце 1821 года; они представляют собой отрывок из большой поэмы, уничтоженной Пушкиным, по его словам, после написания. Два плана этой поэмы сохранились в рукописях:

I

Поэма

Вечером — девица плачет — подговаривает, молодцы готовы отплыть; есаул — где-то наш атаман — они плывут и поют...

Под Астраханью разбивают корабль купеческий; он берет себе * другую — та сходит с ума; новая не любит и умирает, он пускается на все злодейства—есаул** предает его.

II

I. Разбойники, история двух братьев.

II. Атаман, с ним дева, хлад его etc; песнь на Волге.

III. Купеческое судно. Дочь купца.

IV. Сходит с ума.

Судя по этим планам, поэма „Разбойники“ (таково, повидимому, первоначальное название ее, — ср. в письме к Бестужеву 13 июня 1823 года: „Разбойников я сжег“ и т. д.) задумана была как типичная байроническая поэма (мрачный герой — разбойник, „хлад его etc“, две женщины — отвергнутая и любимая и т. д.). Вся ли она была написана Пушкиным и в какой мере написанное соответствовало приведенным планам, — трудно сказать, так как в рукописях поэмы не сохранилось ни одного места, не относящегося к известному нам тексту. Только в „Записной книжке 1820—1822 гг.“ находится набросок в несколько стихов, который, вероятно, относится к поэме „Разбойники“ (ср. в плане: „песнь на Волге“):

На Волге в темноте ночной
Ветрило бледное белеет,
Бразда чернеет за <кормой>,
Попутный ветер тихо веет,
Недвижны волны, руль заснул.
Плывут ребята удалые
И стоя есаул
песню

Об уничтожении поэмы Пушкин писал А. А. Бестужеву в упомянутом выше письме:

„...разбойников я сжег — и поделом. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского; если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог, — не испугают нежных ушей

* Зачеркнуто „в н <наложницы>“.
**Вместо зачеркнутого „товарищи“.

читательниц „Полярной звезды“, то напечатай его. Впрочем чего бояться читательниц? Их нет и не будет на Русской земле,* да и жалеть не о чем...“

Отрывок „Братья разбойники“ представляет собой выполнение первого пункта второго плана („Разбойники. История двух братьев“). Этот план является, повидимому, более поздним, чем первый, и эпизод этот, отсутствующий в первом плане, включен, таким образом, в поэму позже. Можно предположить, что он представлял собой сначала отдельный замысел. На это предположение наталкивает черновой набросок начала „Братьев разбойников“, написанный балладным размером — четырехстопным амфибрахием с парными мужскими рифмами (стих „Черной шали“) и озаглавленный торопливо и неясно написанным словом: „Молдав...“—может быть, „Молдавская песня“...

Нас было два брата, мы вместе росли,
И жалкую младость в нужде провели...

Но алчная [страсть] овладела душой,
И вместе мы вышли на первый разбой.

Курган <?> серебрился <?> при яркой луне.
Купец обробелый скакал на коне.

[Его мы настигли]
И первою кровью умыли кинжал.

Мы к убийству привыкли потом
И стали селеньям ужасны кругом.

Посылая Вяземскому „Братьев разбойников“, Пушкин в письме к нему 11 ноября 1823 года следующим образом комментировал их:

„Вот тебе и разбойники. Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославе, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражей мною не выдуманы. Некоторые стихи напоминают перевод Шильонского узника.* Это несчастье для меня. Я с Жуковским сошелся нечаянно, отрывок мой написан в конце 1821 года“.

Это объяснение происхождения сюжета поэмы Пушкин повторил в заметках о своих произведениях (см. т. V).

Отвечая на недошедшее до нас письмо Вяземского, Пушкин писал ему 11 октября 1823 года: „Замечания твои насчет моих разбойников несправедливы, как сюжет это tour de force,** это не похвала,— напротив, но как слог—я ничего лучше не написал“.

Романтическую ситуацию, лежавшую в основе уничтоженной поэмы „Разбойники“, Пушкин воспроизвел с некоторыми изменениями в следующей своей поэме — „Бахчисарайский фонтан“ (Гирей, Зарема и Мария).

## Бахчисарайский фонтан

Печатается по тексту „Поэм и повестей Александра Пушкина“ 1835, со включением из рукописи десяти стихов в конце поэмы („Все думы сердца к ней летят...“ и т. д.), исключенных Пушкиным по причине их интимности.

Сохранились отрывки черновика в „Первой“ и „Второй“ „Кишиневских тетрадях“ и в „Первой Масонской“ тетради (*ЛБ*, №№ 2365, 2366 и 2369), а также на отдельном листке в *ПД*.

Впервые напечатано отдельной книжкой в 1824 году в Москве, с приложением „вместо предисловия“ статьи Вяземского „Разговор

* Стих из думы Рылеева „Иван Сусанин“.

* Поэма Байрона, переведенная Жуковским.

** Своего рода подвиг.

между издателем и классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова", а также выдержки из книги И. М. Муравьева-Апостола „Путешествие по Тавриде" (СПБ. 1823).

Второе издание вышло в 1827 году также с „Разговором" Вяземского и иллюстрированное четырьмя гравюрами Галактионова. В третьем издании (СПБ. 1830) „Разговор" отсутствовал, но зато в приложении, кроме выписки из „Путешествия" Муравьева, был помещен „Отрывок из письма Пушкина к Д<ельвигу>". В последнем под буквой „М." разумеется тот же Муравьев.

В этом издании приложениям предшествовало следующее предисловие:

„От издателей

Желая познакомить читателей, не бывавших в Тавриде, со сценою повествования поэта нашего, предлагаем им здесь 1) выписку из любопытного и занимательного путешествия по Тавриде, изданного И.М. Муравьевым-Апостолом, 2) отрывок из письма самого автора к Д***".

В отрывке из письма к Дельвигу, после слов „... тут посетили меня рифмы" — следовало: „Я думал стихами. Вот они:" и далее шло стихотворение „К чему холодные сомненья?" (см. т. I). Заключался отрывок из письма к Дельвигу следующими строками: „Растолкуй мне теперь: почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?"

Последний раз при жизни Пушкина поэма была напечатана в „Поэмах и повестях Александра Пушкина", 1835.

Написана поэма в 1822 году, вслед за уничтожением „Разбойников", откуда перешло в „Бахчисарайский фонтан" основное сюжетное положение (см. выше, стр. 583).

В черновиках поэмы находится набросок начальных стихов, показывающий, что Пушкин хотел было писать ее другим, более длинным стихом — пятистопным ямбом:

Дивлет Гирей задумчиво сидит,
Драгой янтарь в устах его дымится,
Угрюмый двор вокруг его молчит...

Поэма, по свидетельству Пушкина, в рукописях была названа „Харемом", но, прибавляет он, „меланхолический эпиграф, который конечно лучше всей поэмы, соблазнил меня" (см. т. V).

В „Бахчисарайском фонтане" больше чем в какой-нибудь другой поэме отразились интимные переживания Пушкина—преимущественно в заключительной части—лирическом эпилоге. Готовя поэму для печати, Пушкин сократил эту часть, убрав „любовный бред" по его выражению, и переработав отдельные места. Кое-какие следы первоначальной, более полной редакции сохранились в дошедших до нас рукописях. Так, в нескольких редакциях сохранился отрывок, служащий в одних вариантах вступлением, в других—заключением поэмы. Приведем один из вариантов его:

Н. Н. Р.*

Исполню я твое желанье,
Начну обещанный рассказ.
Давно, когда мне в первый раз
Поведали сие преданье,
Мне стало грустно, резвый ум
Был омрачен невольной думой.
Но скоро пылких оргий шум
[Развеселил мой сон угрюмый.]
О возраст легкий и живой!
Какою быстрой чередой
Тогда сменялись впечатленья!
Восторги — тихою тоской,
Печаль — порывом упоенья.

Кроме включенного в настоящем издании в основной текст вполне законченного отрывка—„Все думы сердца к ней летят..." и т. д.,—в рукописи сохранились черновые отрывки, относящиеся к тому же месту поэмы.

* Николаю Николаевичу Раевскому (младшему), другу Пушкина, которому был посвящен и „Кавказский пленник".

После стт. 543 — 546:

Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?

сначала следовало:

Иль только сладостный предмет
Любви таинственной, унылой
Тогда... но полно! вас уж нет,
Мечты невозвратимых лет,
Во глубине души остылой
[Не тлеет ваш безумный след].

К ст. 553 — „Мятежным снам любви несчастной" и следующим относится, вероятно, отрывок:

Ты возмужал средь испытаний,
Загладь проступки ранних лет,
Постыдных слез, [немых желаний]
И безрассудных ожиданий
Забудь мучительный предмет.

Пушкин с большим беспокойством относился к возможности разоблачений биографического смысла подобных мест поэмы. В так называемом письме к Дельвигу, приложенном к третьему изданию поэмы и представляющем собой, несомненно, не письмо, а специально написанную статью, он зашифровал буквой „К**" имя женщины, от которой он услышал впервые легенду о Марии Потоцкой, похищенной ханом.* 25 августа 1823 года он писал брату из Одессы:

„...Здесь Туманский.** Он добрый малой, да иногда врет — например он пишет в П. Б. письмо, где говорит между прочим обо мне: Пуш⟨кин⟩ открыл мне немедленно свое сердце и portefeuille, любовь и пр... Дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать потому, что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки* мне не по нутру — Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы** — помогите".

Еще больше был взволнован Пушкин другим эпизодом того же характера. В письме к А. А. Бестужеву (8 февраля 1824 года) он писал:

„...Радуюсь, что мой Фонтан шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины:

Au douces loix des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve,***

Впрочем я писал его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги были нужны".

Этот отрывок частного письма был напечатан Булгариным без разрешения автора в „Сыне Отечества". Незадолго перед тем в альманахе „Полярная Звезда" в стихотворении Пушкина „Редеет облаков летучая гряда" были напечатаны, против желания Пушкина, заключительные строки, которым он придавал интимный характер. По поводу этих двух нарушений авторской воли Пушкин писал А. Бестужеву (29 июня 1824 года):

„...ты острамил меня в нынешней „Звезде" — напечатав три последних стиха моей Элегии; чорт дернул меня написать еще кстати о Бахчисарайском фонтане какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными. — Журнал может попасть в ее руки — что ж она подумает, видя с какой охотой беседую об ней *с одним из петербургских моих приятелей*. Обязана ли она знать, что она мной не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным, что

* По предположению П. Е. Щеголева, дело идет о М. Н. Раевской, младшей сестре приятелей Пушкина, вышедшей замуж за декабриста кн. С. Г. Волконского.

** Василий Иванович *Туманский* — поэт.

* Знаменитый итальянский поэт XIV века, воспевавший в своих стихах недоступную красавицу — Лауру.

** Слащавый сентиментальный писатель, издатель „Дамского Журнала".

*** Мягким законам стиха я покорил звуки ее милых и наивных уст.

проклятая Элегия доставлена тебе чорт знает кем — и что никто не виноват.—Признаюсь, одной мыслью этой женщины дорожу я более чем, мнениями всех журналов на свете и всей нашей публикой—голова у меня закружилась".

„Бахчисарайский фонтан" при своем появлении имел громадный успех, а предпосланный ему „Разговор" Вяземского, представляющий собой защиту „романтизма" против нападок „классиков", защитников старины и традиции, вызвал длительную полемику в журналах.

Пушкин сам был невысокого мнения о своей поэме: „Бахчисарайский фонтан", между нами, дрянь, но эпиграф его—прелесть" (письмо к Вяземскому 14 октября 1823 года). В заметках о своих поэмах 1830 года он писал: „*Бахчисарайский фонтан* слабее Пленника и как он отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил. Сцена Заремы с Марией имеет драматическое достоинство. Его, кажется, не критиковали. А. Раевский хохотал над следующими стихами:

Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю — и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет etc.

Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Всё это смешно, как мелодрама".

## Цыганы

Печатается по тексту „Поэм и повестей Александра Пушкина" 1835; в текст введены восемь стихов перед „Эпилогом" („За их ленивыми толпами"), вписанные Пушкиным в экземпляр „Цыган", принадлежавший П. А. Вяземскому.

Сохранились рукописи (черновики и беловик) в „Первой", „Второй" и „Третьей" „Масонских тетрадях" (*ЛБ,* №№ 2369, 2370 и 2368).

Впервые напечатана поэма в 1827 году в Москве, отдельной книжкой, без имени автора. Второй раз — в первой части „Поэм и повестей Александра Пушкина" 1835.

До 1827 года были помещены отрывки из поэмы: начальные 93 стиха в „Полярной Звезде на 1825 г."; „Песня Земфиры" — в „Московском Телеграфе" 1825, с нотами, представляющими собой обработку „дикого напева сей песни, слышанной самим поэтом в Бессарабии"; рассказ об Овидии—в „Северных Цветах на 1826 г."

Начатая в конце 1823 года поэма была окончена, судя по пометке в рукописи, 10 октября 1824 года.

В рукописи поэма снабжена была двумя эпиграфами:

„Мы люди смирные, девы наши любят волю — что тебе делать у нас".

*Молдавская песня.*

Пред бурей рока — твердый камень,
В волненьях страсти — легкий лист.

*Князь Вяземский.*

После эпиграфов в рукописи идет „Примечание":

„Бессарабия, известная в самой глубокой древности, должна быть особенно любопытна для нас:

Она Державиным воспета
И славой русскою полна.*

Но доныне область сия нам известна по ошибочным описаниям двух или трех путе-

* Далее зачеркнуто: „От Олега и Святослава до Суворова и Кутузова она была театром нашнх вечных войн".

шественников. Не знаю, выйдет ли когда-нибудь „Историческое и статистическое описание“ оной, составленное И. П. Липранди, соединяющим истинную ученость с отличными достоинствами военного человека“.

В черновике поэмы есть набросок другого примечания — о цыганском народе (см. его в V томе).

В рукописях сохранился также отрывок, не вошедший в печатный текст поэмы; текст его испещрен многочисленными поправками и недоработан:

Бледна, слаба — Земфира дремлет.
Алеко, с радостью в очах,
Младенца держит на руках
И крику жизни жадно внемлет.
Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Неоцененный дар свободы.
Останься посреди степей:
Безмолвны здесь предрассужденья —
И нет их раннего гоненья
Над дикой люлькою твоей:
Расти на воле без уроков,
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.
Под сенью мирного забвенья
Пускай цыгана бедный внук
Сокрыт от неги просвещенья,
От пышной суеты наук...
Зато беспечен, здрав и волен,
Напрасных угрызений чужд
И бедным жребием доволен,
Не признает он ложных нужд.

Нет, не приклонишь ты колен
Пред идолом безумной чести,
Не будешь жертвой злых измен,
Не утомишься жаждой мести.
Ты не поймешь, младенец мой,
Как тяжко медленной стопой
Всходить на чуждые ступени,
Сколь горек суд Молвы <слепой>
И легкомысленные пени.
От общества, быть может, я
Отъемлю ныне гражданина —
Что нужды — я спасаю сына.
И я б желал, чтоб мать моя
Меня родила в чаще леса,
Или под юртой остяка,
В глухой расселине утеса.

О сколько едких угрызений,
[Тяжелых снов], разуверений
Тогда б я в жизни не узнал...

Приведем два более мелких черновых варианта.

После стт. 64—67:

Кто ж от меня его отгонит?
Но поздно... месяц молодой
Зашел, поля покрыты мглой,
И сон меня невольно клонит...—

шло еще четверостишие:

Моей любовью насладись
Под сенью ночи безмятежной,
Приди, я таю, друг мой нежный,
Не изменись, не изменись.

После стт. 153—155:

Там люди в кучах, за оградой
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов —

зачеркнуты стихи:

Ночлеги покупают златом,
Балуя прихоть суеты,
Торгуют вольностью, развратом
И кровью бледной нищеты.

Закончив „Цыган“ в октябре 1824 года, Пушкин не торопился печатать их и даже знакомить с ними своих друзей, предполагая, вероятно, еще отделывать поэму. Но она скоро стала известна литературным кругам Петербурга, так как брат поэта Лев Сергеевич, отличавшийся необыкновенной памятью на стихи, охотно и многократно читал ее наизусть у знакомых. Пушкин писал А. Бестужеву в январе 1825 года: „Пожури моего брата за то, что он не сдержал своего слова, — я не хотел, чтобы эта поэма была известна прежде времени. Теперь нечего де-

лать — принужден ее печатать, пока не растаскают ее по клочкам".

Поэма имела у друзей Пушкина большой успех, и сам поэт был ею доволен, хотя и считал ее незаконченной: „Я кажется писал тебе, что мои Цыганы никуда не годятся: не верь, — я соврал; ты будешь ими очень доволен", — писал он Вяземскому в декабре 1824 года.

В 1830 году в заметках о своих произведениях Пушкин писал: „О Цыганах одна дама заметила, что во всей поэме один только честный человек, и то медведь. — Покойный Рылеев негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще собирает деньги с глазеющей публики. Вяземский повторил то же замечание. Рылеев просил меня сделать из Алеко хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее. Всего бы лучше сделать из него чиновника восьмого класса или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей поэмы; ma tanto meglio".*

В первом рассказе старого цыгана (стт. 181—216) говорится о римском поэте первого века нашей эры Овидии, сосланном римским императором Августом на берег Черного моря (ср. стихотворения Пушкина „К Овидию", а также „Евгения Онегина", 1 гл., VIII строфа и примечание к ней).

Стт. 259—282: Песня Земфиры „*Старый муж, грозный муж*" представляет собой свободный перевод молдавской песни „Жги меня, жарь меня".

Стт. 377—378: *Буджак* — южная часть Бессарабии; *Аккерман* — город там же, в XVIII веке — турецкая крепость.

Стт. 546—547:

*Где повелительные грани*
*Стамбулу русский указал* —

т. е. граница с Турцией после победоносной войны 1811—1812 гг.

* И тем лучше.

## Граф Нулин

Печатается по тексту „Поэм и повестей Александра Пушкина" 1835, с исправлением цензурных искажений.

В первый раз напечатана в „Северных Цветах на 1828 г.", вышедших в 1827 году. Еще раньше начало повести (до стт. 29—30:

Бранится, мокнет и пирует
Опустошительный набег)

было напечатано в № 2 „Московского Вестника" 1827. Второй раз повесть была напечатана в том же году особой книжкой, вместе с поэмой—Баратынского „Бал". Третий раз „Граф Нулин" был напечатан во второй части „Поэм и повестей Александра Пушкина" 1835.

Повесть написана, по указанию Пушкина, 13 и 14 декабря 1825 года. В беловике, находящемся в *ПД*, поэма носит заглавие „Новый Тарквиний". Этот автограф дает множество вариантов к печатному тексту, из которых приведем наиболее существенные После стт. 40—50:

А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала —

в рукописи следует:

(Той, что мадамою была
При маленьком Наполеоне)*

После стт. 56—57:

Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный—

вместо стт. 58—59 в рукописи было:

* Т. е., очевидно, воспитательницей сына Наполеона I.

Отрада девушки невинной,
Покойной тетушки моей.

Вместо ст. 227:

Не спится графу, бес не дремлет —

и следующих в рукописи было:

Ему не спится — бес не дремлет,
Вертится Нулин — грешный жар
Его сильней, сильней объемлет,
Он весь кипит, как самовар,
Пока не отвернула крана
Хозяйка нежною рукой —
Иль как отверстие вулкана,
Или как море пред грозой,
Или... сравнений под рукой
У нас довольно, — но сравнений
Не любит мой степенный гений:
Живей без них рассказ простой.
В потемках пылкий наш герой
Теперь воображает живо
Хозяйки взор красноречивый

и т. д.

После стт. 248—249:

К Лукреции Тарквиний новый
Отправился на всё готовый —

в рукописи было:

Граф *местной памяти* орган
Имел по Галевой примете, *
Он в темноте, как и при свете,
Нашел бы дверь, окно, диван.
Он чуть дыханье переводит,
Желаньем пламенным томим
(Или боязнью) — пол под ним
Скрыпит — украдкой он подходит
К безмолвной спальне. *„Здесь она
Ждет, нетерпением полна,
И умолить ее не трудно“*.
Глядит, однако ж это чудно!
Дверь заперта, — но граф слегка
Жмет ручку медную замка

и т. д.

* *Галль* (1758—1858) — анатом и врач, известный своим фантастическим учением (френологией) о том, что особенности строения черепа человека отражают его психические и характерологические данные.

После стт. 309—310:

И мокрой щеткою своей
Не гладит стриженых кудрей —

в рукописи было:

К хозяйке как ему явиться,
Не покраснев? Что скажет ей?
Не лучше ль [в путь скорей] пуститься,
Да не готово колесо —
Какая мука это всё!
За чьи грехи я погибаю? —
Но вот его позвали к чаю

и т. д.

По указанию самого Пушкина, „Граф Нулин“ является пародией на Шекспировскую поэму „Лукреция“, написанную на сюжет римской легенды об изгнании царей: сын царя Тарквиния Гордого, Тарквиний, обесчестил Лукрецию, жену находившегося на войне Коллатина. Лукреция закололась, а Коллатин и его друг Брут подняли народное восстание, кончившееся изгнанием царей. Пушкин писал об этом в заметке, не напечатанной при его жизни и относящейся, повидимому, к 1827 году: „В конце 1825 г. находился я в деревне. Перечитывая „Лукрецию“, довольно слабую поэму Шекспира, я повторил пошлое замечание о мелких причинах великих последствий. Я подумал: что если б Лукреции пришло в голову дать пощечину Тарквинию? Быть может это охладило бы его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить. Лукреция б не зарезалась Публикола* не взбесился бы, Брут не изгнал царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Цесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде.

Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра (13 и 14 декабря) написал эту повесть.

Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. „Граф Нулин“ напи-

* Оговорка Пушкина — надо Коллатин.

сан 13 и 14 декабря...* Бывают странные сближения...“

Многие места „Графа Нулина“ действительно представляют собой тонкую и остроумную пародию Шекспировской поэмы.

Встреченный публикой в общем довольно сочувственно, „Граф Нулин“ вызвал резкие нападки на Пушкина в некоторых журналах. Н. И. Надеждин в ряде статей доказывал ничтожность замысла поэмы и упрекал ее в безнравственности. Пушкин, которому приходилось уже сталкиваться с этими упреками по поводу „Руслана и Людмилы“, принимал их очень близко к сердцу. В его бумагах сохранилось несколько недоработанных заметок по поводу критики на „Графа Нулина“ (см. эти статьи в т. V).

Ст. 127: *С ужасной книжкою Гизота* — Франсуа *Гизо* (Guisot) — французский историк и политический деятель, сначала роялист, затем сторонник либерально-буржуазной оппозиции. В 1820-х годах выступил с рядом политических сочинений, направленных против режима дворянской реакции во Франции. Впоследствии был министром Луи-Филиппа.

Ст. 131: *С последней песней Беранжера* — Пьер-Жан *Беранже* (Beranger) — французский поэт, автор сатирических и революционных песен.

Ст. 132: *С мотивами Россини, Пера* — Джиакомо *Россини* и Фердинандо *Паэр* (у Пушкина — Пер) — итальянские оперные композиторы; оба в 1820-х годах XIX века жили в Париже.

Ст. 149: *Ф. Ж. Тальма* — французский трагический актер.

Ст. 150: *Мадемуазель Марс* — французская актриса.

Ст. 151: *Ш. Потье* — популярный французский комический актер; *Le grand Potier* — великий Потье.

Ст. 155: *d'Arlincourt* (*Дарленкур*) *Charles Victor* (1789 — 1856) — французский писатель, автор популярнейших в первой половине XIX века романов. *Альфонс Ламартин* — французский поэт. Его меланхолические стихотворения были модными в 1820-х годах.

Ст. 166: *„Мы получаем Телеграф“*. „Московский Телеграф“ — двухнедельный журнал (1825 — 1834), пользовавшийся широкой популярностью. К каждому номеру его в виде приложения давались картинки парижских мод с объяснениями.

## Полтава

Печатается по тексту „Поэм и повестей Александра Пушкина“ 1835.

Сохранились черновики поэмы в „Красном Альбоме“ и на отдельном листке (*ЛБ*; №№ 2371 и 2377 А), а также беловик в „Сафьяновом Альбоме“ (там же, № 2372). Кроме того три клочка другой беловой рукописи находятся в *ПД*.

Впервые напечатана отдельной книжкой в 1829 году, со следующим предисловием:

„Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага, утвердила русское владычество на юге, обеспечила новые завоевания на севере и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем.

Ошибки шведского короля вошли в пословицу. Его упрекают в неосторожности, находят его поход на Украину безрассудным. На критиков не угодишь, особенно после неудачи. Карл, однако же, сим походом избегнул славной ошибки Наполеона: он не пошел на Москву. И мог ли он ожидать, что Малороссия, всегда беспокойная, не будет увлечена примером своего гетмана и не возмутится противу недавнего владычества Петра,

* 1825 г., т. е. в самый день восстания на Сенатской площади.

что Левенгаупт три дня сряду будет разбит, что наконец 25 000 шведов, предводительствуемых своим королем, побегут перед нарвскими беглецами. Сам Петр долго колебался, избегая главного сражения, *я о зело опасного дела*. В сем походе Карл XII менее нежели когда-нибудь вверялся своему счастью: оно уступило гению Петра.

Мазепа есть одно из самых замечательных лиц той эпохи. Некоторые писатели* хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварствах и злодеяниях, клеветником Самойловича — своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения; память его, преданная церковью анафеме, не может избегнуть и проклятия человечества.

Некто в романтической повести ** изобразил Мазепу старым трусом, бледнеющим перед вооруженной женщиной, изобретающим утонченные ужасы, годные во французской мелодраме и проч. Лучше было бы развить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, не искажая своевольно исторического лица.

31 января 1829 г."

Второй раз поэма напечатана в „Поэмах и повестях" 1835. Написана „Полтава" в течение октября 1828 года.

В беловой рукописи есть два отрывка, не включенных в печатный текст.

В первой песне после стт. 339—340:

И тут Мария сохранила
Над ним привычные права —

следовало:

Убитый ею, к ней одной
Стремил он страстные желанья,
И горький ропот и мечтанья
Души кипящей и больной.
Еще хоть раз ее увидеть
Безумной жаждой он горел;
Ни презирать, ни ненавидеть
Ее не мог и не хотел.
Но ежели средь мутной думы
Мазепу он воображал,
То все черты его угрюмы
Смех ярый зверски искажал.

В третьей песни, в сцене сумасшествия Марии после ст. 389:

Но, вихрю мыслей предана,—

следовало:

„Ей богу", — говорит она —
Старуха лжет. Седой проказник
Там в башне спрятался. Пойдем,
Не будем горевать о нем.
Пойдем, какой сегодня праздник?
Народ бежит, народ поет, —
Пойду за ними; я на воле.
Меня никто не стережет...
Алтарь готов; в веселом поле
Не кровь... о, нет! вино течет.
Сегодня праздник. Разрешили.
Жених — не крестный мой отец;
Отец и мать меня простили:
Идет невеста под венец..."
Но вдруг, потупя взор безумный,
Виденья страшного полна, —
„Однако ж; — говорит она... и пр.

О необыкновенной быстроте, с какой была написана „Полтава" (конец первой песни помечен 3 октября, а конец поэмы — 16 октября), сохранился рассказ Пушкина, переданный в воспоминаниях М. Юзефовича („Русский Архив" 1880, т. III, стр. 444): „<Пушкин> рассказывал... как им была написана последняя в это время поэма „Полтава". Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стих ему грезился даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда голод его про-

* К. Ф. Рылеев в поэме „Войнаровский", оказавшей большое влияние на „Полтаву" Пушкина, несмотря на противоположность тенденций обеих поэм.

** Е. Аладьин в повести „Кочубей" („Невский Альманах" 1828 г.), откуда Пушкин заимствовал ряд мелких подробностей „Полтавы", а также имя героини — Мария. (Подлинное имя возлюбленной Мазепы было Мотрена.)

хватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку, что попало, и убегал домой, чтобы записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи, записывались им прозой. Но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части...

...Несмотря однако ж на такую работу, он кончил „Полтаву", помнится, в три недели".

В отличие от других крупных произведений, „Полтава" тотчас же после написания была отдана Пушкиным в печать, и, возвращаясь из своего „путешествия в Арзрум", уже в июле 1829 года он имел возможность читать в „Вестнике Европы" рецензию на свою поэму.

Эта быстрота написания, а также поспешность публикации дали повод некоторым новейшим исследователям к предположению, что „Полтава" была написана Пушкиным не в силу внутренней потребности, а с нарочитой целью демонстрировать свою политическую благонадежность. Однако в таком предположении нет никакой надобности: в идеологии поэмы нет ничего, что расходилось бы с подлинными убеждениями Пушкина, и в чисто художественном отношении „Полтава" представляет собою естественный и крупный этап в развитии Пушкинской поэзии. Сам Пушкин в 1830-х годах считал „Полтаву" наиболее самостоятельным из своих произведений.

„Полтава" не имела успеха у современников. Критика упрекала Пушкина в нарушении исторической и художественной правды. Пушкин в ответ напечатал в альманахе „Денница" (1830) заметку, сохранившуюся в рукописи в более полной редакции (см. ее в т. V).

Эпиграф поэмы — начальные стихи из поэмы Байрона „Мазепа"; перевод: „Власть и слава войны, неверные, как их суетные почитатели — люди, перешли на сторону торжествующего царя". Сохранились наброски стихотворного перевода Пушкиным этого места: — „То было вскоре после боя" и т. д. (см. т. I).

„Посвящение", по предположению П. Е. Щеголева, адресовано Марии Николаевне Волконской, урожденной Раевской, младшей сестре друзей Пушкина, вышедшей замуж за декабриста кн. С. Г. Волконского и отправившейся за ним в Сибирь. В подтверждение этого предположения П. Е. Щеголев указывает, между прочим, что вместо ст. 13:

Твоя печальная пустыня, —

в черновой рукописи есть вариант:

Сибири хладная пустыня.

П. I, ст. 145. *Шведский паладин* (т. е рыцарь) — шведский король Карл XII, разбивший наголову русских под Нарвой.

П. I, стт. 156—157:

*Он шел путем, где след оставил*
*В дни наши новый, сильный враг* —

и следующие говорят о Наполеоне и его походе на Москву в 1812 году. Ссылка Пушкина в этом месте на „Мазепу" Байрона (см. его 7 прим.) имеет в виду конец первого отрывка этой поэмы.

П. II, ст. 311: *П. М. Забела* (1580—1689) — украинский магнат XVII века на службе польского короля, во время восстания Хмельницкого перешедший на его сторону. *А. М. Гамалей* (правильнее Гамалея) — генеральный эсаул времени Хмельницкого.

П. III, ст. 38:

*Так оный хитрый кардинал*

и следующие — говорится о папе Сиксте V, который, согласно легенде, будучи кардиналом, притворялся слабым и больным, и выбранный папой, как самый слабый и безобидный, отбросил свои костыли и запел громким голосом благодарственный псалом.

П. III, ст. 63:

*На плахе гибнет Чечель смелый*
*И запорожский атаман.*

*Запорожский атаман* — К. Гордеенко, о котором см. 11 прим. Пушкина к „Полтаве".

П. III, стт. 174—175: *Розен, Шлиппенбах* — шведские генералы.

П. III, стт. 212—213: *Шереметев, Брюс, Боур, Репнин* — сотрудники Петра I.

П. III, стт. 214—215:

*И счастья баловень безродный,*
*Полудержавный властелин* —

А. Д. Меншиков, фаворит Петра I.

П. III, стт. 276—277:

*У Войнаровского в руках*
*Мушкетный ствол еще дымился.*

*Войнаровский*—племянник Мазепы и его приверженец, герой одноименной поэмы Рылеева.

П. III ст. 435: *В стране — где мельниц ряд крылатый*... и т. д. —После полтавского поражения Карл XII остался жить в Бендерах (в Бессарабии, принадлежавшей тогда Турции), безуспешно стараясь склонить турок на войну с Россией. Турки настаивали на его выезде и наконец осадили его лагерь в Бендерах. Карл с несколькими десятками приверженцев отчаянно отбивался от многотысячного войска турок и татар, но в конце концов был взят ими в плен.

Перевод 33 примечания Пушкина: „Московский император, проникнутый радостью, которую он не давал себе труда скрывать... принимал на поле битвы пленников, которых ему приводили толпой, и то и дело спрашивал: „А где же мой брат Карл?..“ ...Тогда взяв стакан вина, он сказал: „За здоровье моих учителей в военном искусстве!“ Реншильд (пленный шведский генерал) спросил его, кого он почтил таким славным титулом. „Вас, господа шведские генералы“, ответил царь. — „В таком случае, ваше величество очень неблагодарны, — ответил граф, — вы так дурно обошлись со своими учителями“.

## ⟨Тазит⟩

Печатается по беловой рукописи. При жизни Пушкина напечатана не была. Сохранились рукописи — черновые в „Первой“ и „Второй“ „Синих тетрадях“ (*ЛБ*, №№ 2382 и 2373) и беловая в „тетради“ № 2375. При первой публикации в „Современнике“ 1837 г., № II было неверно прочитано имя старого горца, отца героя — Галуб, вместо Пушкинского Гасуб. Этим ошибочным именем была названа и вся поэма. Ошибка эта повторялась во всех изданиях и исправлена только в 1930 году в сочинениях Пушкина издания „Красной Нивы“.*

Поэма осталась недописанной Пушкиным. Кроме недоконченного беловика с поправками сохранились черновики, дающие возможность по месту в тетрадях, по почерку и характеру чернил датировать поэму концом 1829 года. В „Тазите“, таким образом, отразились свежие впечатления от второго кавказского путешествия Пушкина (май — октябрь 1829 года). Следом этого путешествия помимо ряда мелких стихотворений и двух трех строф в „Странствии Онегина“, должны были быть три больших произведения: путевые записки, поэма из жизни горцев и повесть из курортной кавказской жизни. Довел до конца Пушкин только первый замысел („Путешествие в Арзрум“); поэма о Тазите осталась неоконченной, а из повести (так называемый „Роман на Кавказских водах“), кроме ряда планов, написана была только одна глава.*

Переписывая набело поэму, Пушкин оставил непереписанными почти доработанные последние стихи черновика:

Но с неприязненною думой
Ему внимал старик угрюмый,

* См. также *С. Бонди*, Новые страницы Пушкина, М. 1931.

* Четвертым крупным замыслом, связанным с путешествием 1829 г., может быть была повесть или поэма о русской девушке и черкесе, от которой остался только краткий план (см. ниже, стр. 616).

Главою белой покачал,
Махнул рукой и отвечал:
„Ты мой рассудок искушаешь,
Иль испытуя, иль шутя —
Какой безумец, сам ты знаешь,
Отдаст [любимое] дитя
Тому, кто в бой вступить не смеет,
Кто робок даже пред рабом,
Кто мстить за брата не умеет,
Кто изгнан и проклят отцом?
Ступай, оставь меня в покое!"
Глубоко в сердце молодое
Тяжелый ⟨?⟩ врезался укор.
Тазит сокрылся. С этих пор
Ни с кем не вел ⟨?⟩ он ⟨?⟩ разговора ⟨?⟩
[И никогда на деву гор]
[Не подымал несчастный взора]*

Первоначальная рукопись поэмы сохранила набросок начальных стихов, написанных хореем:

Не для тайного совета,
[Не для битвы] до рассвета,
Не для встречи кунака,
Не для свадебной потехи
Рано съехались адехи
[К сакле] [старика]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хищник смелый, сын Гасуба,
Вся надежда старика,
Близ развалин Татартуба
Пал от пули казака...

О дальнейшем содержании неоконченной поэмы говорят сохранившиеся в черновиках два кратких плана:

I

Обряд похорон.
Узденъ и меньший сын.
день — дань — почта — грузинский купец.
II — орел — казак.
III — отец его гонит.
Юноша и монах.
Любовь — отвергнутый.
Битва — монах.

II

1. Похороны
2. [Три дня] Черкес христианин
3. Купец
4. [Казак] раб
5. Убийца
6. Изгнание
7. Любовь
8. Сватовство
9. Отказ
10. [Священник] Миссионер
11. Война
12. Сражение
13. Смерть
14. Эпилог

Тема поэмы находится в связи с размышлениями Пушкина о методах умиротворения и ассимиляции „беспокойных" горских народов Кавказа.

В ненапечатанных Пушкиным страницах „Путешествия в Арзрум" он пишет об этом:

„Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба *мирных* черкесов ненадежна; они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам... Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения крови. Должно однако ж надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия... Кавказ ожидает христианских миссионеров".

В поэме о Тазите Пушкин-художник вносит поправку в рассуждения публициста. Он показывает, к каким трагическим конфлик-

* Чтение последних трех стихов предположительное.

там должно привести столкновение новых понятий с установившимися обычаями и нравами горцев. Юноша Тазит — „черкес-христианин“, изгнан отцом, отвергнут семьей невесты и гибнет во время сражения: такова, судя по намекам планов, развязка поэмы.

В основу завязки положен существовавший тогда среди некоторых народов Кавказа обычай отдавать сына на воспитание в чужой дом (так называемое „аталычество“). Воспитатель („аталык“) по истечении соответствующего срока „приводит своего воспитанника в родительский дом и возвращает сына отцу при собрании родственников. За сим следует домашний пир и назначается приличное награждение оружием, скотом, лошадьми аталыку, который до смерти своей пользуется отличным уважением от всего дома...“ (*Броневский*, Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, М. 1823, ч. II, стр. 109).

Описание похорон, открывающее поэму, воспроизводит виденные Пушкиным похороны в одном из осетинских аулов около Владикавказа (см. в первой главе „Путешествия в Арзрум“):

„Мы достигли Владикавказа, прежнего Кап-Коя, преддверия гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с горьким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке

...Like a warrior taking his rest
With his martial cloac around him,*

положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула. К сожалению никто не мог объяснить мне сих обрядов“.

„Развалины Татартуба“ вблизи которых был убит старший сын Гасуба, считались священным местом; с ними связывались различные поверья и легенды.

„Кабардинцы имеют великое уважение к остаткам старинного города *Татар-Тупа*, лежащего в Малой Кабарде, на западном берегу Терека, в семи верстах ниже устья *Комбулея*. Сии развалины, из коих некоторые башни и церкви остались в целости, почитаются за ненарушимое убежище для убийц от преследования мстителей; прежде сего у *Татар-Тупа* совершались между кабардинцами все клятвы и договоры для вящей оных прочности. Черкесы не знают ни времени, ни обстоятельства, относящихся до построения сего города“ *(Броневский*, назв. соч., ч. II, стр. 54).

Ст. 5: *Адехи* (правильно *адыге*) — другое название для черкесов.

## Домик в Коломне

Печатается по тексту „Поэм и повестей Александра Пушкина“ 1835.

Сохранился отрывок черновика в *ПД* и беловая рукопись (с поправками) в тетради № 2376 А *ЛБ*.

Напечатано впервые в альманахе „Новоселье“ (СПБ. 1833), а затем вошло во вторую часть „Поэм и повестей Александра Пушкина“ **. Написано в первых числах октября 1830 года в Болдине: в рукописи в конце

* Он лежал, завернувшись в свой боевой плащ, как отдыхающий воин. (Из стихотворения Ч. Вольфа).

** Отрывок повести—строфы XXI—XXV—Пушкин послал в январе 1832 г. И. В. Киреевскому для помещения в № 3 журнала „Европеец“. Но этот номер не вышел в свет, так как журнал был запрещен.

вступления поставлена дата: „5 окт.“, а в конце поэмы: „Болдино. 9 окт. $5^3/_4$ ч. в.“ (т. е. $5^3/_4$ часа вечера).

Повесть была написана в значительной степени как произведение полемическое, как вызов журнальной критике 1829—1830 гг., упрекавшей поэзию Пушкина в отсутствии идеи, по-тогдашнему — „цели“, причем такие органы, как „Северная Пчела“, под „целью“ поэзии прямо подразумевали или воспевание успехов русского оружия в борьбе с турками и персами, или моральные нравоучения. Об этой полемической направленности повести свидетельствует сохранившийся в рукописях Пушкина черновой отрывок, который можно считать наброском ранней редакции начала „Домика в Коломне“:

Пока меня без милости бранят
За цель моих стихов иль за бесцелье,
И важные особы мне твердят,
Что ремесло поэта не безделье,
Что славы прочной я добьюся вряд,
Что хмель хорош, но каково похмелье!
И что пора б уж было мне давно
Исправиться, хоть это мудрено;

Пока сердито требуют журналы,
Чтоб я воспел победы россиян
И написал скорее мадригалы
На бой Луны, * на бегство персиян...

Полемическую роль играет в повести и выбор темы и профессионально-поэтические рассуждения о стихотворных формах и, наконец, сатирическое изображение тогдашней журналистики и полемики. Впрочем, строфы, посвященные этой последней теме, Пушкин не включил в печатную редакцию повести, потому, может быть, что к 1833 году многие детали их стали уже анахронизмом. **

Для своей повести Пушкин избрал довольно трудную строфическую форму — так называемую „октаву“, строфу из восьми стихов, где поэту приходится подбирать не по два рифмующих слова, как обычно, а по три: шесть стихов, написанных на две рифмы, заключаются в октаве парой смежно-рифмующих стихов.

Приводим выпущенные строфы рукописи.

После III строфы в рукописи следовало:

У нас война. Красавцы молодые!
Вы, хрипуны (но хрип ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые?
Видали ль в Персии Ширванской полк?
Уж люди! мелочь, старички кривые,
А в деле всяк из них, что в стаде волк.
Все с ревом так и лезут в бой кровавый,
Ширванской полк могу сравнить с октавой.

Поэты юга, вымыслов отцы,
Каких чудес с октавой не творили?
Но мы ленивцы, робкие певцы,
На мелочах мы рифмы заморили,
Могучие нам чужды образцы,
Мы новых стран себе не покорили,
И наших дней изнеженный поэт
Чуть смыслит свой уравнивать куплет.

Ну, женские и мужеские слоги!
Благословясь, попробуем: слушай!
Равняйтеся, вытягивайте ноги
И по три в ряд в октаву заезжай!
Не бойтесь, мы не будем слишком строги;
Держись вольней и только не плошай,
А там уже привыкнем, слава богу,
И выедем на ровную дорогу.

Нет, мудрено... (я, взяв уловку лисью,
Сказать бы мог, что кисел виноград).
С октавами я над Парнасской высью
Не буду ввек. Не лучше ли назад
Скорей вести свою дружину рысью?
Уж рифмами кой-как они бренчат —
Кой-как уж до конца октаву эту
Я дотянул. Стыд русскому поэту!

Но возвратиться всё ж я не хочу
К четырехстопным ямбам, мере низкой.
С гекзаметром... о, с ним я не шучу:
Он мне не в мочь. А стих александрийской?..
Уж не его ль себе я залучу?
Извивистый, проворный, длинный, склизкой
И с жалом даже — точная змия,
Мне кажется, что с ним управлюсь я.

---

* Т. е. Турции.

** См. *М. Л. Гофман*, Домик в Коломне, П. 1922.

Он выняньчен был мамкою не дурой —
(За ним смотрел степенный Буало),
Шагал он чинно, стянут был цезурой —
Но пудреной пиитике на зло
Растреплен он свободною цензурой —
Учение не в прок ему пошло —
Hugo* с товарищи, друзья натуры,
Его гулять пустили без цезуры.

От школы прежней он уж далеко,
Он предался совсем другим уставам,
Как резвая покойница Жоко
Александрийской стих по всем составам
Развинчен, гнется, прыгает легко
На диво всем парнасским костоправам.
Они ворчат: уймется ль негодяй?
Какой повеса! Экой разгильдяй!..

О, что б сказал поэт законодатель,
Гроза несчастных, мелких рифмачей,**
И ты, Расин, бессмертный подражатель,
Певец влюбленных женщин и царей,
И ты, Вольтер, философ и ругатель,
И ты, Делиль, парнасский муравей,
Что б вы сказали, сей соблазн увидя?
Наш век обидел вас, ваш стих обидя.

У нас его недавно стали гнать.
(Кто первый — можете у Телеграфа***
Спросить и хорошенько всё узнать —)
Он годен, говорят, для эпиграфа
Да можно им порою украшать
Гробницы или мрамор кенотафа.****
До наших мод, благодаря судьбе,
Мне дела нет; беру его себе.

5 октября.

Этим заканчивалось первоначально вступление к повести; самую повесть, таким образом, Пушкин предполагал писать (подобно „Анджело") „александрийским стихом", т. е. шестистопным ямбом. Отказавшись от этого замысла, Пушкин откинул сначала шесть строф, говорящих о перемене метра (начиная с октавы „Нет, мудрено"), и продолжал повесть пятистопным ямбом и октавами. Надпись, сделанная Пушкиным на рукописи, указывает, как будто, на замысел его напечатать откинутые строфы отдельно: „Сии октавы служили вступлением к шуточной поэме, уже уничтоженной".

Позднее Пушкин зачеркнул и остальные три из приведенных здесь строф. Одну из них, впрочем („Ну, женские и мужеские слоги"), он все же впоследствии внес в печатный текст.

За строфой VIII, после стт. 63—64:

И табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок —

в рукописи шли следующие строфы:

И там себе мы возимся в грязи,
Торгуемся, бранимся — так что любо.
Кто в одиночку, кто с другим в связи,
Кто просто врет, кто врет сугубо,
Но, Муза, никому здесь не грози,
Не то тебя прижмут довольно грубо,
И вместо лестной общей похвалы
Поставят в угол „Северной пчелы".*

Иль наглою, безнравственной, мишурной
Тебя в Москве журналы прозовут,
Или Газетою Литературной
Ты будешь призвана на барской суд.
Ведь нынче время споров, брани бурной,
Друг на друга словесники идут,

* Виктор Гюго.

** Т. е. Буало.

*** Журнал „Московский Телеграф".

**** Надгробного памятника.

* Октава осталась недоработанной. Она существовала и в другой, более ранней, редакции, причем последние стихи предыдущей строфы также звучали иначе:

И табор свой поющая ватага
Перенесла с горы на дно оврага.

И там копытятся себе в грязи
Густой, болотистой, прохладной, клейкой,
Кто с жабой, кто с лягушками в связи,
Кто раком пятится, кто вьется змейкой...
Но Муза им и в шутку не грози.
Не то тебя покроем телогрейкой
Оборванной, и вместо похвалы
Поставим в угол „Северной Пчелы".

Последние строки намекают на насмешки журналистов над выражением И. В. Киреевского в его статье в альманахе „Денница": „Древняя муза его покрывается иногда душегрейкой новейшего уныния". „Журналисты наши, — пишет Пушкин, — обрадовались, подхватили эту душегрейку, разорвали на мелкие лоскутки и вот уже год, как ими щеголяют, стараясь насмешить собою публику" (см. т. V).

Друг друга жмут, друг друга режут, губят,
И хором про свои победы трубят.

Читатель, можешь там глядеть на всех,
Но издали, и смейся то над теми,
То над другими: верх земных утех
Из-за угла смеяться надо всеми,
Но сам в толпу не суйся... или смех
Плохой уж выдет: шутками однеми
Тебя как шапками и враг и друг
Соединясь все закидают вдруг.

Тогда давай бог ноги... Потому-то
Здесь имя подписать я не хочу;
Порой я стих повертываю круто,
Всё ж, видно, не впервой я им верчу,
А как давно? того и не скажу-то.
На критиков я еду, не свищу,
Как древний богатырь, — а как наеду...
Что ж? поклонюсь и приглашу к обеду.

Покамест можете принять меня
За старого, обстреленного волка
Или за молодого воробья,
За новичка, в котором мало толка.
У вас в шкапу, быть может, мне, друзья,
Отведена особенная полка —
А может быть, впервой хочу послать
Свою тетрадку в мокрую печать.

Когда б никто меня под легкой маской
(По крайней мере долго) не узнал!
Когда бы за меня своей указкой
Другого критик строго пощелкал!
Уж то-то б неожиданной развязкой
Я все журналы после взволновал!
Но полно, будет ли такой мне праздник?
Нас мало. Не укроется проказник.

А вероятно, не заметят нас,
Меня с октавами моими купно.
Однако ж нам пора. Ведь я рассказ
Готовил, — а шучу довольно крупно
И ждать напрасно заставляю вас.
Язык мой враг мой: всё ему доступно,
Он обо всем болтать себе привык!..
Фригийский раб, на рынке взяв язык,

Сварил его (у господина Копа
Коптят его). Езоп его потом
Принес на стол... Опять! Зачем Езопа
Я вплел с его вареным языком
В мои стихи? что вся прочла Европа,
Нет нужды вновь беседовать о том.
Насилу-то рифмач я безрассудный
Отделался от сей октавы трудной.

Отказавшись от мысли напечатать „Домик в Коломне“ анонимно, Пушкин не включил приведенные строфы в печатный текст.

Ст. 42: *Пустить на пе* — т. е. дать в октаве рифму на „пе“ („стопе“ — „канапе“). Здесь у Пушкина каламбур: „пустить на пе“ в карточной игре (в банк) обозначает повторение прежней ставки.

Ст. 69: *У Покрова* — у Покровского собора, находящегося в „Коломне“, части Петербурга, в то время окраинной.

Ст. 104: *Ф. А. Эмин* (1735—1770) — автор многочисленных занимательных романов, очень популярных в XVIII веке.

Ст. 106: *„Стонет сизый голубочек“* — популярный в первой половине XIX века сентиментальный романс (слова И. И. Дмитриева).

Ст. 107: *„Выду ль я на реченьку“* — то же (слова Ю. А. Нелединского-Мелецкого).

Ст. 161:

*Туда я помню ездила всегда*
*Графиня...* —

Пушкин говорит здесь о графине Стройновской, молодой и красивой женщине, вышедшей из-за нужды замуж за семидесятилетнего богатого старика.

Ст. 216: *Охта* — окраина Петербурга, где находилось одно из кладбищ.

## Анджело

Печатается по тексту „Поэм и повестей Александра Пушкина“ 1835, с исправлением по рукописи и дополнением выпущенных цензурой мест.

Сохранились черновики поэмы в „Альбоме 1833—1835 г.“ (*ЛБ* № 2373) и на отдельном листе в *ПД*; беловая рукопись находится в *ПБЛ*.

Впервые поэма напечатана в 1834 году в „Новоселье“. Перепечатана без изменений в „Поэмах и повестях“ 1835. Написана осенью 1833 года.

Поэма представляет собой сокращенный и слегка измененный пересказ драмы Шекспира „Мера за меру“ („Measure for measure“). Речи и диалоги поэмы почти дословно передают подлинник.

Образ Шекспировского лицемера Анджело Пушкин ставил очень высоко. Сохранилась заметка его, относящаяся к 1830-м годам, где он сравнивает Анджело с Тартюфом Мольера: „Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителями их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера Скупой скуп— и только; у Шекспира Шейлок — скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера Лицемер волочится за женой своего благодетеля — лицемеря; принимает имение под сохранение—лицемеря; спрашивает стакан воды — лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленными суждениями государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анджело лицемер — потому что его гласные действия противуречат его тайным страстям! А какая глубина в этом характере!..“

Прежде чем приняться за поэму на тему „Меры за меру“, Пушкин пробовал переводить эту пьесу. Сохранился отрывок перевода — начало пьесы: *

Дук.

Вам объяснять правления начала
Излишним было б для меня трудом.
Не нужно вам ничьих советов: знаньем
Превыше сами вы всего — мне только
Во всем на вас осталось положиться.
Народный дух, [законы], ход правленья
Постигли вы верней, чем кто б то ни был.
Вот вам наказ; желательно б нам было,
Чтоб от него не [отшатнулись] вы.
Позвать нам Анджело. — Каков он будет,
По мненью вашему, на нашем месте?
Вы знаете, что нами он назначен
Нас заменить в отсутствии — что мы
И милостью ⟨и⟩ страхом облекли
Наместника всей власти; что же
Об нем вы мните?

Эскал.

Если в целой Вене
Сей почести достоин кто-нибудь,
Так это Анджело.

Дук.

Вот он идет.

Анджело.

Послушен вашей милостивой воле,
Спешу принять я ваше предложенье.

---

Анджело жизнь твоя [очам] являет
То, что с тобою совершится впредь.

При своем появлении „Анджело“ не имел успеха и вызвал недоумение читателей и критики. Между тем сохранились свидетельства о том, что Пушкин очень высоко ценил это и до сих пор еще недостаточно оцененное произведение.

* Находится в *ПД*.

## Медный всадник

Печатается по беловой рукописи. Сохранились черновики в „Альбоме 1833—1835 гг.“ и в „Сафьяновом Альбоме“ (*ЛБ*, №№ 2374 и 2372), а также беловик (там же, тетрадь № 2375) и писарская копия с поправками Пушкина (там же, тетрадь № 2376 Б). При жизни Пушкина поэма напечатана не была; впервые появилась в „Современнике“ 1837, № 1, в приспособленной к требованиям цензуры переработке Жуковского (см. об этом ниже).

Написана поэма в течение октября 1833 года.

Приводим несколько дополнений к тексту из беловой рукописи.

После ст. 74 в рукописи следует:

Цветные дротики уланов,
Звук труб и грохот барабанов,
Люблю на улицах твоих
Встречать поутру взводы их.

Вместо ст. 81: „Или, взломав свой синий лед“ — и следующих —

Или крестит средь невских вод
Меньшого брата русский флот,
Или Нева весну пирует
И к морю мчит разбитый лед.

Вместо ст. 40: „Что служит он всего два года“ — и следующих —

Что вряд еще через два года
Он чин получит, что река,
Всё прибывала, что погода
Не унималась, что едва ль
Мостов не снимут, что, конечно,
Параше будет очень жаль...
Тут он разнежился сердечно
И размечтался, как поэт,
[„А почему ж? зачем же нет?
Я не богат, в том нет сомненья,
И у Параши нет именья.
Ну что ж? какое дело нам?
Ужели только богачам
Жениться можно?] Я устрою
Себе смиренный уголок
И в нем Парашу успокою.
Кровать, два стула, щей горшок
Да сам большой... Чего мне боле?
Не будем прихотей мы знать,
По воскресеньям летом в поле
С Парашей буду я гулять;
Местечко выпрошу; Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...“

После ст. 117 в рукописи было:

Со сна идет к окну сенатор
И видит — в лодке по Морской
Плывет военный губернатор...
Сенатор обмер: „Боже мой!
Сюда, Ванюша! стань немножко,
Гляди! что видишь ты в окошко?“
— Я вижу-с: в лодке генерал
Плывет в ворота мимо будки.
„Ей богу?“—Точно-с.—„Кроме шутки?“
— Да так-с. — Сенатор отдохнул
И просит чаю. „Слава богу!
Ну, граф, наделал мне тревогу:
Я думал: я с ума свихнул.“

В черновике конец вступления читается иначе, чем в беловом тексте:

И ты, Москва, страны родной
Глава, сияющая златом,
И ты уже пред младшим братом
Поникла в зависти немой.

Красуйся, юный град, и стой
Неколебимо, как Россия.
Но побежденная стихия
Врагов отныне видит в нас,
И волны финские не раз
На грозный приступ шли, бунтуя,
И потрясали, негодуя,
Гранит подножия Петра.

Была ужасная пора.
Об ней начну повествованье.
Давно, когда я впервый раз
Услышал грустное преданье,
Сердца печальные, для вас
Тогда же дал я обещанье
Стихам поверить сей рассказ.

После ст. 92:

На балкон
Печален, смутен вышел он —

в черновой рукописи было:

И молвил: „с божьей стихией
Царям не сладить". Он глядел
На злое бедствие. Такого
Уже не помнил град Петра
От лета семьдесять седьмого.*
Была та памятна пора.
Тогда еще Екатерина
Была жива, и Павлу сына
В тот год всевышний даровал. **

„Медный всадник" является дальнейшим развитием и новым вариантом откинутого Пушкиным замысла большого стихотворного произведения. Еще в конце 1832 года Пушкин начал писать второй „роман в стихах" такими же строфами, как и „Евгений Онегин". Герой этого романа Иван Езерский, родовитый дворянин, по одному варианту — богатый, по другому — обедневший и ставший мелким чиновником — поэт, влюблен в „младую немочку" („сочинитель и любовник")... Пушкиным было написано около двух десятков строф: родословная героя и самое начало рассказа, по которому трудно судить о содержании затеянного романа. В 1835 году Пушкин напечатал в „Современнике" бо̀льшую часть написанного, под заглавием „Родословная моего героя, отрывок из сатирической поэмы" (см. стр. 69).

Отказавшись вскоре (в начале или в середине 1833 года) от этого замысла, Пушкин вместо него написал „Петербургскую повесть" — „Медный всадник", центральным образом которой сделан знаменитый памятник Петру I в Петербурге на Сенатской (тогда Петровской) площади, работы Фальконета: на громадной необработанной гранитной скале конная фигура Петра; одна рука простерта вперед, другой он поднимает на дыбы коня, у ног которого извивается придавленная копытом змея.

Известную роль в формировании замысла „Медного всадника" сыграло знакомство Пушкина с только что вышедшей в свет третьей частью „Поминок" (Dziady) Мицкевича, где находится ряд стихотворений о России: о наводнении 1824 года, о памятнике Петру... Вступление к „Медному всаднику" в значительной части представляет собой своего рода возражение Мицкевичу: Пушкин „воспевает" в Петербурге именно то, что бранит Мицкевич.

Представленный на цензуру Николая „Медный всадник" вызвал ряд его возражений, поставивших Пушкина в большое затруднение. Он писал в своем „Дневнике" 14 декабря 1833 года:

„Мне возвращен „Медный всадник" с замечаниями государя. Слово *кумир* не пропущено высочайшей цензурой. Стихи

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова

вымараны. Во многих местах поставлен (?) — всё это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным".*

Пушкин хотел было приспособиться к требованиям царя и начал исправлять текст поэмы, но скоро отказался от этого. Попутно он сделал в тексте ряд исправлений чисто художественного характера (между прочим исключил приведенный выше монолог Евгения „А почему ж? Зачем же нет..." и т. д.).

* В 1777 году также было большое наводнение в Петербурге.

** В 1777 г. родился будущий император Александр I.

* Книгопродавец, предполагаемый издатель „Медного всадника".

После смерти Пушкина „Медный всадник“ был напечатан в цензурной переделке Жуковского. Восстановление подлинного Пушкинского текста затрудняется тем, что последняя обработка Пушкиным поэмы была недокончена и что в ней смешались вынужденные цензурой исправления с чисто художественными. Некоторые редакторы не считали себя в праве принимать одни и отвергать другие и давали текст в том виде, в каком он был представлен Николаю. Настоящее издание дает текст *последней* редакции, исключив явно цензурные изменения.

Ст. 138: *Насмешка неба над землей* — взят из ранней рукописи; вариант, представленный Николаю — „Насмешка Рока над землей“ — кажется вызванным цензурными соображениями.

Существует свидетельство кн. П. П. Вяземского, сына приятеля Пушкина, что „Медный всадник“ заключал в себе большой монолог помешанного Евгения перед памятником Петра, в котором „слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации“. Однако это свидетельство является скорее всего ошибкой памяти Вяземского: в рукописях „Медного всадника“ нет следов этого монолога (хотя они дошли до нас в достаточно полном виде).

Начало „Вступления“ представляет собой перефразировку одного места статьи Батюшкова „Прогулка в Академию Художеств“.

Стр. 462: *„Известие составленное В. Н. Берхом“* — книга В. Н. Берха. „Подробные известия о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге“ СПБ. 1826.

Стт. 22—23:

*......Наш герой*
*Живет в Коломне...*

Коломной называлась одна из тогдашних окраин Петербурга.

Прим. 1: *Альгаротти где-то сказал... Альгаротти* (1712—1764) — итальянский писатель и ученый.

Перевод французской фразы „Петербург — это окно, в которое Россия смотрит в Европу“ („Письма о России“).

Прим. 2: *Смотри стихи кн. Вяземского к графине З.* Пушкин имеет в виду третью строфу стихотворения „Разговор 7 апреля 1832 г.“, посвященного гр. Е. М. Завадовской;

Я Петербург люблю с его красою стройной,
С блестящим поясом роскошных островов,
С прозрачной ночью, дня соперницы безвнойной,
И с свежей зеленью младых его садов и т. д.

Прим. 5: *Смотри описание памятника в Мицкевиче.* Пушкин имеет в виду следующие строки стихотворения „Памятник Петра Великого“ (даем их в буквальном переводе):

Первому из царей, который создал эти чудеса,
Другая царица поставила памятник.
Уже царь, отлитый в образе великана,
Сел на бронзовый хребет Буцефала
И искал места, куда въехать верхом.
Но Петр не может стать на своей земле,
На родине ему недостаточно просторно;
За пьедесталом для него послали за море,
Послали вырвать из финляндских прибрежий
Гранитный холм: по слову государыни
Он плывет по морю, и бежит по льду,
И наконец падает перед царицей.
Пьедестал готов: летит медный царь,
Кнутодержавный царь в тоге римлянина;
Конь вскакивает на гранитную стену,
Останавливается на краю и встает на дыбы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Царь Петр отпустил узду коня:
Видно, несся с топотом по дороге,
Сразу вскочил на самый край скалы.
Бешеный конь уже занес вверх копыта,
Царь его не удерживает, конь грызет удила.
Кажется, что упадет и разобьется в куски!
Так и стоит, скачет — но не падает,
Как водопад, летящий с гранитов,
Когда он, сжатый морозом, висит над пропастью.
Но скоро заблестит солнце свободы,

И западный ветер обогреет эту страну —
И что тогда станет с водопадом тирании?

Упоминаемый Пушкиным в том же примечании *В. Г. Рубан* (1739—1795)—второстепенный писатель XVIII века. Пушкин имеет в виду следующие его стихи:

Нерукотворная здесь Росская гора,
Вняв гласу божию из уст Екатерины,
Пришла во град Петров чрез Невские
пучины
И пала под стопы Великого Петра.

Ст. 76: *И всплыл Петрополь, как Тритон. Тритон* — морское божество, у древних греков, получеловек, полурыба. На картинах изображался обычно плавающим по пояс в воде.

# Программы и планы

## Поэма о Мстиславе

Печатается по рукописи, находящейся во „Второй Кишиневской тетради“ Пушкина (*ЛБ*, № 2366). Впервые напечатан план В. Е. Якушкиным в его работе „Рукописи Александра Сергеевича Пушкина, хранящиеся в Румянцовском Музее в Москве“ („Русская Старина“ 1884, май, стр. 328).

После поэмы „Руслан и Людмила“, оконченной в 1820 году и принесшей настоящую славу Пушкину, его два года не оставляла мысль о второй большой фантастической поэме на тему из древней русской истории. Героем ее он думал взять Мстислава Тьмутараканского, одного из русских князей XI века. Это давало ему повод включить в поэму свои недавние кавказские впечатления (Мстислав, по сказанию летописи, „воевал с косогами — по всей вероятности, нынешними черкесами, и в единоборстве одолел их князя Редедю“ — таково примечание Пушкина к „Кавказскому пленнику“.) Окончив „Кавказского пленника“, Пушкин настолько серьезно думал о поэме „Мстислав“, что даже в эпилоге „Кавказского пленника“ дал соответствующее обещание:

Богиня песен и рассказа, *  
Воспоминания полна,  
Быть может, повторит она  
Преданья грозные Кавказа,  
Расскажет повесть дальных стран,  
Мстислава древний поединок...

Это обещание было подхвачено критикой, и журналы сообщали читателям, что Пушкин работает над поэмой „Мстислав“.

Однако, если он и написал что-нибудь на эту тему, то во всяком случае до нас не дошло ни одной строчки, исключая нескольких набросков плана (которые также сохранились не все). По ним можно составить некоторое понятие о сложном и богатом перипетиями содержании предполагавшейся поэмы. В ней на фоне „исторических“ событий (разделение великим князем Владимиром России на уделы, нашествие печенегов) разыгрывалась романическая история юного Мстислава с царевною косогов — волшебницей („Армидой, амазонкой“) или дочерью волшебницы; она заманивает его в горы, прельщая своею красотой и чародействами, превращениями и т. д. В поэму должны были входить многочисленные описания сражений с участием духов и богов языческих, волшебного мяча и т. д.; как особый эпизод включена была в поэму заимствованная из былин и сказок история об Илье Муромце и его сражении с сыном, не узнанным им. Наконец, в плане поэмы упоминается о встрече Ильи Муромца „с пустынником, который пророчествует ему участь России“. Таким образом, судя по наброскам плана, в поэме о Мстиславе мы имели бы смешение самых различных элементов: и летописный рассказ, и древнегреческий миф об амазонках, и такие следы явного подражания западноевропейским волшебным эпопеям, как чародейка, увлекающая героя, остров наслаждений, превращения героини, „ладья и дева“, пустынник с его пророчеством, духи языческие, воодушевляющие бойцов; наконец, и следы русских былин и сказок, и, вероятно, личные воспоминания в описаниях Кавказа... Замысел этот, однако, остался невыполненным, и вместо этой поэмы, уже и в то время устарелого шутливо-фантастического характера, Пушкин стал писать романтическую поэму об атамане разбойников и двух его любовницах (см. прим. к „Братьям разбойникам“),

* Т. е. муза Пушкина.

## Вадим

План трагедии печатается по рукописи, находящейся в „Записной книжке“ Пушкина 1820—1822 гг. (*ПБЛ*), план поэмы — по рукописи в „Первой Кишиневской тетради“ (*ЛБ*, № 2365). Впервые напечатан П. В. Анненковым в „Материалах для биографии А. С. Пушкина“, СПБ 1855, стр. 218.

В 1822 году, в пору наивысшего подъема революционного настроения Пушкина, он задумал писать трагедию на сюжет о Вадиме, легендарном предводителе восстания новгородских славян против первых варяжских князей (IX век). Тема эта была крайне популярна у радикальных писателей конца XVIII и начала XIX века: под тем же заглавием Я. Б. Княжнин написал трагедию, уничтоженную по приказанию Екатерины II, а Рылеев одну из своих дум.

Пьеса Пушкина должна была быть написана по всем правилам французской классической трагедии. В ней сочетались две темы: героическая тема неудачного восстания Вадима и его приверженцев, и любовная тема отношений его и Рогнеды, а также Рогнеды и Громвала. Кроме плана, Пушкин написал только самое начало 1-й сцены трагедии: заговорщики на могиле Гостомысла, бывшего посадника Новгорода и хранителя новгородской свободы (см. т. III).

Отказавшись от замысла трагедии, Пушкин хотел использовать тот же сюжет для поэмы. Судя по плану ее, а также по сохранившемуся отрывку текста, революционная тема в ней в значительной мере стушевывалась, уступая место лирической. Этой поэмы Пушкин также не дописал до конца. Отрывок ее начала он напечатал в „Памятнике отечественных муз за 1827 г.“ (см. т. I).

## Бова

Печатается по рукописям, находящимся в *ПД* и *ЛБ*. Впервые напечатано в Полном собрании сочинений Пушкина, изд. „Красной Нивы“, т. III, стр. 419.

В течение своей литературной деятельности Пушкин три раза в разные периоды задумывал обработать популярнейшую в его время лубочно-народную сказку о Бове-королевиче. В лицее, в 1815 году Пушкин начал было писать „Бову“ в стиле шутливой сатирической сказки (см. т. I), но оставил работу неоконченной.

Через несколько лет, после написания „Руслана и Людмилы“ и „Кавказского пленника“, в 1822 году, Пушкин снова вернулся к этой теме, но, судя по приведенным выше планам, думал разработать ее иначе, — повидимому, как сказочную поэму вроде „Руслана и Людмилы“. План пересказывает в основном эпизоды лубочной сказки. Сохранились наброски, представляющие варианты начала этой задуманной поэмы (см. т. I).

Наконец, в 1834 году Пушкин в третий раз обращается к Бове, задумывая его как одну из сказок вроде „Салтана“, „Мертвой царевны“ и „Золотого петушка“. От этого замысла остались только наброски плана и два стиха заключения или вступления:

Красным девушкам в забаву,
Добрым молодцам на славу.

## Актеон

Печатается по рукописи, находящейся в *ПД*. Впервые напечатано в Полном собрании сочинений Пушкина, изд. „Красной Нивы“, т. III, стр. 420.

План поэмы об Актеоне относится к 1822 году. В ней Пушкин хотел соединить два мифа, связанных с Дианой (или Артемидой — богиней луны и охоты у древних греков и римлян): миф об Эндимионе, спящем пастухе, возлюбленном Дианы (у Пушкина его усыпляет из ревности Морфей, бог сна), и миф об охотнике Актеоне, — который подсмотрел во время купания Диану, — превращенном рассерженной богиней в оленя и растерзанном собаками.

Кроме плана этой неосуществленной поэмы сохранился набросок начала ее: „В лесах Гаргафии счастливой...“ (см. т. I).

## Русская девушка и черкес

Печатается по рукописи, находящейся в „Арзрумской тетради“ Пушкина (*ЛБ*, № 2382). Впервые напечатано в книге *С. Бонди*, Новые страницы Пушкина, М. 1930.

План поэмы о русской девушке-казачке, бежавшей с черкесом, набросан Пушкиным в 1829 году, во время его второго путешествия на Кавказ, и навеян, повидимому, тамошними впечатлениями. С известной вероятностью можно представить себе содержание этой предполагаемой поэмы (или повести) следующим образом. Пограничная с черкесами казачья станица, откуда ушли на войну все мужчины, остались одни женщины. Девушки ходят за водой, среди них — невеста ушедшего на войну казака. Она видит на том берегу черкеса; они влюбляются друг в друга, и она назначает ему свидание. Ночью он пробирается на русский берег, но его замечают: происходит тревога, бабы берут черкеса в плен. Его отсылают в крепость, а затем происходит обмен пленниками, и когда он возвращается домой, в горы, девушка-казачка бежит с ним.

Этот план остался неосуществленным — ни поэмы, ни повести на эту тему Пушкин не написал.

Сюда, может быть, относится стихотворный набросок 1829 года:

— Полюби меня, девица.  
— Что же скажет вся станица?  
Я с другим обручена.  
— Твой жених теперь далече...

*Приложение*

# Записи Пушкина

## I. Записи народных сказок

Сказки №№ 1 — 3 впервые напечатаны Анненковым в его „Материалах для биографии Пушкина“ (Собр. соч. Пушкина, т. I, 1855), №№ 4 — 7 — В. Е. Якушкиным в работе „Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве“ („Русская Старина“ 1884, № 6). — Находятся в тетради (№ 2368 *ЛБ*).

Печатаются по автографу, относящемуся, по всей вероятности, к концу 1824 года (в тетради № 2368 *ЛБ*). В письме к брату Льву из Михайловского (первая половина ноября 1824 года) Пушкин писал: „Знаешь ли мои занятия? до обеда пишу записки, обедаю поздно; пос⟨ле⟩ об⟨еда⟩ езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма“. О том же он писал и Д. М. Княжевичу (в начале декабря того же года): „Целый день верхом, вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны“. На основании этих свидетельств принято рассматривать данные тексты как записи сказок, рассказанных Ариной Родионовной; на том же основании производится и их датировка.

Все эти тексты ни в коей мере не являются дословной записью сказок, но записью конспективной, правда сохраняющей во многих случаях подлинные выражения народной сказки; иногда же изложение прерывается вставками самого Пушкина (напр. в № 5: „Вот куда каламбуры зашли“).

Из этих сказок только три (1, 3 и 7) нашли в той или иной мере отражение в творчестве Пушкина (см. соответствующие примечания к „Сказкам“ настоящего издания, стр. 557); вторая запись послужила одним из источников для сказки Жуковского „Сказка о Царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кащея бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кащеевой дочери“. В основном Жуковский в работе над данной сказкой опирался на сказку из сборника братьев Гриммов „О двух королевских детях“ („Die beiden Königeskinder“), но целый ряд деталей целиком заимствован из текста, записанного Пушкиным (например, имя героини, третья „загадка“: сшить сапоги, пока в руках царя будет гореть соломинка, и т. д.).

Первая запись (сюжет „Царя Салтана“) явилась не только одним из источников соответствующей сказки Пушкина (см. стр. 557), но послужила частично в качестве источника для „Пролога“ к „Руслану и Людмиле“: именно отсюда заимствован знаменитый мотив дуба у лукоморья и кота, рассказывающего сказки. Несомненная зависимость „Пролога“ от данной записи подтверждается наличием первоначального наброска его на внутренней стороне крышки переплета той же тетради, где записана и данная сказка.

## II. Записи народных песен

*Записи песен, сохранившиеся в автографах Пушкина*

Впервые песни №№ 1 — 3 напечатаны Анненковым в газете „Порядок“ 1881, № 11. Песня № 4 впервые напечатана Анненковым в Собр. соч. Пушкина, т. VII, 1857.

Тексты первых четырех песен находятся в тетради Пушкина (№ 2368 *ЛБ*). Записи эти сделаны в Михайловском, вероятно, в первой половине ноября 1824 года, когда Пушкин, сообщая брату, что вечером слушает сказки,

просил прислать ему „историческое, сухое известие о Сеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории“. Просьба эта вызвана, надо думать, записью песен (№№ 1 и 2) о сыне Степана Разина.

Все четыре песни записаны Пушкиным, вероятно, со слов няни его Арины Родионовны.

Стихи 1—4 песни № 5 опубликованы впервые Пушкиным в „Истории Пугачева“ (прим. 9 ко II главе). Стихи 1—10 впервые напечатаны И. А. Бычковым в его описании бумаг А. А. Краевского в „Отчете Имп. Публичной библиотеки за 1889 г.“ Стихи 11—14 впервые напечатаны Н. О. Лернером в газете „Речь“ 1910, № 45.

Текст песни № 5 находится в записной книжке Пушкина, бывшей у него во время поездки в августе — ноябре 1833 года на Урал (*ПБЛ*). Запись песни сделана во второй половине сентября, во время пребывания поэта в Оренбурге, и возможно, — от казачки Бунтовой в Бердах, о которой поэт писал жене. В своей „Истории Пугачевского бунта“ Пушкин привел из записи „солдатской“, антипугачевской песни четыре стиха (см. 9 прим. ко II главе).

Песни №№ 7 и 10 напечатаны впервые В. Е. Якушкиным в его работе „Рукописи Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве“ („Русская Старина“ 1884, № 8).

Тексты песен №№ 6, 7 и 9 находятся в тетради Пушкина (№ 2373 *ЛБ*). Записи представляют собою перебеленные в Болдине в первой половине октября 1833 года копии с утраченных первоначальных записей, сделанных Пушкиным во время поездки на Урал.

Песня № 8 впервые напечатана П. В. Анненковым в газете „Порядок“ 1881, № 11.

Текст песни № 8 имеется на листе вырезанном из тетради Пушкина (№ 2373 *ЛБ*) и находившемся в тетради между листами, на которых записаны песни №№ 6, 7 и 9. Лист этот оказался в собрании песен П. В. Киреевского, который получил его, очевидно, от Пушкина. Об этом см. ниже. Хранится автограф в *ЛБ*.

Песня № 10 напечатана впервые М. А. Цявловским в его брошюре „Два автографа Пушкина“, М. 1914.

Текст песни № 10 имеется на отдельном листе почтовой бумаги (№ 7016,5 *ЛБ*). Запись сделана у соседки Пушкина по Болдину П. П. Кротковой, рожд. Новосильцевой, вероятно, в октябре — первой половине ноября 1833 года.

### *Записи песен, сохранившиеся в копиях П. В. Киреевского*

#### А. Свадебные песни

Песни №№ 1—5 и 8—13 напечатаны впервые В. Ф. Миллером в приложении к статье „Пушкин, как поэт-этнограф“ в „Этнографическом Обозрении“, 1889, кн. 60—64.

Песни № 6 и №№ 15—32 впервые напечатаны М. Н. Сперанским в „Песнях, собранных П. В. Киреевским“, изданных Обществом любителей российской словесности при Императорском московском университете, под редакцией В. Ф. Миллера и М. Н. Сперанского, вып. I (Песни обрядовые). М. 1911, стр. 55—60 и LXXII.

Песня № 7 впервые напечатана Н. Н. Трубицыным в статье „Народные песни, записанные Пушкиным“ в издании „Пушкин и его современники“, вып. XV, 1911.

Песня № 14 впервые напечатана в статье „Две песни из сборника П. В. Киреевского“ в „Русской Беседе“ 1857, кн. 6.

Эти тридцать две песни записаны Пушкиным, вероятно, в Михайловском. В 1827—1832 годах у Пушкина был план издать сборник народных песен, в который кроме напечатанных должны были войти и записанные Пушкиным. Но в октябре — декабре 1833 года тетрадь Пушкина с его записями песен была им через С. А. Соболевского отдана П. В. Киреевскому, которому поэт обещал написать предисловие к его сборнику. Издание это не состоялось, и в бумагах Пушкина сохранился лишь конспект этого предисловия (см. т. V). Подлинная тетрадь Пушкина с его

записями утрачена, и сохранились они лишь в копиях П. В. Киреевского, в его собрании песен *(ЛБ)*.

Б. Песни необрядовые

Песни №№ 1 — 7 впервые напечатаны Н. О. Лернером в газете „Речь" 1912, № 28.

Песни №№ 8 — 11 впервые напечатаны М. Н. Сперанским в статье „К истории песен, собранных А. С. Пушкиным" в „Сборнике в честь 70-летия Д. А. Анучина", М. 1913.

Песни №№ 12, 13 и 15 впервые напечатаны М. Н. Сперанским в „Песнях, собранных П. В. Киреевским", вып. II, часть 2 (Песни необрядовые), М. 1929.

Песня № 14 впервые опубликована Н. Н. Трубицыным в издании „Пушкин и его современники", вып. XV, 1911.

Песня № 16 впервые напечатана П. А. Бессоновым в выпуске 5 редактированных им „Песен, собранных П. В. Киреевским", М. 1863.

Песня № 17 впервые напечатана П. А. Бессоновым в выпуске 10 „Песен, собранных П. В. Киреевским", М. 1874.

Записи первых одиннадцати песен сохранились в копиях П. В. Киреевского и неизвестного в собрании песен П. В. Киреевского *(ЛБ)*.

Записи песен №№ 12 — 15 в копиях руки неизвестного, с дополнениями П. В. Киреевского, находятся в собрании П. И. Щукина в *ГИМ*. Песни №№ 16 и 17 в рукописи до сих пор не найдены.

Кроме этих семнадцати песен, Пушкин передал, вероятно, в июне 1835 года Киреевскому еще одну, сохранившуюся в собрании последнего в автографе поэта (песня № 9).

Таким образом, всего было передано Пушкиным П. В. Киреевскому пятьдесят песен.

Песни необрядовые записаны Пушкиным, вероятно, в Михайловском, Болдине и в Оренбургской губернии.

## Перечень иллюстраций



*Титульные листы и внутреннее оформление художника А. М. Сурикова. Оформление переплета по макету М. И. Козлова. Барельеф с чеканной медали художника гравера Скуднова — резал на стали гравер Л. Н. Карякин.*

# Содержание

## Стихотворения 1831—1836

*1831*



*1832*



* Второй столбец цифр означает страницу комментария.

*1833*



*1834*



*1835*

### *1836*



## Отрывки и наброски

### *1831*



### *1832*

*1833*



*1834*



*1835*



*1836*



*1830-е годы*



**Коллективное**

*1833*



*1836*

### Dubia

*1834*



## Сказки

*1831*



*1833*



*1834*



*Начало 1830-х годов*



## Поэмы

### Программы и планы



*Приложение*

## Записи Пушкина



## Варианты и комментарии

Редактор *И. М. Рубановский.*
Художественная редакция
*М. П. Сокольников.*
Лит.-технич. наблюдение
*В. В. Чешихина.*
Техническая редакция
*М. П. Ткачуков.*
Наблюдение за производством
*М. И. Козлов.*

***

Сдано в набор 10/II 36. Подписано в печать 20/VI 36. Тираж 25300. Уполномоч. Главлита Б-21347. Зак. тип. № 802. „Ас." 212. Инд. А-0. У.а.л. 39,05. Бум. 82×110 1/16. Печатных листов 38 3/4, вклад. лист. 19.

***

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига". Москва, Валовая, 28.

*Цена Р. 16.00*
*Переплет Р. 4.00*

## Замеченные опечатки

| *Стр.* | *Строка* | *Напечатано:* | *Следует:* |
|---|---|---|---|
| 22 | 14 сн. | С<оболевски> | С<оболевский> |
| 69 | „ | в свалке | в свалке, |
| 147 | 7 „ | зажжужал | зажужжал |
| 157 | 20 „ | поп | поп, |
| 174 | 1 св. | Неперечат | Не перечат |
| 258 | 3 сн. | стремился | стремится |
| 376 | 9 „ | Бестыдный | Бесстыдный |
| 395 | 7 св. | своей | своей. |
| 459 | 15 „ | объяснила | объяснила. |
| 480 | 2 сн. | Тиона | Феона |
| 551 | 12 св. | вметсе | вместе |
| 552 | 21 сн. | построенно | построенного |
| 591 | 5 св. | я о | яко |
| 593 | 1 сн. | 616 | 606 |
| 617 | 6 „ | 365 | 363 |
| 617 | 7 „ | 345 | 343 |